

АКАДЕМИЯ  
НАУК  
СССР

---

АРЕАЛЬНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ЯЗЫКОЗНАНИИ  
И ЭТНОГРАФИИ  
ЯЗЫК  
И ЭТНОС

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ им. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

# АРЕАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИИ И ЭТНОГРАФИИ

*(язык и этнос)*

Сборник научных трудов

Ответственный редактор  
*Н. И. Толстой*



ЛЕНИНГРАД  
«НАУКА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1983

В сборнике на примере языков и этносов Европы, Азии, Америки рассматриваются ареальные ситуации, возникающие при взаимодействии различных культур и в результате контактирования лингвистических систем разного типа.

Ряд статей посвящен сопоставительному изучению изоглосс и изопрагм, явлений языка и особенностей материальной и духовной культуры исследуемых этнолингвистических общностей.

Сборник предназначен для языковедов, этнографов и историков.

Редакция: *М. А. Бородина, С. И. Брук, А. И. Домашев,*  
*А. М. Решетов, Н. Л. Сухачев, Н. И. Толстой*

Рецензенты: *Л. Г. Герценберг, Е. В. Ревуненкова, И. М. Стеблин-Каменский*

## АРЕАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИИ И ЭТНОГРАФИИ (ЯЗЫК И ЭТНОС)

Утверждено к печати  
Институтом этнографии  
им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР

Редактор издательства *И. П. Палкина*  
Художник *М. О. Разулович*  
Технический редактор *Е. В. Полищукова*  
Корректоры *Е. А. Гинстлинг* и *А. З. Лакомская*

ИБ № 20693

Сдано в набор 12.01.83. Подписано к печати 29.09.83. М-41180. Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 15.75.  
Усл. кр.-отт. 15.75. Уч.-изд. л. 18.63. Тираж 1750. Тип. зак. 29. Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Наука». Ленинградское отделение.  
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука».  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

A 460400000-728  
042(02)-83 65-83-II

© Издательство «Наука», 1983 г.

## О т р е д к о л л е г и и

Настоящий сборник продолжает серию совместных публикаций Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Ленинградского отделения Института языковедения АН СССР, посвященных теории и практике тематического картографирования в области языка и народной культуры. Тема «язык и этнос» предварительно обсуждалась на симпозиуме по ареальным исследованиям в языкоизнании и этнографии (8—10 февраля 1978 г., Ленинград).<sup>1</sup> Ареальная специфика этнолингвистических ситуаций связана с задачей выделения и разграничения общностей разного уровня — диалектов и языков в лингвогеографическом аспекте, этнических групп и народностей в историко-этнографическом аспекте. Назаванная задача и обусловила преимущественное обращение авторов сборника к описанию и анализу переходных явлений, зон межъязыковых и межэтнических интерференций в условиях многонациональных государств и контактирующих языков.

Первый раздел сборника соответственно составляют статьи, посвященные этническим и языковым общностям, бытующим на одной территории или в сопредельных ареалах. Историко-культурным и историко-географическим областям СССР в этом разделе посвящена статья Б. В. Андрианова. Проблемы классификации и этнической характеристики отдельных тюркоязычных народов рассматриваются Н. А. Томиловым и Л. А. Покровской; к особенностям межэтнических контактов приамурских и самодийских народностей обращаются А. В. Смоляк и В. И. Васильев; специфику развития дунганского языка в СССР рассматривает А. М. Решетов. Этнолингвистические и языковые ситуации прошлого и настоящего на самом разнообразном материале освещаются в статьях В. П. Беркова (норвежские ареалы), М. А. Бородиной (языки и культура Швейцарии), Н. Г. Беспятых (становление англоязычных ареалов Америки), А. И. Домашнева (специфика островных

<sup>1</sup> См.: С у х а ч е в Н. Л. Симпозиум по ареальным исследованиям.—СЭ, 1978, № 5, с. 162—164; Ареальные исследования в языкоизнании и этнографии. Краткие сообщения. Л., 1978.

ареалов), С. П. Николаевой (взаимодействие испанского и автохтонных языков Перу), Г. А. Цыхуны (южнославянский и балканский языковой союз). К реконструкциям древних ареалов и процессам их формирования обращаются Л. Л. Викторова (монгольский язык), Н. Н. Казанский (малоазийские контакты древнегреческих диалектов). Методика ареальных исследований обсуждается В. А. Никоновым; возможности комплексного подхода к исследованию этносов показала З. П. Соколова на примере обских угров. В статье Н. Л. Сухачева рассматриваются (в основном на уровне фонологии) попытки системного подхода к анализу лингвогеографических данных. Плодотворность обращения к внешнелингвистическим и внелингвистическим факторам для адекватной интерпретации системных различий территориальных вариантов языка показана Ю. К. Кузьменко на примере шведских говоров, для анализа фонологических особенностей которых автором широко привлекаются историко-культурные данные.

Второй раздел сборника объединяет статьи, посвященные распределению и классификации отдельных явлений лингвистического (изоглоссы) и этнографического (изопрагмы) порядка. Это направление исследований, инициатором которого выступил Н. И. Толстой, развивается в статьях А. В. Гуры (названия свадебного деревца), А. Н. Анфертьева (мартовские обряды на Балканах), А. Б. Страхова (обрядовое печенье), А. Ф. Журавлева (скотоводческая магия). К ним примыкает исследование И. В. Власовой, рассматривающей специфику костромского ареала на основе топонимических данных. Культу собаки у народов Северной Азии посвящена статья Н. В. Лукиной.

Необходимость объединения усилий языковедов и этнографов в области картографирования и интерпретации ареальных данных, комплексного подхода к характеристике сложных процессов лингвистической и этнической дифференциации, как и процессов интерференции языков и культур, их объединения в общности более высокого порядка, представляется очевидной. Принцип историзма и принцип системного развития остаются ведущими при обращении к анализу территориального варьирования языков и культурных традиций, а учет взаимного соотношения различных факторов по их географическому распределению позволяет избежать случайных сближений сходных, но не связанных между собой явлений и определить характер взаимообусловленности явлений, пространственно сосуществующих или сопредельных. Решение этой задачи связано с дальнейшим уточнением приемов и методов, позволяющих разграничить в пределах исследуемых ареалов процессы и элементы односистемные (или однонорядковые) и явления, не имеющие причинно-следственной связи, но проявляющиеся на одной территории. На примере различных территориальных образований лингвистического и этнокультурного характера эта задача с разных точек зрения рассматривается авторами предлагаемого читателям сборника.

---

# I. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ И ЯЗЫКОВЫЕ СИТУАЦИИ

Б. В. АНДРИАНОВ

## ЭТНОС И ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ

Главный объект изучения этнографической науки — этносы — всегда и всюду связан с территорией. Эта связь обусловлена как общими историческими (формационными), так и частными пространственно-временными закономерностями развития человечества. В этнографии уже давно было установлено, что ареальный подход к явлениям материальной и духовной культуры, бытовым традициям, образу жизни людей обнаруживает многообразие пространственно ограниченных систем, среди которых советские этнографы наряду с этническими общностями разного иерархического уровня выделяют два особых типа культурных (этнографических) общностей — хозяйствственно-культурные типы (ХКТ) и историко-этнографические области (ИЭО) или историко-культурные области (ИКО).<sup>1</sup>

Здесь нет пужды останавливаться на характеристике этих понятий, прочно вошедших в советскую этнографическую литературу. Напомним лишь, что ИЭО в отличие от ХКТ в каждый исторический период образует планетарную систему из локальных таксонов разных порядков в составе единого человечества, объединяя соседние этносы, хотя бы и различного происхождения, но всегда связанные общностью исторических судеб, длительным соседством, сходством некоторых культурно-бытовых особенностей.

Большой научный интерес представляет вопрос о соотношении ареалов ИЭО и этносов. Вопрос этот не так прост, как кажется на первый взгляд. Если ИЭО охватывают группы соседних этносов, то, казалось бы, внешние границы ИЭО должны были бы точно совпадать с этническими. Однако это не так. Весьма часто границы пространственного размещения как отдельных компонентов культуры, так и их целых комплексов не совпадают между собой и с границами этнических территорий народов.<sup>2</sup> Например, некото-

<sup>1</sup> Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (к постановке вопроса). — СЭ, 1955, № 4, с. 4—10; Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 18.

<sup>2</sup> Бромлей Ю. В. Этнос и этнография, с. 63.

рые традиционные южнорусские комплексы середины XIX в. женской одежды, застройки усадьбы, орудий труда, пищи имели больше общего с украинскими и белорусскими, чем с севернорусскими.<sup>3</sup> В Средней Азии по образу жизни и занятиям ираноязычное таджикское население равнинных территорий еще недавно больше походило на тюркоязычных узбеков, чем на горных таджиков и родственных им памирцев, а последние напоминали тюркоязычных киргизов. Подобных примеров можно привести очень много.

Особое место в системе традиционно бытовых явлений занимает язык. Рассматривая язык в качестве одного из важнейших элементов культуры, казалось бы, можно сделать вывод о соответствии между различными историко-этнографическими и языковыми общностями, по крайней мере в период первоначального формирования тех и других. Однако в действительности такое соответствие встречается редко. Наиболее яркий пример — австралийско-австралийская область на Австралийском континенте, которая быстро сокращается, уступая место англо-австралийской. Гораздо чаще можно наблюдать несоответствие языковых, историко-культурных и этнических границ. Еще П. И. Кушнер выступил против механического отождествления языковых и этнических ареалов. По его мнению, основанному преимущественно на изучении европейского материала, «этническая граница определяется не только и не столько употребляемым языком, сколько сложной спецификой всей жизни и быта народа, спецификой, слагающейся веками и отражающейся как в материальной, так и в духовной культуре. В отличие от границ государственных и административных этнические границы очень редко разделяют одной сплошной линией два этнических массива».<sup>4</sup>

На основе этногеографических исследований В. И. Козлов сделал вывод о существовании в пограничных зонах по крайней мере четырех возможных вариантов смешения этнических общностей: смещение лишь в полосе этнических границ; существование за пределами основной этнической территории народа значительных массивов того же народа; разбивка некогда единой этнической территории на отдельные этнические «острова» среди инонационального населения; дисперсное расселение, при котором народ разъединен на мелкие группы среди инонационального населения.<sup>5</sup>

Вопрос о соотношении рубежей разного характера (историко-этнографических, языковых, политических) приобретает особенно важное значение, когда идет речь о территориях народов, говорящих на родственных языках. Весьма часто границы тех и других

<sup>3</sup> Современные этнические процессы в СССР. М., 1975, с. 174.

<sup>4</sup> Кушнер (Кишеев) П. И. Этническая граница и этническая (этнографическая) территория. — КСИЭ, 1949, вып. 6.

<sup>5</sup> Козлов В. И. Этнос и территория. — СЭ, 1971, № 6, с. 98.

не совпадают точно, поскольку культура с развитием хозяйства и общества претерпевает сравнительно быстрые изменения. Во многих частях света географические границы групп народов, говорящих на родственных языках, резко отличны от границ современных ИЭО (провинций, областей, районов). Это объясняется устойчивостью ареалов языков, а чаще всего — сложностью исторического процесса формирования языковых семей.

Весьма характерен пример современного ареала семьи индоевропейских языков. По мнению большинства исследователей, обособление отдельных групп индоевропейских языков началось еще в IV—III тысячелетиях до н. э. в степной и лесостепной полосе от бассейна Дуная и Балкан на западе до Арабо-Каспийской низменности на востоке. В работах советских исследователей В. И. Абаева, Б. В. Горнунга, Э. А. Грантовского выявлены отдельные этапы этого процесса.<sup>6</sup> В. И. Абаев, сторонник концепции раннего разделения единой арийской общности в пределах восточноевропейской прародины на две ветви —protoиранскую и protoиндоарийскую, установил существование древних связей между индоиранскими и угро-финскими языками, что убедительно локализует эту прародину в восточноевропейских степях. Лингвисты выявили отдельные этапы сложного исторического процесса, в котором сформировались различные группы языков: славянские, балтийские, иранские, индийские, германские, кельтские, романские и др. Современные народы индоевропейской языковой семьи расселены теперь на гораздо более широкой территории, чем их предки, — от берегов Атлантического океана до Индийского. На этой огромной территории ареалы отдельных языковых групп не совпадают с крупными историко-этнографическими провинциями и областями. Аналогичная ситуация сложилась и в большой группе тюркских языков, принадлежащей алтайской языковой семье. Как известно, весьма близкие между собой языки тюркских народов занимают теперь обширнейший ареал от северо-восточной Сибири (якуты) до Поволжья, Средней и Передней Азии, Азербайджана. Этот ареал разорван между многими историко-этнографическими областями и провинциями (Сибирской, Среднеазиатско-Казахстанской, Кавказской, Переднеазиатской и Центральноазиатской).

В пределах этих ИЭО тюркоязычные этносы оказались территориально перемешаны с ареалами населения иного происхождения и иных языковых семей и групп в результате сложных этногенетических процессов и крупных исторических миграций, особенно интенсивных в период с первых веков нашей эры до середины II тысячелетия, когда дальнейшее развитие высокоспе-

<sup>6</sup> А ба е в В. И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов. — В кн.: Древний Восток и античный мир. М., 1972, с. 26, 37; Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970, с. 2—88.

циализированного ХКТ кочевников-скотоводов вызвало цепную реакцию «великого переселения народов».<sup>7</sup>

В сложных исторических событиях, менявших этнографическую карту обширных территорий, ИЭО, однако, обнаруживают ареальную устойчивость. В качестве примера можно привести Среднеазиатско-Казахстанскую провинцию, где на протяжении двух тысячелетий сформировалось несколько ХКТ и произошла на значительной территории смена иранских языков тюркскими. Известная устойчивость многих общих черт материальной и духовной культуры населения этой ИЭО обусловлена самым тесным сочетанием двух главных направлений хозяйственной деятельности — поливного земледелия и скотоводства, чему благоприятствовали природные условия региона. Еще К. Маркс писал: «У всех восточных племен можно проследить с самого начала истории общее соотношение между оседлостью одной части их и продолжающимся кочевничеством другой части».<sup>8</sup>

На обширных пространствах Средней Азии и Казахстана историческому взаимодействию оседлых земледельцев и кочевников-скотоводов благоприятствовала сама природа: плодородные предгорья и широкие долины рек были базой древней земледельческой культуры; пустыни и степи служили пастьбищному скотоводству; мощные горные системы с вертикальной сменой ландшафтов использовались как скотоводами, так и земледельцами. К концу XIX в. здесь сформировалось три основных типа, границы которых не совпадали ни с этническими территориями, ни с языковыми границами: оседлые пашенные земледельцы с ирригацией в оазисах и в зоне гор; полуоседлые скотоводы-земледельцы дельт больших и малых рек; кочевники и полукочевники-скотоводы пустынь, степей и гор.<sup>9</sup>

В зависимости от характера исторического процесса этногенеза и расселения народов по территории с контрастными ландшафтами здесь сложились разные виды хозяйственной деятельности у отдельных народов и у локальных этнографических групп. Так, туркмены подразделялись в XIX в. не только на земледельцев «чомур» и кочевников-скотоводов «чарва», но и на большое число локальных хозяйственных подтипов;<sup>10</sup> узбеки сохраняли деление на оседлых и полукочевых, таджики — на горных и рав-

<sup>7</sup> А н д р и а н о в Б. В. Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс. — СЭ, 1968, № 2, с. 29.

<sup>8</sup> М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 28, с. 214.

<sup>9</sup> Ж д а н к о Т. А. Проблема полуоседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана. — СЭ, 1961, № 2; А н д р и а н о в Б. В. Хозяйственно-культурные типы Средней Азии и Казахстана. — В кн.: Народы Средней Азии и Казахстана. Т. I. М., 1962, с. 32—37; т. II. М., 1963, прилож. (карта «Хозяйственные типы Средней Азии и Казахстана»).

<sup>10</sup> См.: В и н и к о в Я. Р. К вопросу о хозяйственной деятельности туркмен в XVIII—XIX вв. — Изв. АН ТуркмССР, сер. обществ. наук, 1971, № 4; 1972, № 1.

нинных,<sup>11</sup> каракалпаки имели ряд хозяйствственно-культурных групп (совпадающих с «племенами»),<sup>12</sup> у киргизов и казахов (которых часто рассматривают только как типичных скотоводов степей и гор) существовало в XIX в. три основных типа скотоводства — кочевое, полукочевое и оседлое (последнее сочеталось в южных районах Казахстана с интенсивным поливным земледелием).<sup>13</sup>

Давние связи оседло-земледельческого населения с кочевниками-скотоводами, их тесное экономическое и культурное взаимодействие, а также преобладание переходных форм хозяйственной жизни — все это способствовало формированию многих общих черт в материальной (например, в типах орудий труда, одежде) и духовной культуре (эпические сказания, музыка) при сохранении существенных различий (например, в конструкции жилищ, домашней утвари, письма) между земледельческим и скотоводческим населением.

Здесь нет возможности осветить даже в общих чертах сложный исторический путь развития среднеазиатских народов. Их богатая история уходит в глубь веков. Яркие памятники древней высокоразвитой культуры, изученные в ходе многолетних исследований советских археологов, говорят как о большой самобытности и многообразии форм культуры среднеазиатских народов, так и о тесных связях их с соседними историко-этнографическими регионами. Со сменой социально-экономических формаций и отдельных исторических периодов менялись направление и характер этих связей, но в каждый период истории Среднеазиатско-Казахстанская провинция представляла собой определенную историко-культурную общность. Содержание и внешние границы этой общности менялись. Границы не были стабильными: то они продвигались далеко на юг, захватывая Иран, Северную Индию, Афганистан (при Ахеменидах, кушанах и позже, в период арабских завоеваний), соединяя древние среднеазиатские народы с переднеазиатскими и южноазиатскими древнеземледельческими цивилизациями; то связывали в тесный узел раннесредневековые народы Средней Азии и Казахстана вдоль торговых коммуникаций «шелкового пути», соединяя Европу и Переднюю Азию с Восточной Азией; то границы ее продвигались далеко на север и северо-запад, объединяя среднеазиатские оазисы и казахстанскую степь с Западной Сибирью, Приуральем и Прикаспием (племенные союзы и ранние государства огузов, кимаков, кипчаков, татаро-монголов и др.). Установление в XIX в. государственной границы Рос-

<sup>11</sup> Жданко Т. А. Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана в историко-этнографическом атласе. — В кн.: Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. М., 1975, с. 8.

<sup>12</sup> Аидрианов Б. В. Этническая территория каракалпаков в Северном Хорезме (XVIII—XIX вв.). — Тр. Хорезм. экспед., т. 3. М., 1958.

<sup>13</sup> Курлев В. П. Опыт типологии скотоводческого хозяйства казахов (вторая половина XIX—начало XX в.). — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М., 1979, с. 166—171.

сийской державы на юге (от устья Атрека, верховья Пянджа, Памира и Джунгарского Алатау) способствовало превращению этого территориально-политического рубежа в очень важный историко-культурный рубеж нового времени.

Присоединение к России, несмотря на проводимую царизмом политику колониального гнета, повлекло за собой возникновение в Средней Азии и Казахстане ряда прогрессивных явлений в экономической, общественной и культурной жизни. Рост экономических связей, зарождение капиталистических отношений, а также революционного рабочего и национально-освободительных движений положили начало изживанию многих локальных различий в традиционно-бытовой культуре народов Средней Азии и Казахстана. Но особенно этот процесс, как мы знаем, усилился после Великой Октябрьской социалистической революции, когда в ходе социалистического строительства, хозяйственной, общественно-политической и культурной деятельности представители разных народов, активно общаясь друг с другом, перенимали друг у друга лучшие традиции, обычай и трудовой опыт.

Проведение в жизнь ленинской национальной политики, в частности территориально-административное переустройство и национально-государственное размежевание в Средней Азии и Казахстане, обеспечило сохранение и дальнейшее развитие многих положительных черт традиционных культур, способствовало внесению в них нового социалистического содержания и обогащению многими общими чертами.<sup>14</sup> Большую роль при этом сыграло национально-государственное размежевание, которое способствовало воссоединению разобщенных до этого среднеазиатских народностей в суверенных советских национальных республиках.<sup>15</sup> Были проведены широкие мероприятия по ликвидации унаследованной от старого строя отсталости, по созданию и развитию промышленности, полной реконструкции сельского хозяйства на социалистической основе, переведению кочевых народов на оседлость, осуществлена культурная революция. Целый ряд среднеазиатских народов (каракалпаки, киргизы и др.) только в советское время смогли развить свои национальные языки, создать национальную литературу, яркие формы своей художественной культуры. Огромные изменения претерпела материальная культура народов Средней Азии и Казахстана. Переход кочевников к оседлому быту, создание благоустроенных городских центров, сближение города и деревни, всеобщая грамотность — все это не только принесло коренные изменения в их общественной и семейной жизни, но и сблизило между собой различные этносы,

<sup>14</sup> А н д р и а н о в Б. В., М о н о г а р о в а Л. Ф. Ленинское учение об общественно-экономических укладах и его значение для этнографии. — СЭ, 1970, № 1, с. 35—47.

<sup>15</sup> Ж д а н к о Т. А. Национально-государственное размежевание и процессы этнического развития у народов Средней Азии. — СЭ, 1972, № 5, с. 13—29.

способствуя укреплению как общих региональных черт традиционной культуры и быта, так и общесоветских форм в условиях формирования новой исторической общности — советского народа.<sup>16</sup>

Пример Среднеазиатско-Казахстанской историко-этнографической провинции дает основание сделать вывод о том, что этнографические общности (ХКТ и ИЭО) и этносы (этнические общности) — это типологически различные системы, которые тесно переплетаются, структурно соотносятся, но, как правило, не совпадают друг с другом в своем ареальном выражении.

#### A. И. ДОМАШНЕВ

### «ЯЗЫКОВОЙ ОСТРОВ» КАК ТИП АРЕАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

В германистике под языковым островом (*Sprachinsel*) понимается маргинальная область распространения языка, отделенная от ареала своего ядра территориально-политической границей и находящаяся в пределах других политических (государственных) границ в иноязычном окружении.<sup>1</sup>

В отношении современного немецкого языка следует выделить два типа таких «островов». 1. Языковые области, расположенные контактно с основной территорией распространения немецкого языка, принадлежащей ГДР, ФРГ, Австрии, большей части Швейцарии и Лихтенштейну. К этому типу языковых областей относятся, например, провинция Альто-Адиже (Южный Тироль — Италия), Эльзас и часть Лотарингии (Франция), район Аревля (Арлона) и Аубеля, а также Эйпена, Мальмеди и Сеп-Вита (Бельгия). 2. Дистантически расположенные языковые области, образовавшиеся в результате переселения групп носителей немецкого языка в инонациональные иноязычные страны (немецкоязычные «острова» в Европе, США, Канаде, в ряде стран Южной Америки, Австралии).

Разграничение двух типов языковых островов целесообразно не столько по причинам этих фактических свойств, сколько на основании различий языковых ситуаций и состояний в таких областях. Так, в дистантически расположенных областях немецкоязычного расселения, образующих определенное территориальное единство и компактную группу носителей языка, на базе трансплантированных различных немецких диалектов неизбежно происходят

<sup>16</sup> Современные этнические процессы в СССР. М., 1975, с. 530—540.

<sup>1</sup> Ср. близкое к этому определение, которое мы находим в кн.: Die deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Bd 1. Leipzig, 1969, S. 291.

процессы постепенного сближения говоров в контакте (конвергенция диалектов), а также наблюдаются случаи развития «общего языка» (*Gemeinsprache*, «койне» — В. М. Жирмунский),<sup>2</sup> вытесняющего отдельные местные трансплантированные говоры. Эти процессы сопровождаются интерферирующими воздействием и принятием элементов инонационального, социально престижного государственного языка данной страны. Характерным примером такого языкового образования является так называемый пенсильвано-немецкий (*Pennsylvaniadeutsch*) в США, под которым в германистике понимают немецкий интердиалект в функции языка общения (*Umgangssprache*), сложившийся на основе диалектов немецкоязычных переселенцев в юго-восточной части Пенсильвании и в других прилегающих районах северной части США (Мериленд, Нью-Джерси и др.). Группы переселенцев, первоначально оседавшие в 70—80-е годы XVII в. в районе Филадельфии, а затем, в XVIII в., расселявшиеся своеобразным веером вокруг Филадельфии и в различных местах Аппалачской долины, происходили из различных районов юга и юго-запада Германии, из Эльзаса и Лотарингии, а также из Швейцарии. Таким образом, здесь вступали в соприкосновение носители алеманского, швабского, баварского, рейнско-франкского (普法尔茨ского) и в меньшей степени — других диалектов (майнско-франкского, тюрингенского, силезского). Процесс сближения (конвергенции) привезенных диалектов и постепенного оформления «общего языка» сопровождался воздействием немецкого литературного языка, а позднее, в особенности с середины XIX в., — влиянием английского языка. При этом степень интенсивности влияния этих факторов зависела от неуклонно изменявшегося характера функционального статуса в пользу английского (средство обучения в школе, использование в качестве языка прессы, церковной проповеди).<sup>3</sup> Подобное развитие наблюдалось в отношении немецкоязычных островов в других странах, а также островов других языков в различных странах мира. Общий вывод: наличие над языковым островом инонационального языкового «зонта» или языковой «крыши» (*Überdachung*), образуемой государственным языком данной страны, приводит к заметному снижению взаимодействия и влияния литературного языка данного национального меньшинства на диалект языкового острова.<sup>4</sup>

Функциональный статус элементов языковой структуры острова в различных странах не обладает чертами единобразия. Немецкоязычное население острова использует, кроме своего сред-

<sup>2</sup> Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976, с. 507—508.

<sup>3</sup> K elz H. Phonologische Analyse des Pennsylvaniadeutschen. Bonn, 1969, S. 11.

<sup>4</sup> Cр.: Grotz H. Die Bedeutung von Mundart, Umgangssprache und Hochsprache in deutschen Sprachinseln unter Berücksichtigung sprachlicher Interferenz. — Wiss. Ztschr. der Univ. Rostock, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 1969, N. 6/7, S. 595.

ства повседневного общения — родного диалекта или «общего языка» (койне), в определенных условиях и немецкий литературный язык. В таком случае он обычно выступает в качестве средства обучения в школе, печати и информации, а также при официальном и деловом общении. Однако в целом такая возможность зависит от культурно-национальной политики данной страны и практически наилучше полно реализуется в условиях социалистических государств, что соответствует самой природе социалистического общества, где созданы условия для существования языков и развития двуязычия. Так, в нашей стране Программа КПСС требует обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина страны разговаривать, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская привилегий, ограничения или принуждения в употреблении тех или иных языков. Иначе обстоит дело в этом отношении в капиталистических странах. По свидетельству западногерманского лингвиста В. Вильдгена, в немецкоязычном районе так называемой Старой Бельгии, т. е. провинции с немецкоязычным населением, отошедшей к Бельгии при образовании государства в 1830 г., в результате сложных перипетий и политических событий периода первой и второй мировых войн немецкий язык практически вытеснен из всех сфер общественной жизни.<sup>5</sup> Долгие годы ведутся споры о том, чтобы ввести преподавание немецкого языка в школе для эльзасцев в департаменте Эльзас и немецкоязычных жителей восточной части Лотарингии (Франция). По имеющимся сведениям, в начале 70-х годов, впервые за послевоенное время, немецкий язык здесь разрешен в качестве факультативного предмета два раза в неделю, однако пока нет указания на то, что эти начинания стабилизируются и получат дальнейшее развитие.<sup>6</sup> Безусловно, такое сложное положение связано с недавним прошлым политической карты Европы и понятной реакцией на агрессивную политику германского милитаризма и фашизма, но в целом подобный подход определяется общими принципами культурно-национального строительства. Так, в США, где, как показало исследование этнического состава населения страны,<sup>7</sup> на 1971 г. немцы составляли 25.5 млн. человек (все население страны составляло на этот год 204.8 млн. чел.) и являлись второй по численности этнической группой после американцев английского, шотландского происхождения, взятых вместе (29.5 млн. чел.), функциональный статус немецкого языка не имеет официального стабильного обеспечения и практически ничем не отличается от того, что было сказано о положении немецкого языка в упомянутых западноевропейских странах. В принципе такой

<sup>5</sup> Wildgen W. Eine soziolinguistische Felduntersuchung in Europa. — Ztschr. für Dialektologie und Linguistik, 1975, H. 3, S. 291—292.

<sup>6</sup> Hammächer K. Die Situation der deutschen Sprache im Elsaß und im Ostlothringen. — Muttersprache, 1975, H. 1, S. 37.

<sup>7</sup> См.: За рубежом, 1973, № 21.

подход соответствует официальной доктрине в США — пресловутой теории «плавильного котла» (*melting pot*), согласно которой все национальные меньшинства и иммигрантские сообщества должны «переплавиться» и стать «стопроцентными американцами», утратив свои языковые, культурные и этнические особенности.<sup>8</sup>

Как диалект, так и литературный язык немецкоязычного острова находятся под постоянным воздействием официального государственного языка страны. Его интерферирующее влияние обусловлено общественными потребностями и связано с необходимостью пользования им при официальном и деловом общении. В результате влияния социально престижного государственного языка данной страны как в диалекте, так и в немецком литературном языке острова наблюдается свободное вовлечение значительного числа иноязычных лексем и калькирование, отмечаются явления флюктуации языковой системы, гетерогенизация языка, а также языковые ошибки, связанные с неустойчивым владением литературным языком, и др. Так, в речи немецких колонистов в Аргентине обращает на себя внимание большое количество испаноязычных лексических подстановок вместо немецких слов: Hier sprechen die meisten noch completamente deutsch — «Здесь большинство еще полностью говорит по-немецки» (*completely=vollständig*); Habt ihr kei Gorre bai aich? — «У Вас нет с собой щапки?» (исп. gorro=Mütze); Wie war die Coseche? — «Каков был урожай?» (исп. cosecha=Ernte); Geb mir dai Pelotje! — «Дай мне твой мяч!» (dai — диалектное dein 'твой'; исп. pelota=Ball). Под влиянием государственного языка происходят процессы калькирования лексических единиц и оборотов речи. Ср. такие примеры из немецкого языка США: Zimmerhaus (англ. Rooming House) со значением möbliertes Mietshaus 'дом с меблированными комнатами, сдаваемыми внаем'; Oeltuch (англ. oil cloth) со значением Wachstuch, Tischdecke 'льняное полотно', 'скатерть'; Feuerplatz (англ. fireplace) со значением Kamin, offene Feuerstelle 'камин', 'очаг' и др. Сравните также калькирование речевых оборотов: Ich fühle mich nämlich denselben Weg — «Я чувствую себя точно так же» (англ. the same way — 'таким же образом' вместо немецкого genauso). Иноязычные включения нередко приводят к речевым произведениям, которые в литературе вопроса рассматриваются под наименованием макаронизмов. Сравним примеры из речи немецкоязычных американцев: Als es dann aber for schur riportet wurde, hat sie zum Kreien gestartet, und jetzt lissent sie den ganzen Tag das Radio — «Когда это подтвердилось, она начала плакать, а теперь она целыми днями слушает радио» (to report for sure — здесь: sich bestätigen — 'подтвердиться'; to start crying=beginnen zu weinen 'заплакать'; to listen=hören 'слушать').

Функциональный статус и продвижение в использовании инонационального государственного языка приводит к ослаблению

<sup>8</sup> См.: Жуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия. Киев, 1974, с. 55.

связей с национальным литературным языком, поскольку в интимном общении ведущее место отводится родному диалекту. В связи с этим в случае необходимости обращения к литературному языку нередко наблюдается неуверенность при отборе языковых средств и связанные с этим языковые ошибки (контаминационные образования, смешение корневых морфем при словообразовании и т. д.), ср. некоторые примеры из речи носителей немецкого языка в Эльзасе и Лотарингии: Brühwunden вместо Brandwunden, очевидно под влиянием слова Verbrühungen — ‘ожог’; lebenslos вместо leblos — ‘безжизненный’.<sup>9</sup>

Изучение языковых островов необходимо проводить как в отношении диалекта, так и в отношении литературного языка, а также всех других форм, в которые складывается реальная речь носителей языка — членов данного коллектива сношений. Начало изучения «островных» немецких диалектов в советской германистике было положено в конце 20-х годов В. М. Жирмунским. Уже в одной из своих первых работ на эту тему — «Проблемы переселенческой диалектологии» В. М. Жирмунский отмечал: «Изучение говоров поселенцев представляет для лингвистики большой интерес не только с фактической стороны — как описание говоров, до сих пор почти не исследованных, но также и с точки зрения принципиальной, методологической: изолированные среди иноязычного населения немецкие поселения являются как бы экспериментальной лингвистической лабораторией, в которой на протяжении сравнительно краткого промежутка времени в 100—150 лет в обстановке, удобной для наблюдения, совершились языковые процессы, обычно развертывающиеся на протяжении целых столетий».<sup>10</sup> В этой же работе В. М. Жирмунским были высказаны основные идеи относительно процессов сложения различных форм речи на базе диалекта, на основе конвергенции различных диалектов в условиях языкового острова, а также с участием литературного немецкого языка. Интерес к вопросам поселенческой (островной) диалектологии сохраняет устойчивость и в настоящее время. Так, библиография публикаций о немецких диалектах в США и Канаде, подготовленная Юргеном Айххоффом и охватывающая в первую очередь работы, вышедшие в свет с 1968 г. по 1976 г., а также и основные более ранние публикации, содержит 167 названий.<sup>11</sup> Растет число работ, посвященных немецким диалектам переселенцев в странах Южной Америки (Бразилии, Аргентине, Перу и др.), странах Европы, в Австралии.

<sup>9</sup> Все приведенные примеры взяты из следующих работ: K o p p T. Deutsche Muttersprache in der Pampa Argentiniens. — *Muttersprache*, 1957, H. 10, S. 369—379; W a c k e r H. Die Besonderheiten der deutschen Sprache in den USA. — *Duden-Beiträge*, H. 7. Mannheim, 1962.

<sup>10</sup> Ж и р м у н с к и й В. М. Общее и германское языкознание, с. 492.

<sup>11</sup> E i c h h o f J. Bibliography of german dialects spoken in the United States and Canada and problems of german-englisch language contact especially in North America, 1968—1976, with presupplements. — *Monatshäfte*, 1976, Bd 68, Hf 2, S. 196—208.

Состояние системы литературного языка в условиях языкового острова стало предметом особого интереса со стороны группы исследователей под руководством Г. Мовера — президента Института немецкого языка ФРГ. В работах таких лингвистов, как Г. Рицо-Баур, Х. Ваккер, Д. Магенау, рассматриваются местные особенности немецкого литературного языка в районах немецкоязычного населения США, Канады, Южной Африки, Австралии, Бельгии, провинции Альто-Адиже (Италия), Эльзаса и Лотарингии (Франция). Такое начинание предпринято в рамках более широкой программы, связанной с изучением состояния немецкого литературного языка в таких странах его распространения, как Австрия, Швейцария, Люксембург, где он, как известно, выступает в функции государственного языка.

Охват всех форм, в которых проявляется язык острова, представляется наиболее перспективной задачей, поскольку такой подход позволяет выявить языковую ситуацию для данного типа коллектива носителей языка, определить его языковую структуру и функциональный статус форм существования языка ареала. Одновременно такой подход позволяет получить данные, объясняющие явления и в диалекте, и в литературном языке. Таким образом, изучение языковых островов существенно как для задач современной диалектологии, так и для теории литературного языка (понятие нормы, процессы и причины, воздействующие на ее эволюцию) и наряду с этим представляет интерес для этнолингвистики и этнографии — при изучении фольклорных явлений, типов предметов, обрядовых комплексов и др.

Будучи изолированными в инонациональном и иноязычном окружении, члены коллектива сношений языкового острова не только приобретают новые этнографические атрибуты, но и нередко дольше сохраняют их, чем они могут сохраняться на основной территории этнической общности, поскольку на это воздействуют различные факторы. Интересные наблюдения в этом отношении сделаны Т. Коппом,<sup>12</sup> выехавшим в начале 50-х годов из ФРГ в Аргентину для работы в качестве учителя в одном из немецких поселений, расположенных в отдаленном степном районе пампы. Т. Копп вырос в ФРГ, в местах, где говорят на рейнско-франкском наречии, на котором, как ему объяснили перед отъездом, говорят и жители села, в котором ему предстояло работать. Здесь выяснилось, что немецкие колонисты поселились в этих местах в начале нашего века. До этого они жили в России, на Волге, куда переселились их предки из Германии в 60—70-е годы XVIII в. Это обстоятельство оставило неизгладимый след в их сознании и памяти, в обычаях и языке. Этим же следует объяснить многие из тех своеобразных признаков, которыми характеризуются традиции, обычаи и различные стороны жизненного уклада колонистов. Прежде всего наблюдается, что примерно за 50 лет своего проживания в Аргентине эти люди не чувствуют себя вполне ар-

<sup>12</sup> К орр Т. Deutsche Muttersprache..., S. 369—379.

гентинцами, но, вспоминая о своей родине («*hei uns*» ‘у нас дома’), они имеют в виду, замечает Т. Копп, не Германию, а Россию. Крестьянская телега, на которой он добирался от железнодорожной станции до села, называется *Russenwägele* — ‘русская повозка’ (*Wägele* — рейнско-франкское диалектное, соответствующее литературному *Wagen* ‘телега’, ‘повозка’), потому что она сделана по образцу тех телег, которые делали они сами или их предки в России. Язык поселенцев сохранил до настоящего времени многие архаичные черты. Так, в речи представителей старшего поколения еще используются старинные, исконно немецкие названия месяцев: *Großer Monat* (‘большой месяц’) — январь, *Kleiner Monat* (‘малый месяц’) — февраль, *Frühlingsmonat* (весенний месяц) — март, *Erltemonat* (‘месяц урожая’) — август, *Herbstmonat* (‘осенний месяц’) — сентябрь, *Allerheiligenmonat* (‘месяц всех святых’) — ноябрь и т. д. В условиях языкового острова в России были образованы неологизмы для обозначения предметов и явлений, с которыми поселенцы впервые познакомились в тот период. Так, паровоз был назван *Feuerwagen* (‘огненная телега’), фотоаппарат — *Abnehmding* (‘предмет для съемки’). В их речи используются немецкие названия для предметов и явлений, которые, как замечает Т. Копп, у него дома называют заимствованными словами: *Kopfwehsteinerche* — ‘таблетка от головной боли’ (*Steinerche* — диалектное соответствие литературному *Steinchen* — ‘косточка’, ‘плиточка’, ‘таблетка’) вместо *Aspirintabletten*; *Riechwasser* (‘пахнущая, ароматная вода’) вместо *Parfum* и др. Наряду с этим в речи колонистов сохранились заимствования из русского языка, которые они воспринимают как немецкие: *Deutsch sagt man dafür Pintschak* («По-немецки это называется ‘пинджак’»); *Kartus* (‘картуз’) со значением *Mütze*; *Kutschai* (‘качалка’) — *Schaukel*; *Pomaschnik* (‘бумажник’) — *Geldbeutel*; *Schomodant* (‘чемодан’) — *Handkoffer* и др.

Культурный субстрат, связанный с периодом их проживания в России, сказывается, в частности, в том, что народные немецкие песни, которые автор мог слышать и у себя дома, исполнялись в своеобразной музыкальной тональности. Им была свойственна медленная, протяжная напевность, высоко обрывающаяся в конце фразы, что, как замечает Т. Копп, они могли перенять от мелодий волжских песен. Интересные наблюдения автор делает и в отношении сохранившихся форм обряда и обращения. Им присуща традиционная регламентированность, которая сопровождается употреблением устойчивых речевых формул. Так, если гостю предлагается выпить бокал вина, то он должен, припимая его, сказать: *Steht in guter Hand* («Находится в доброй руке») и подождать, пока свой бокал выпьет хозяин. Если упоминают имя умершего, то обычно добавляют: *Gott trost; der Herr geb ihm den Himmel und die ewich Ruh, wenn ern verdient hat* («Боже, утешь его; господь, дай ему небо и вечный покой, если он его заслужил»). Патриархальные обычаи и верования нередко сохраняются и по настоящее время. Так, старые крестьяне все еще полагаются на

силу луны и традиционно ведут сев пшеницы в период, когда свет луны прибывает, а забивают скот, когда он убывает.

Наблюдая за некоторыми сторонами жизни колонистов, Т. Кофф отмечает, что порой ему кажется, что время как будто остановилось. Жизнь в замкнутом коллективе неизбежно приводит к консервации многих черт духовной и языковой действительности. Подобные ситуации дают современному наблюдателю возможность как бы заглянуть в свое прошлое, а лингвисту и этнографу — получить интересные и ценные данные для сравнительного изучения явлений культуры и языка.

Изучение языковой структуры и языковой ситуации островов представляется важным и увлекательным занятием с самых различных точек зрения и вносит полезный вклад в развитие наук о человеческом обществе.

B. A. НИКОНОВ

### ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВО-ЭТНОГРАФИИ

Рост ареальных лингво-этнографических исследований позволяет и обязывает оценить применяемые методы, выяснить возможности их расширения и совершенствования, в дальнейшем — привести их в систему. Это задача не для одного исследователя и не на один год. Статья касается только нескольких вопросов, хотя и на всех уровнях — от методологии до методики.

К сожалению, само основное понятие «ареальный» понимают прямо противоположно. У большинства лингвистов оно означает контактное в противоположность генетическому — этому посвящены многие статьи и книги, даже Всесоюзная конференция (Институт востоковедения, 1973 г.). Для других исследователей ареальные связи включают и генетические как важнейшие, что верно было подчеркнуто М. А. Бородиной на конференции 1971 г.<sup>1</sup> Но на той же конференции Т. В. Назарова противопоставила ареальное пространственному<sup>2</sup> В работе С. М. Моллазаде,<sup>3</sup> дожденной на следующей конференции по ареальным исследованиям (1974 г.), перечисляются совершенно разнородные и лишенные какой бы то ни было связи явления. Ареал ни одного из них не только не рассмотрен, но совсем не интересует автора. Для него ареал — все находящееся на данной территории. Работа содержательна и ценна, но не дает ареальную характеристику явле-

<sup>1</sup> Б о р о д и н а М. А. О типологии ареальных исследований. — В кн.: Проблемы картографирования в языкоznании и этнографии. Л., 1974.

<sup>2</sup> Н а з а р о в а Т. В. К проблеме типологии диалектных ареалов. — Там же, с. 85.

<sup>3</sup> М о л л а з а д е С. М. К истории возникновения многоязычного топонимического ареала на севере Азербайджана. — В кн.: Ареальные исследования в языкоznании и этнографии. Краткие сообщения. Л., 1978, с. 110—111.

ний. Как раз ареал упомянутых топонимов *су* охватывает и Дагестан, и соседние северо-восточные территории Кавказа, а *кенд* — север Азербайджана, окраину ареала, связывающую эту территорию с югом Закавказья. Региональное и ареальное — не тождественные понятия.

Если противоположно понимать основной термин, ничего не получится, кроме путаницы. Поэтому необходимо отметить и некоторые другие «опасные места» на пути ареального исследования.

1. За ареал ошибочно принимают территорию, очерчиваемую линией нуля рассматриваемого явления, т. е. видят единственно границу между «нет» и «есть». Но граница даже между 0.001 и 0.1 гораздо значительнее, чем граница между 0.001 и 0. Для большинства читателей, не занимающихся статистикой, соотношения этих величин проскользнут мимо сознания.

Этнография взяла на вооружение вероятностно-статистические методы. Например, в атласе «Русские» приняты 3 степени частотности, «при необходимости число таких градаций может быть увеличено».<sup>4</sup> Статистику осваивает и лингвистика, хотя не без сопротивления. Ярые враги статистики сами постоянно пользуются выражениями «часто», «редко», «больше», «меньше», не замечая, что это — статистика, только «на глазок». В сущности, научная интуиция — это статистическая вероятность, еще не располагающая подсчетами. Ареальные лингво-этнографические исследования в этом отношении очень отстали.

Тут тоже возникает терминологическое недоразумение. Если границей ареала считать линию нуля, то необходим термин, обозначающий границы различной частотности явления. Во всех науках, давно освоивших картографирование частотностей, этому служат *изо-* (изотермы, изоглоссы, изогипсы, изобары и т. д.) — линии, соединяющие точки равной частотности, т. е. разделяющие территории различной частотности. Лингвистика заимствовала из этих наук термин *изо* в ту пору, когда еще не знала частотности лингвистических явлений, так возник термин «изоглосса» «в пиквикском смысле», означая только единственную из всех изоглосс — нулевую. Этим можно было обходиться, даже не замечать подмены значения, пока явление рассматривали изолированно, вне системы. В анализе системном обязательна мера явления по отношению к целому. Теперь термин «изоглосса» необходим в его прямом значении: его нельзя смешивать с изоглоссой нуля.

Ареалы отсутствия тоже существенны, и напрасно исследователи минуют их. Обычно описывают то, что есть, не обращая внимания на то, чего нет. Но если на одной территории отсутствует явление, очень частое на соседних, то этот негативный признак — яркая черта характеристики той территории, на которую он не смог проникнуть. Ареальное исследование (в противоположность регионально ограниченному) позволит выяснить, какая сила

<sup>4</sup> Рабинович М. Г. К методике этнографического картографирования. — Там же, с. 66.

обусловила границы изучаемого ареала, остановила распространение его. Пример топонимический: в Северном Заволжье (Буйский, Галичский, Солигаличский и смежные районы) нет топонимов на *-иха*, несколько тысяч которых буквально кипит вокруг. И та же территория — остров аканья в океане сплошного северного оканья. Оба явления безусловно не зависят одно от другого. Но тождество их ареалов невозможно объяснить случайным совпадением. Вероятно, это — особая струя русского заселения Северного Заволжья. Может быть, если удастся разгадать «зону недоступности» топонимов *-иха*, это послужит ниточкой и к решению самой трудной проблемы русской диалектологии.

2. Обращаясь к подсчетам при ареальных лингво-этнографических исследованиях, следует предотвратить опасность, указанную В. И. Лениным на примере земской статистики, которая погубила драгоценнейший материал своих переписей крестьянских хозяйств группировкой, сделавшей результаты фиктивными, а весь грандиозный труд — «игрой в цифирки»: «средний» показатель, объединяя кулака и бедноту, совершенно искажал картину, зачеркивая самое основное — процесс капиталистического расслоения крестьянства.<sup>5</sup> Это предостережение — основа для разработки методов анализа: результаты самого добросовестного подсчета легко извратить ошибочным способом свода. В лингвистике такие ошибки нередки, даже в очень серьезных трудах.<sup>6</sup> Не избежала их и этнография.

Ни в лингвистике, ни в этнографии нет разработанных теоретических основ дифференциации и группировки (*principium divisionis*) для подсчетов и группировки — они эмпиричны.

Так и с генерализацией. Без нее нет ни статистики, ни картографии, но каждая степень ее, поднимая знание на более высокий уровень, обязательно теряет при этом массу информации: чтобы найти обобщение, вынуждены жертвовать частным. Генерализация нерасчетливая сотрет различия существенные, т. е. потеряет больше, чем выиграет. Как в каждом конкретном случае (выбирая масштаб рабочей карты или количественный порядок величин для таблицы) найти оптимальную степень генерализации? Не имея научно обоснованного критерия, лингвист и этнограф поступают, мягко говоря, эмпирически. Помощь пришла с неожиданной стороны. Дешифровщики аэрофотосъемки, работая над совмещением карт резко различных масштабов, выяснили, что для масштаба того или иного порядка есть свой наилучший «индикатор»: для 1 : 50 000 — транспортные артерии, для 1 : 20 000 — растительность, для 1 : 5 000 — населенные пункты и промышленные предприятия.<sup>7</sup> Вместо смутных отдельных представлений получена четкая шкала в слововом выражении. Тем самым и обратно —

<sup>5</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 76—77.

<sup>6</sup> Примеры их приведены мной в статье «Длина слова» (ВЯ, 1978, № 6, с. 106).

<sup>7</sup> Смирнов Л. Е. Генерализация при дешифровании аэроснимков. — Вестн. ЛГУ, 1965, № 18, с. 30.

получена база выбора наилучшего масштаба для карт той или иной тематики. Не подскажет ли это идею шкалы, помогающей избирать масштаб при лингвистическом и этнографическом исследовании (пока еще только идею)?

3. Сопоставление ареалов разных явлений, изучаемых двумя или несколькими научными дисциплинами, завершает и контролирует сделанное. Но соблазненный привлекательной целью подчас не считается с реальными возможностями. Карты лингвиста, этнографа, археолога, антрополога неполны и изменчивы. Каждое десятилетие меняет их: обнаружены новые ареалы (этим затронута система прежних), перемещены границы, пересмотрена связь ареалов и их соподчинение, не говоря уже о датировке. Взять хотя бы карту археологических культур на Русской равнине в эпоху бронзы: какой она представлялась в начале нашего столетия, как выглядела в 30-е годы и какова сегодня? Нельзя предполагать, что уровень знаний 1980 г. останется неизменным. Не меньше изменились за этот срок и карты других научных дисциплин. Диалектолог или топонимист найдет археологический ареал, совпадающий с нужным ему ареалом, и соответственно осмыслит свою систему, а карту археологическую исправят, и все здание лингвиста рушится — «привязка» повиснет в воздухе. Горький урок маргина, навязавшего наукам-смежникам свои лингвистические ошибки, учит большой осторожности: «перекидывая мостики» между науками, необходимо трезво взвешивать, насколько надежны для опоры связываемые берега.

Возможны (а во многих случаях и обязательны) несовпадения ареалов, скажем, лингвистических и этнографических или антропологических. Никого уже не удивляет, что на карте не совпадают границы разных признаков одного диалекта (например, граница между «áканьем» и «óканьем» пролегла совсем иначе, чем граница между фрикативным и взрывным согласным *г*). Почему же в какой-то из границ обязаны совпасть карты археолога, этнографа или топонимиста? Темпы изменений неодинаковы, уже одно это не позволяет требовать единства. Сторонники тождества, например, материальной культуры с этносом и языком,<sup>8</sup> языка с этносом<sup>9</sup> и т. д. не смогли опровергнуть бесспорных доводов тех археологов,<sup>10</sup> антропологов<sup>11</sup> и лингвистов,<sup>12</sup> которые приводили

<sup>8</sup> Брюсов А. Я. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952, с. 20—21.

<sup>9</sup> Кнабе Г. С. Вопрос о соотношении археологической культуры и этноса в современной зарубежной литературе. — СА, 1959, № 3, с. 243—257.

<sup>10</sup> Арциховский А. В. Пути преодоления влияния Н. Я. Марра в археологии. — В кн.: Против вульгаризации марксизма в археологии. М., 1953, с. 68.

<sup>11</sup> Дебец Г. Ф., Левин М. Г., Трофимова Т. А. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза. — СЭ, 1952, № 1; Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-географические области. — СЭ, 1955, № 4.

<sup>12</sup> Бернштейн С. Б. Основные задачи, методы и принципы «Сравнительной грамматики славянских языков». — В кн.: Вопр. славянского языкознания. Вып. 1. М., 1954, с. 20—21.

факты резкого несоответствия: можно ли по данным географии и материальной культуры вообразить тесное единство угров (венгров и манси), коренные языковые различия тюркоязычного и ираноязычного населения Азербайджана?

Вместо увлечения поисками всеобщих соответствий необходимо выяснить закономерности, приводящие к соответствиям или несоответствиям. Совпадение подкрепляет уже известное, несогласие открывает неведомое. Совпадающий ареал — все же только иллюстрация уже добывшего иным путем, а несовпадающий — открытие. Наложенные на карту Северной Украины границы диалектов, типов поселений, типов жилищ, народных танцев, музыкальной культуры, топонимов *-ичи*, *-овцы*, *-инцы*<sup>13</sup> образуют на большом протяжении тесный пучок параллельных линий, протянутых южнее Припяти и Десны, но на западном фланге Волыни граница между топонимами *-ичи* и *-овцы* круто пересекает остальные по диагонали, а на восточном фланге, в Полесье, диалектная межа сильно изогнута к югу. Оба отклонения и представляют наибольший интерес для науки. О совпадении писали много, о несовпадении — никто.

Стремиться к комплексу необходимо. Но это требует серьезного научного обеспечения и научной осторожности. А скороспелые «увязки наук», не соблюдающие этих условий, толкают на ложный путь. Подлинный синтез наук гораздо сложнее.

4. Сопоставлению ареалов языковых и этнографических служит метод корреляции признаков. Технически возможны два пути: картографический (наложение территориальных очертаний) и табличный.

До сих пор совершенно не разработан выбор коррелируемых признаков: невозможно коррелировать все в надежде неожиданной находки, а отбор грозит предвзятостью, исказяющей вывод. Поиски идут пока вслепую. Полная отрицательная корреляция служит отличной характеристикой (не смешивать с отсутствием корреляции, которая тоже дает исследователю важнейшую информацию); частичная корреляция выражает степень неполной связи, например отношение этнос—язык.<sup>14</sup>

Полученная корреляция не завершает, а предваряет исследование. Она не раскрывает сущности связей, на которые указала. Анализ их очень сложен: зависимости не однолинейны, признаки «полифункциональны»,<sup>15</sup> иерархия зависимостей многоступенчатая.

<sup>13</sup> Жилко Ф. Т. Говори української мови. Київ, 1958, с. 17; Д'яченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. Київ, 1965, с. 114; Стельмах Г. Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні. Київ, 1964, с. 46; Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. — В кн.: Восточнослав. этногр. сб. М., 1956 (ТИЭ, т. 31), с. 83; Никонов В. А. Этнография и ономастика. — СЭ, 1971, № 5, с. 30.

<sup>14</sup> Брук С. И. Основные проблемы этнической географии. М., 1964, с. 36.

<sup>15</sup> Чистов К. В. Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. — В кн.: Проблемы картографирования в языкоизнании и этнографии.

Истолкования корреляций изобилуют ошибками: упускают причину, путают причину и следствие, «перепрыгивают» через ступени зависимостей.

Поток корреляций растет стремительно, его умножит привлечение машин. А научно обоснованные, строгие правила их «чтения» не разработаны.

5. Необходим и «школьный» набор собственно пространственных задач, заимствующий многовековый опыт математики. Рискну привести две элементарных:

Анализ образования ареала в простейшем виде представлен задачей трех точек замкнутого пространства. Количество всех абстрактно возможных решений точно: 3 радиальных варианта (каждая из трех точек могла стать очагом), 6 цепочечных (от каждой точки можно построить 2 последовательности, например *abb* или *aab*). Допустив параллельное (независимое) возникновение явления в двух или всех точках, получаем еще 7 возможностей, итого 16. Путь решения: оценить размещение точек и условия связи на каждом отрезке. Отпадение хотя бы одного отрезка исключает 6 решений, т. е. сразу увеличивает вероятность оставшихся возможными. Таковы и следующие шаги. Подключение 4-й точки увеличивает число возможных решений до 89; явно ненадежно перебрать их в уме без знания типов их и точного числа. Строгое знание дает путь решения и контролирует учет всех возможностей. Условия задачи могут быть обратны, известна последовательность, а та или иная исходная точка искома.

Ареальная задача другого типа: соседство четырех ареалов. В замкнутом пространстве расположены 4 ареала, при краевом размещении их возможна ли одновременная связь каждого с каждым? Восточную Европу на рубеже нашей эры занимали славяне, балты, финно-угры, иранцы. Геометрически возможны только 5 одновременных связей из 6 требуемых. Если четная пара была смежна, то исключена возможность соседства внутри нечетной пары. Когда славяне были соседями финно-угров, не могло быть балто-иранского соседства. Конечно, границы в ту пору не были такими строгими укрепленными линиями, как позже. Но не было и широкого пустого пространства в центре Восточноевропейской равнины, через которое свободно протекало бы, пересекаясь, прямое, тесное и длительное общение четырех этнических общностей. Такой контакт, без которого невозможно влияние одного народа на другой, оставляющее ощутимые следы в языке и быте, возможен лишь при непосредственном соседстве или завоевании. Только центральное размещение хотя бы одного из ареалов позволяет каждому из четырех ареалов соседствовать с каждым (в данном историческом примере такая возможность, безусловно, исключена). При 5 ареалах никакое размещение не допускает осуществить соседство каждого с каждым. Но ареалы исторически изменчивы, их границы подвижны. Исключена синхронность балто-иранского и славяно-финского соседства, но оно осуществимо разновременно: продвигаясь на северо-восток, славяне вышли

к финно-уграм, тем самым уничтожив соседство балтов с иранцами. Понятно, как существенно для лингво-этнографии такое ограничение, контролирующее «вольный полет» гипотез; одни контакты нельзя датировать независимо от датировки пересекающихся с ними. Ареал не изолирован, а зависит от системы ареалов.

В обоих примерах взято условно ограниченное замкнутое пространство. Действительность же несравненно сложнее арифметических задач.

\* \* \*

Методология и методика ареальной лингво-географии специфична по отношению к методологии лингвистики и этнографии, как те специфичны по отношению к методологии и методике общественных наук в целом. Разработка методологии и методики ареальных лингво-этнографических исследований отстает от роста накапливаемого материала. Отдельные фрагменты теории и некоторые удачные методические находки еще не сложились в стройную и строгую систему. Пробелы и промахи пока налицо на всех уровнях — и теоретические, и технические. Отставание того или иного уровня опасно для целого. Выработать свою научно обоснованную методологию и методику — нет задачи для ареальной лингво-этнографии более острой, более важной и более трудной. В возрастающей массе ареальных лингво-этнографических исследований необходимо решительно повысить долю и значимость методологических и методических работ.

Не следует соблазняться синтезом наук или даже заимствовать технический прием другой науки, если это противопоказано подлинно объективной спецификой самого изучаемого объекта, но равно плохо — упустить случай связи наук (на уровне ли методологии или методики), когда этого требует объективная закономерность.

Н. Л. СУХАЧЕВ

### ЧТО ИЗУЧАЕТ СТРУКТУРНАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Как ни разграничивать уровни исследования и методы диалектологии, лингвистической географии и ареальной лингвистики,<sup>1</sup> объектом исследования остаются диалекты, которые рассматриваются в разном освещении, но в единой перспективе исторического развития языков. Конечная задача сводится к изучению факторов, предопределяющих это развитие, причин языковых изменений, которые обусловливают смену одного состояния языка другим его состоянием и которые в свою очередь могут зависеть как от внешней лингвистической ситуации, так и от

<sup>1</sup> Бородина М. А. 1) Лингвистическая география и диалектология. Опыт разграничения лингвистических дисциплин. — In: *Omagiu lui Alexandru Rosetti*. Bucureşti, 1965, с. 70—75; 2) Ареалогия и некоторые вопросы романского языкознания. — ВЯ, 1975, № 2, с. 47—61.

внутрилингвистических процессов. Характеризуя сложившиеся в лингвистической географии течения, Я. Госсенс отмечает: «В первой половине нашего столетия диалектография была ориентирована в основном экстралингвистически; однако начиная с пятидесятых годов карты все чаще интерпретируются с внутрилингвистической точки зрения».<sup>2</sup> Проявляющиеся в качестве внешнелингвистических процессов интерлингвистического порядка различных уровней (межъязыковых и междудиалектных) особенно усложняют внутрилингвистическую интерпретацию диалектной карты. Пока анализ был направлен на описание изолированных систем диалектов или говоров, применение методов структурной лингвистики еще не воспринималось в качестве специфической задачи.<sup>3</sup> Положение усложняется при анализе различий и сходства в системе двух и более говоров (диалектов), чему посвящена програмная статья У. Вайнрайха «Возможна ли структурная диалектология?». Ей предшествовала, правда, публикация К. Х. Дальстедта «Диалектография и структурная лингвистика», в которой рассматривались проблема функционирования переходных говоров и вопрос о стабильности диалектной системы. По наблюдениям автора, интерференция систем не приводит к их слиянию или к параллельному использованию в переходных зонах двух систем, но можно предполагать существование «своего рода суперсистемы, общей для родственных говоров некоторой ограниченной области».<sup>4</sup> Вайнрайх и предлагает метод анализа таких «суперсистем».

Следует отметить, что, несмотря на предпринимавшиеся попытки развить и использовать намеченные У. Вайнрайхом методы структурной диалектологии, последняя все еще находится в состоянии становления. Затруднения, связанные с применением более строгих структурных методов в условиях подвижных диалектных систем, усугубляются недостатками имеющихся монографических и лингвогеографических описаний диалектов, большинство из которых носят эмпирический импрессионистский характер и не приспособлены к требованиям системного анализа. С наибольшей очевидностью это несоответствие методов и материала обнаруживается в области фонологии.

В своей попытке преодолеть «пропасть между структуральными и диалектологическими штудиями»<sup>5</sup> Вайнрайх опирался на ста-

<sup>2</sup> Goossens J. *Structurelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse*. Heidelberg, 1959, S. 14.

<sup>3</sup> Pfalz A. Zur Phonologie der bairisch österreichischen Mundart. — In: *Lebendiges Erbe. Festschrift...* Ernst Reclam. Leipzig, 1936, S. 1—19; Martine A. Description phonologique du parler franco-provençal d'Hauteville (Savoie). — RLiR, 1939 (1946), vol. XV, p. 1—86 (то же: Geneva—Paris, 1956).

<sup>4</sup> Dahlstadt K.-H. *Dialektgeografie och strukturlingvistik*. — In: *Nordisk Sommer Universitet 1951. Arsagsproblem*. Copenague, 1952, p. 181—188.

<sup>5</sup> Weinreich U. Is a structural dialectologie possible? — Word, 1954, vol. X, № 2—3, p. 398.

тью Н. С. Трубецкого «Фонология и лингвистическая география», в которой отмечалось, что фонологические системы могут различаться по инвентарю единиц и их функциям, по характеру фонетической реализации этих единиц в абсолютных и комбинаторно обусловленных позициях, а также по этимологическому распределению фонем, независимому и компенсированному, т. е. зависящему от функциональных фонологических различий. Говоря о неупорядоченности этимологических рефлексов, Трубецкой подчеркивал показательность фонологических соответствий между диалектами и языками.<sup>6</sup> Вайнрайх в свою очередь ограничивается сопоставлением инвентаря фонем (включая различия в реализации) и их функционального распределения («дистрибуции»).

Содержание статьи У. Вайнрайха может быть сведено к следующим положениям. Поскольку объектом структурального анализа является «единичная и замкнутая система», элементы, «синхронически чуждые», обычно не учитываются при исследовании, или же оно ограничивается описанием только одного из вариантов того «агрегата систем», который называют языком. Структурная лингвистика нуждается в разработке методов обобщения наблюдаемых вариантов языка, соответствующие построения можно назвать диасистемой (или «суперсистемой», «системой высшего порядка»). Диасистема может быть построена на основе любых систем, обнаруживающих частичное сходство; наличие подобного сходства отличает ее от простой суммы систем. Диасистему не следует воспринимать только в качестве конструкта — она может реализоваться в условиях двуязычия (включая диглоссию), соответствующая «смешанной системе». Так, например, различия по характеру фонетической реализации гласного переднего ряда среднего подъема в вариантах 1 и 2 могут быть представлены в диасистеме:

$$\left\| i \approx \frac{1e}{2e} \approx a \approx o \approx u \right\|;$$

различия по инвентарю фонем (функциональные различия) обнаруживаются в диасистеме, обобщающей отношения в вокализме центрального («польского» — 1), юго-западного («украинского» — 2) и северо-западного («литовского» — 3) диалектов «идиша»:

$$\left\| \begin{array}{c} 1 i: \sim i \\ \hline 2 i: \sim i \\ \hline 3 i \end{array} \approx e \approx \frac{1 a: \sim a}{2, 3a} \approx o \approx u \right\|.$$

Если последствия частных различий систем рассматриваются «синхронной диалектологией», то процессы дивергенции диалектов, т. е. появления различий из первоначального сходства, и процессы конвергенции, т. е. сближения первоначально различавшихся диалектных систем (что аналогично механизмам воздействия

<sup>6</sup> Troubetzkoy N. S. Principes de phonologie. Paris, 1949, p. 343—450.

субстратов и адстратов), составляют предмет исследования «диахронной диалектологии». Дискретные языковые варианты предстают в диасистеме в качестве некоторого континуума явлений, но при этом следует учитывать различия между стандартизованными (нормализованными) и нестандартизованными языками. В отличие от традиционной диалектологии, которая обращает преимущественное внимание на локализацию изоглосс и характер причинно-следственных взаимосвязей между явлениями, структурная диалектология исследует «парциальные различия и сходства в системах и связанные с ними изменения в структуре».<sup>7</sup>

Все последующие практические направленные интерпретации задач и методов структурной диалектологии так или иначе исходят из резюмированной выше статьи У. Вайнрайха, в которой нетрудно заметить отражение авторских интересов к проблеме взаимодействия систем (языковых контактов), а также отдельных тенденций, наметившихся в диахронической фонологии. Можно назвать, в частности, вывод А. Мартине о необходимости учитывать вариации в пространстве для анализа динамики языка<sup>8</sup> и в целом — попытки моделирования фонологической системы как «интегративной совокупности своих подсистем».<sup>9</sup> Показательна последовательная установка Вайнрайха на соблюдение выдвинутого Ф. де Соссюром требования о разграничении внутренней и внешней лингвистики, синхронии и диахронии.

Антиномия синхрония — диахрония сыграла не последнюю роль в формировании своего рода антиисторизма структуральных методов, и тем показательнее позиция У. Вайнрайха, не акцентирующего это противоречие. Эту позицию частично проясняют те страницы «Курса общей лингвистики», которые обычно не привлекаются его комментаторами, хотя они немаловажны для понимания действительного соотношения рассматриваемых категорий в системе научных взглядов Соссюра. Занимаясь «языком вообще», он признавался в письме к А. Мейе от 4 января 1894 г.: «Ведь при анализе в конечном счете только живописная сторона того или иного языка, та сторона, которая отличает его от всех других, как принадлежащего определенному народу и имеющего определенные истоки, эта почти этнографическая сторона и сохраняет для меня интерес».<sup>10</sup>

В изложении Соссюра, как это следует из текста Ш. Балли и А. Сешэ, понятия «синхрония» и «диахрония» не столько противопоставлены, сколько сопоставлены, выражая «коренную двойственность» языка в его развитии — «противопоставление» и «скрещение» двоякого рода явлений, «относящихся к одному объекту», но требующих различия на уровне анализа. Лингвист, желающий

<sup>7</sup> Weingreich U. Is a structural dialectologie possible, p. 399.

<sup>8</sup> Мартине А. Структурные вариации в языке. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965, с. 451.

<sup>9</sup> См.: Постолова В. И. Историческая фонология и ее основания. М., 1978, с. 90.

<sup>10</sup> Цит. по: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 52.

понять то «состояние языка», перед которым он очутился, «должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией».<sup>11</sup> Дальнейшее различие двух перспектив диахронической лингвистики — «перспективной», которая «соответствует действительному ходу событий», и «ретроспективной», которая, «отправляясь от данной эпохи», соотносится с методом реконструкции в сравнительно-историческом языкознании (с. 248—249), частично объясняет установку Соссюра на синхронию как «подлинную и единственную реальность» для говорящих и для лингвиста (с. 123). Но при этом, хотя ретроспективный подход может ограничивать свою задачу «частными констатациями», реконструкция — это «необходимый инструмент, с помощью которого с относительной легкостью устанавливается множество общих фактов синхронического и диахронического порядка» (с. 257). Две перспективы означают, что «ось последовательности» может представить только перспективную диахронию, «следующую за течением времени». В свою очередь синхрония не может быть соотнесена с «осью одновременности», поскольку «объектом синхронического изучения является не все, совпадающее по времени, а только совокупность фактов, относящихся к тому или другому языку; по мере надобности подразделение доходит до диалектов и поддиалектов» (с. 123). Как отмечает Соссюр, «термин синхрония не вполне точен: его следовало бы заменить термином идиосинхрония» (с. 123). Противоречивость соссюровских раздвоений речевой деятельности на язык и речь, а языка — на синхронию и диахронию обусловлена прежде всего необходимостью обосновать разные точки зрения на язык, но менее всего эта противоречивость связана с полным отказом от исторической перспективы. Идея эволюции и изменчивости языка присутствует во всех размышлениях Соссюра, в связи с чем находится и вопрос о «диахронической единице» и «диахроническом тождестве» (с. 216—217).

Собственно механизму языковых изменений посвящена часть четвертая «курса» — «Географическая лингвистика». Существенно, что в качестве основной причины географического многообразия языков Соссюр указывает на фактор времени, но при этом время не объясняет характера распространения языковых инноваций: «Фонетист должен строго различать очаг инновации, где фонемы эволюционируют исключительно по временной оси, и ареалы распространения „инфекции“, в которых действует и фактор времени, и фактор пространства» (с. 243). Последнее требование вводит в качестве основного объекта исследования при изучении языковых эволюций «унифицирующую силу», представляющую собой «свойственную каждой данной области силу взаимообщения» (с. 244).

На этом стыке между синхронией и диахронией, где сталкиваются внутрилингвистические факторы и факты внешней истории языка, предопределяющие характер взаимообщения и в конечном

<sup>11</sup> Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Под ред. А. А. Холодовича. М., 1977, с. 114 (далее ссылки на это издание в тексте).

счете состояния языка, возникают те специфические проблемы, которые составляют объект исследования структурной диалектологии. По словам Ж. Фурке, та «диалектологическая революция», которая имела место в историческом языкоизнании, ставит перед исследователями две основные проблемы: «в какой мере структурные методы могут быть применены при изучении диалектов и диалектных зон в их современном состоянии (синхроническое изучение); какой должна быть роль структурализма в новой исторической лингвистике, скорректированной данными диалектологических изысканий».<sup>12</sup>

При сравнении разных синхронических срезов, как полагает Фурке, можно установить, что наблюдаемые различия обусловлены внутрисистемными изменениями, которые могут быть объяснены исходя из исходного состояния диалекта, и инновациями внесистемного порядка — результатами развития других диалектов, проникшими в исследуемый диалект в силу экстраплингвистических причин. При этом случаи независимого внутреннего развития остаются чисто теоретическим допущением. Следует различать разные типы изменений, чтобы сформулировать общие закономерности, и здесь необходимо обращение к лингвистической географии. Фурке выражает надежду, что постепенно может сложиться наука о «географической общности систем», где основное направление развития определяется характером обмена между отдельными регионами. Межлингвистические процессы имеют свои закономерности — типологическое средство всех систем данного ареала в случае конвергенции; системы, характеризующиеся определенной свободой развития в случае дивергенции. Неустойчивые смешанные типы могут пойти собственным путем развития, и задача историка — установить доминирующие в каждом случае факторы, учесть взаимодействующие силы, восходящие к разным причинам.<sup>13</sup> В отличие от Вайпрайха, которого интересует прикладная сторона проблемы, Ж. Фурке намечает лишь пути сближения методов, но им полнее выявлены те ограничения, которые препятствуют проникновению структурализма в лингвистическую географию. Попытки согласовать требования фонологического анализа с приемами традиционного фонетического описания диалектов были сделаны им в ряде последующих работ, развивающих те же общие положения.<sup>14</sup>

Возможность создания такой «альтернативной диалектной системы фонем», которая бы с некоторым приближением описывала

<sup>12</sup> Fourquet J. Linguistique structurale et dialectologie. — In: Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreise der germanischen Philologie. Festgabe für Theodor Frings... Berlin, 1956, p. 191.

<sup>13</sup> Fourquet J. Linguistique structurale..., p. 192—203.

<sup>14</sup> Fourquet J. 1) Phonologie et dialectologie. — Bul. Fac. Lettres Strasbourg, 1956—1957, vol. 35, p. 293—301; 2) Classification dialectale et phonologie évolutive. — In: Miscellania A. Martinet, vol. II. La Laguna, 1958, p. 55—62; 3) Phonologie und Dialektologie. — Ztschr. für Mundartforschung, 1958, Bd 26, S. 161—173.

ряд диалектов, между носителями которых сохраняется взаимопонимание, рассматривает на материале языка хопи К. Ф. Вогелин. Его идея в том, что фонологическое моделирование должно предшествовать записи диалектной речи; каждая фонологическая единица должна выводиться на междиалектном уровне. Вогелин считает, что его «альтернативная система» (для которой он вводит сугубо символическую запись) предшествует возможности комбинирования структурных состояний различных частных систем в «диасистему» («пан-хопи»), позволяя скординировать описание отдельных диалектов.<sup>15</sup>

Следующим выступлением на ту же тему является доклад В. Дорошевского на VIII Международном конгрессе лингвистов. Дорошевский исходит из оторванного от контекста замечания Соссюра, что «само по себе пространство не может оказывать никакого влияния на язык».<sup>16</sup> По его мнению, автор Курса «...соглашался только с „коренной антиномией между фактом эволюционным и фактом статическим“, не пытаясь преодолеть эту антиномию. Он лишь допускал, и то в очень эксплицитной форме, что „все диахроническое в языке является таковым лишь через речь“». И далее: «Исследование фактов речи, осуществляемое в широком масштабе и с учетом географического распределения явлений. — это не что иное, как диалектология».<sup>17</sup> Такое отождествление диалектной речи и речи в соссюровском понимании вряд ли правомерно. На отдельных примерах Дорошевский демонстрирует важность диалектных данных для общего языкоznания, отмечая влияния нормы на диалект. Обсуждение доклада, в котором приняли участие Э. Косериу, К. Х. Дальстедт, Ж. Фуркé, Т. Хилл, выявило не столько сближение, сколько противопоставление точек зрения диалектологии и традиционного структурализма. Характерно, что Дорошевский игнорировал публикацию У. Вайнрайха, как и первую попытку американского исследователя Э. Станкевича дать фонологическое описание польских говоров.<sup>18</sup> В 1957 г. последний выступает со статьей, посвященной проблеме дискретности / непрерывности диалектного континуума. Отмечая, что «классификацию диалектов на основе инвентаря фонем следует считать первым шагом к исчерпывающему описанию лингвистических ареалов», Станкевич вместе с тем предостерегает от такого обобщения метода, при котором диасистема «может охватить не только все диалекты американского английского или русского», но и варианты весьма дифференцированных языков. Подобная

<sup>15</sup> Voegelin C. F. Phonemicizing for dialect study with reference to Hopi. — Language, 1956, vol. 32, № 1, p. 121, 133.

<sup>16</sup> Соссюр Ф. Труды по языкоznанию, с. 234.

<sup>17</sup> Dorošewski W. Le structuralisme linguistique et les études de géographie dialectale. — In: Proc. eighth Intern. Congr. of linguists. Oslo, 1958, p. 557, 564.

<sup>18</sup> Stankiewicz E. The phonemic patterns of the polish dialects. A study in structural dialectologie. — In: For Roman Jakobson. The Hague—Paris, 1956, p. 518—530.

общность — «не обобщение признаков, константных в разнообразии тесно связанных между собой диалектов, но умозрительный конструкт». <sup>19</sup>

Отсутствие однозначных критериев вычленения диалектов сказывается не только в работах по структурной диалектологии, но и в основной массе работ по лингвистической географии, которая, начиная с Ж. Жильерона и Г. Венкера, постепенно размывала традиционное понятие диалекта, атомизируя языковую действительность вплоть до говоров отдельных населенных пунктов или даже до уровня отдельных «диолектов».

К 1957 г. относится дискуссионная статья Р. Г. Пиотровского, полагающего, что в диалектологии на первых порах следует «ограничиться выявлением микроструктур — привативных противопоставлений, архифонем и вообще простых систем с небольшим количеством коррелированных единиц». Структуральный анализ позволяет изучить механизм заимствований и межъязыкового контакта, при этом переходные зоны дают «сосуществование двух привативных корреляций», т. е. «диасистему». <sup>20</sup> Сохраняя ссылки на Вайнрайха, Пиотровский несколько сужает его понятие диасистемы и ограничивает область структурной диалектологии зонами контакта между системами, сосредоточивая анализ на отдельных звеньях этих систем. Обращение к микроструктурам, точнее — к фрагментам структур, остается единственной возможностью создания «структурных» лингвистических карт. Но это не всегда способствует выявлению соответствующих лингвистических систем, которые должны презентировать картографированные модели отношений. Р. Г. Пиотровский и в дальнейшем обращается к моделированию микросистем, <sup>21</sup> и некоторые его предложения были включены в программу «Молдавского лингвистического атласа». Все же трудно согласиться с автором в том, что, «используя определенные внутрилингвистические критерии и не прибегая к экстралингвистическим понятиям», можно получить «строгую, последовательную и в то же время разумно отвечающую реальной действительности классификацию стилистических и жанровых разновидностей языка». <sup>22</sup>

В 1958 г. к IV Международному съезду славистов был опубликован доклад Р. И. Аванесова и С. Б. Бернштейна, в котором ставится вопрос о предмете картографирования в атласах больших или меньших групп языков. Система языка, которая обычно «мыслится как величина даже не „линейная“, имеющая одно измерение,

<sup>19</sup> Stankiewicz E. On discreteness and continuity in structural dialectologie. — Word, 1957, vol. 3, p. 44—59.

<sup>20</sup> Пиотровский Р. Г. Структурализм и языковедческая практика. (Возможна ли структурная диалектология?). — ВЯ, 1957, № 4, с. 29, 30, 34.

<sup>21</sup> Пиотровский Р. Г. О структурной диалектологии. — В кн.: Тр. I Всес. совещания по романскому языкознанию. Кишинев, 1963; 2) Структурные схемы и типологическая классификация диалектов. — В кн.: Вопр. теории и истории языка. Сб. в честь профессора Б. А. Ларина. Л., 1963, с. 236—252.

<sup>22</sup> Пиотровский Р. Г. Структурные схемы..., с. 252.

одну координату, а как величина „точечная“, не имеющая координат»,<sup>23</sup> представлена авторами как величина «объемная», обладающая координатами территориальной (диалектной), стиля и времени, которые «поляризованы» относительно современности, нейтрального стиля речи и нормы. В территориальном аспекте язык предстает как сложная система, или «система частных систем», включающая в себя наряду с различительными чертами черты, общие всем частным системам. Равнозначительные элементы могут быть основаны на материальной общности (разный набор элементов), на функционально-семантической (различные связи этих элементов) и на структурно-типологической общности (место элементов в языке). В этом пункте концепция Аванесова и Бернштейна сближается с исходными посылками Трубецкого и Вайнрайха при более широком толковании понятия «структура», которое толкуется и в смысле внешней структуры, и в качестве имманентной характеристики языка. Лингвистическая география имеет дело с «соотносительными элементами системы, образующими междиалектные или межъязыковые различия».<sup>24</sup> При этом лингвистическая география, как и описательная диалектология, оперирует фактами монохронными, существующими в настоящее время (по отношению к исследователю). Вопрос о характере соотношения «полихронных» различительных элементов системы относится к области истории языка как науки.

Введя параллельное представление о синхронии и диахронии представление о «монохронии» и «полихронии», Аванесов и Бернштейн в известной степени снимают основное противоречие «синхронического анализа» диалектного континуума, связанное с проблемой тождества системы и гомогенности ее структуры. Картографическое представление «системы частных систем» («диасистемы», согласно Вайнрайху) оказывается ориентированным во времени таким образом, что на карте существуют (в монохронии) различные этапы развития описываемых систем.

Несоответствие концепции единой гомогенной структуры действительному характеру языковой общности, которая чаще всего структурно разнородна, отмечает Г. Р. Кохрейн. Методы структурной диалектологии должны представлять язык не как единую структуру, но в качестве существующих дробных структур, а исследователь должен выделять не одну из структур, «язык», но «варианты структур» как модель того, «что происходит при обращении друг к другу тех, кто составляет соответствующую общность».<sup>25</sup> Эта модель и выступает, по мнению Кохрейна, в качестве «диасистемы», которая не может рассматриваться как «конструкт» исследователя (со ссылкой на Богелипа).

<sup>23</sup> А в а н е с о в Р. И., Б е р н ш т ей н С. Б. Лингвистическая география и структура языка. О принципах Общеславянского лингвистического атласа. М., 1958, с. 4.

<sup>24</sup> Там же, с. 15.

<sup>25</sup> Со чаг а пе G. R. The Australian English vowels as a diasystem. — Word, 1959, vol. 15, p. 70.

В 1960 г. еще раз обращается к теме «структуре языка и лингвистическая география» В. Дорошевский. Исследуя в основном принципы номинации и лексико-семантической дифференциации языка, он по существу снимает саму проблему: «Всякое территориальное различие нарушает единство системы... можно утверждать, что методологическая важность лингвистической географии в том, что она предостерегает от спекулятивного и догматического понимания системы или же структуры языка». <sup>26</sup> Структуру Дорошевский понимает как «определенное иерархическое единство, составленное из переменных элементов», исходя из того, что «если целое складывается из элементов, то тем самым мы утверждаем определенную самостоятельность этих элементов, а самостоятельность состоит в том, что каждый из этих элементов может быть составляющим другого целого». <sup>27</sup>

Выступивший с критикой более ранних положений доклада Дорошевского Р. Гросе, отмечая необходимость исследования структуры диалектов, подчеркивает: «Даже здесь имеются язык и речь, синхрония и диахрония... Непосредственное противопоставление литературного языка в качестве синхронной системы и диалекта как диахронического принципа, вызывающего изменения, недопустимо... по крайней мере с методологической точки зрения, основополагающие разграничения Соссюра должны приниматься во внимание». <sup>28</sup>

«Противопоставление» диалекта и литературного языка допустимо, если диалект понимать как частную систему (подсистему) в структуре национального языка (Р. И. Аванесов и С. Б. Бернштейн). Нередки случаи умозрительного отрыва диалекта от «нормы», недопонимания того диалектического единства синхронии и диахронии, которое в широком контексте Курса утверждалось Соссюром. Норма либо опирается на одну из диалектных систем, которая начинает доминировать над остальными, вытесняя их и способствуя унификации лингвистической территории, либо складывается в результате диалектного смешения как система качественно нового типа, интегрирующая структурные особенности исходных систем. В любом случае в лингвистическом континууме сохраняются дискретные системные образования или как относительно «чужеродные» норме и самостоятельные системы, или же как предшествующее «донормативное» состояние языка, которое может быть представлено и более однородным ареалом, и достаточно «мозаичным» наслоением систем. Сложность в том, чтобы

<sup>26</sup> Doroszewski W. O strukturze języka i geografii lingwistycznej. — *Poradnik językowy*, 1960, z. 8 (183), s. 345.

<sup>27</sup> Doroszewski W. O strukture języka... — *Poradnik językowy*, 1960, zesz. 7 (182), s. 289.

<sup>28</sup> Gross R. Strukturalismus und Dialektgeographie. — *Biul. fonograficzny*, 1960, z. 3, S. 100—101; cp.: Gross R. Isoglossen und Isophones. Zur Problematik der phonetischen, phonologischen und phonometrischen Grenzlinien. — *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 1965, Bd 87, S. 295—317.

прослеживать в диахронии элементы одной и той же системы, не смешивать разные диалектные системы, фиксируемые в наблюдаемом времени срезе языка. В этом отношении показательна идея «фонологического поля», выдвинутая В. Г. Мултоном, который неоднократно обращался к проблеме «структурная диалектология».<sup>29</sup>

Оперируя «синхронической корреляцией» и «фонологическим полем», в пределах которого существует некоторый «порог дифференциации» между двумя соседними фонемами, Мултон рассматривает в качестве модели фонологического поля лингвистическую карту,<sup>30</sup> что не выдерживает критики, если речь идет о «наслоении» систем, и со многими оговорками приемлемо в тех случаях, когда налицо смешение диалектов (говоров). Предлагаемая же Мултоном операция вычленения фонем с учетом порога дифференциации требует предварительного знания существующих в системе оппозиций, а если они известны, то операция теряет смысл. «Синхроническая корреляция» по сути и есть система, но последняя с большим трудом поддается определению на основе выделяемых диалектологами фонетических оттенков. Принцип «максимальной дифференциации» фонем предполагает наличие дискретных элементов системы, а не непрерывного поля.

Мултон ставит под сомнение эффективность понятия диасистемы в смысле Вайнрайха. Он приводит для швейцарских диалектов Люцерна и Аппенцеля следующую систему гласных:

$$Lu, \quad Ap \parallel i \approx e \approx \epsilon \approx \omega \approx a \approx \circ \approx o \approx n \approx \ddot{u} \approx \ddot{o} \approx \ddot{\circ} \parallel,$$

демонстрирующую полное совпадение диалектного вокализма. Но с учетом распределения гласных по словам и их этимологических соответствий (помечены цифровыми индексами) обнаруживается существенное расхождение тех же систем:

$$\left\| \frac{Lu \quad i_0 \sim e_1 \sim \epsilon_2 \sim \omega_3, 4}{Ap \quad i_{0,1} \sim e_{1,2} \sim \epsilon_3 \sim \omega_4} \approx a_4 \approx \frac{\circ_2 \sim o_1 \sim u_0 \sim \ddot{u}_0 \sim \ddot{o}_1 \sim \ddot{\circ}_2}{\circ_2 \sim o_{1,2} \sim u_{0,1} \sim \ddot{u}_{0,1} \sim \ddot{o}_{1,2} \sim \ddot{\circ}_1} \right\|.$$

Таким образом, в первом случае Люцерн и Аппенцель «составляют не диасистему, а одну идентичную фонологическую систему...». Если же мы трактуем их как взаимосвязанные и учитываем лексические соответствия, то получим диасистему с единственной выраженной диафонемой //a<sub>4</sub>//... это придает идею диасистемы сомнение

<sup>29</sup> Moulton W. G. 1) Phonologie und Dialekteinteilung. — In: Sprachleben der Schweiz. Festschrift Hotzenköcherle. Bern, 1963, S. 75—86; 2) Phonetische und phonologische Dialektkarten. — In: Communications et rapport du Premier Congrès International de Dialectologie générale. Louvain, 1964, vol. II, S. 117—128; 3) Contributions of dialectology to phonological theory. — In: Paper delivered 29 August 1967 before the Tenth Intern. Congr. of Linguists. Bucharest, 1967; 4) Opportunities in Dialectology. — In: The Nordik Languages and Modern Linguistics. Reykjavik, 1970.

<sup>30</sup> Moulton W. G. Dialect geography and the concept of phonological space. — Word, 1962, vol. 18, № 1—2, p. 23, 25—26.

тельную ценность в диалектологии. Она остается, конечно, вполне приемлемой, когда мы хотим сопоставить фонологические системы двух языков, не связанные между собой, или отношения между которыми нас не интересуют. Но это уже не диалектология».<sup>31</sup>

Позиция Мултона во многом обусловлена неопределенностью понятия «диалект», в частности в его соотношении с системой. Это еще очевиднее из следующей формулировки Дж. Франческато: «Диалект это группировка различных лингвистических образований, все системы которых принадлежат одной диасистеме. Другими словами, диалект (в традиционной терминологии) представляет собой конкретную манифестацию диасистемы (в структуральной терминологии). И то и другое плод абстракции исследователя».<sup>32</sup> Франческато опирается на понятие диасистемы только для того, чтобы выделить в лингвистическом континууме некоторые общности, основываясь на более строгих, по принятому мнению, критериях структурального анализа. Но задачи структурной диалектологии менее всего могут быть сведены к задаче выделения и разграничения диалектов.

В начале 60-х годов появляется целый ряд работ, посвященных структурному анализу в диалектологии.<sup>33</sup> Достигнутые к этому времени результаты суммирует А. Аврам. По его словам, структурная диалектология не может быть только описанием системы диалекта (говора), но должна быть «исследованием отношений, складывающихся между этими системами, в том числе с географической точки зрения». Однородные в фонетическом отношении зоны могут оказаться при фонологическом подходе различными, и наоборот — один «фонологический ареал» может соответствовать нескольким «фонетическим», как иллюстрирует схема:

	/ e /	/ e ~ ε /
[e]	1	2
[ε]	3	4

На этой схеме по фонетическим признакам объединяются ареалы 1—2 (зона e) и 3—4 (зона ε); по фонологическим же критериям

<sup>31</sup> Moulton W. G. The short vowel systems of Northern Switzerland. A study in structural dialectology. — Word, 1960, vol. 16, p. 177.

<sup>32</sup> Francescato G. Dialect borders and linguistic systems. — In: Preprints of papers for the IX Intern. Congr. of linguists. Cambridge, Mass., 1962, p. 171.

<sup>33</sup> Heegoma K., Fokkema K. Structuurgeografie. Amsterdam, 1961; Heegoma K. Structuurgeografie en structuurhistorie. — Tijdschrift van Nederlandse Taal — en Letterkunde, 1963, № 79, s. 165—182; Catalli D. Dialectología y estructuralismo diacrónico. — In: Miscelania A. Martinet. T. III. La Laguna, 1962, p. 69—80; Vić P. 1) Structure and typology of dialectal differentiation. — Ibid., p. 115—129; 2) On the structure of dialectal differentiation. — Word, 1962, vol. 18, p. 33—53; McDavid R. I. Structural linguistic and linguistic geography. — Orbis, 1961, t. 10, № 1, p. 35—46.

граница пролегает между 1—3, где имеют место лишь разные реализации одной фонемы, и 2—4, где отмечается оппозиция [e] : [ɛ], обнаруживаемая при наложении ряда карт. Особую трудность представляют, по мнению Аврама, случаи диглоссии, так как при этом существуют различные системы. Характерно следующее замечание: «Судя по содержанию большинства статей, посвященных теории структурной диалектологии, невозможно ставить вопрос об установлении статуса языка или диалекта для определенной лингвистической общности на основе структурального анализа... ответ недостаточно ясен и тогда, когда ставится более простая и ограниченная задача, которую можно было бы сформулировать следующим образом: „одна или несколько диалектных общностей с фонологической точки зрения“».<sup>34</sup> Следовательно, структурная диалектология не может заменить традиционную и наиболее удовлетворительные результаты дает сочетание их методов. Цель в том, чтобы различать явления, используемые диалектными системами, от тех, которые для них нефункциональны.

Но основная трудность и заключается в методике различения фонематически значимых и факультативных вариантов диалектной речи. С этой трудностью фонология сталкивается при обращении к имеющимся описаниям, фиксирующим «оттенки» произношения, и при непосредственном анализе особенностей диалектного произношения фонологами. В этом убеждают исследования Дж. Кэтфорда и Т. Хилла в области шотландских говоров английского языка, в которых авторы пытаются учесть фактор дополнительной дистрибуции фонем.<sup>35</sup> Так, Хилл констатирует, что «говорящий субъект может различать sail — т. е. seəl, sɛl — но иметь nel как для nail, так и для Nell. В Кейбрече... Bessie и Katie это bes.e, kete; в Райни, несколькими милями восточнее, оба слова имеют -æ (но отмечается -e в других словах, например в lacy); в Нью-Байтсе, на севере, они произносятся bese и ketæ». В итоге Хилл отмечает, что в этих случаях, с одной стороны, имеет место естественное развитие, «стремящееся упростить систему», с другой — «тенденция к сближению с английским стандартом», что создает «очень зыбкую ситуацию».<sup>36</sup>

Зыбкость ситуации осознается и в том, что паряду с традиционными представлениями о фонологических оппозициях в рамках диасистемы Кохрэн, например, предпочитает говорить о «диафонетической оппозиции» и «диафонемной»<sup>37</sup> (ср. «диафонема» у Мултона), а Э. Пулгрэм, рассматривая предложения Вайнрайха, считает необходимым подчеркнуть первичность «физи-

<sup>34</sup> Avram A. Despre dialectologia structurală. — Limba română, 1962, An. XI, № 6, p. 624.

<sup>35</sup> Catford J. C. Vowel system of Scots dialects. — Transaction of the philological Society, 1957; Hill T. Phonemic and prosodic analysis in linguistic geography. — Orbis, 1963, t. XII, № 2, p. 455.

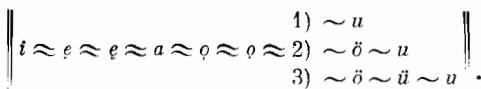
<sup>36</sup> Hill T. Phonemic and prosodic analysis..., p. 455.

<sup>37</sup> Cochrane G. R. The australian english..., p. 72.

ческого» в фонологии вообще.<sup>38</sup> Так как границы диалекта остаются неопределенными, Пулгрэм допускает в качестве первой ступени абстракции, что «все сходные идиолекты образуют диалект». И далее: «Диасистема по определению является классом диалектов, и тем самым следующей ступенью абстракции, следовательно, мы сводим вместе в этом классе объекты, лингвистически не тождественные, т. е. разные диалекты с различающейся структурой».<sup>39</sup> Исходным условием для объединения ряда систем в одну диасистему является их принадлежность одному языку, но поскольку понятия «язык» и «диалект» все еще далеки от того, чтобы не быть взаимозависимыми, а язык «эквивалентен диасистеме», постольку «определение диасистемы в качестве суммы диалектов одного языка остается тавтологией». Поэтому Пулгрэм склонен рассматривать понятие диасистемы и в смысле Вайнрайха, в ряду иерархического ряда «идиолект-диалект — диасистема» в качестве разных ступеней обобщения, и в смысле Мултона как удобную классификационную модель, позволяющую устанавливать типологические соответствия между системами.<sup>40</sup>

Возможность интерпретации диасистемы как модели типологических соответствий, конечно, заложена в принципах ее построения, ибо частные реализации систем подчинены схеме общих отношений в «суперсистеме». И если Станкевич предостерегает от широкой интерпретации понятия, а Мултона такая возможность не вполне устраивает, то Пулгрэм оценивает скорее эвристические возможности диасистемы в контексте общелингвистической проблематики — типологическое сопоставление систем.

Лингвогеографическую значимость предложенной Вайнрайхом модели удачно продемонстрировал Л. Хайльман. Опираясь на наблюдения в области ретороманско-итальянского пограничья, он строит следующую схему, обозначив соответственно трептинский тип (Поццо — 1), ретороманский (Кавалезе — 3) и переходный тип (Моэна — 2):



В этой схеме обнаруживаются две «налагающиеся одна на другую фонетические зоны... и как результат этого наложения — три четко различные зоны, где, несмотря на идентичные фонетические реализации, оппозиции совершенно различны».<sup>41</sup> Как показывает Хайльман, «в зонах соприкосновения... действуют внутренние

<sup>38</sup> P u l g r a m E. Structural comparison, diasystems and dialectology.—Linguistics, 1964, № 4, p. 68—69.

<sup>39</sup> Ibid., p. 69.

<sup>40</sup> Ibid., p. 74; ср.: Судник Т. М., Шур С. М. Диалектология и структурная типология. — В кн.: Исследования по структурной типологии. М., 1963, с. 216—226.

<sup>41</sup> Х а й л ь м а н Л. В защиту структурной диалектологии. — В кн.: Современное итальянское языкознание. М., 1971, с. 155.

отношения различных систем, которые позволяют считать эти последние вариантами какого-то высшего структурного единства и подвергать исследованию именно это единство».<sup>42</sup> Тем самым намечается возможность различить понятия «диалект» и «диасистема» не как разные этапы обобщения (согласно Пулгрэму) или как определения «традиционное» и «структуральное» (по Франческато), но как понятия, относящиеся к различным аспектам языковой действительности.

Если диалект — это некоторая языковая общность, выступающая в качестве подсистемы в единой системе национального языка, выраженного литературной нормой, и данная подсистема выделяется только по отношению к этой норме, то диасистема есть результат непосредственного взаимодействия двух (обычно не более) исходных систем при отсутствии лингвистической престижности одной из взаимодействующих систем. Диасистему могут образовать только равноправные системы, что явно подразумевал Вайнрайх, говоря о возможности ее реализации в условиях двуязычия. Хайльман стремится переориентировать «структурную диалектологию» к анализу языковой ситуации, и представляется, что это единственная возможность избежать формализации диалектологии, сохранив как историческую ценность диалектологических фактов, так и методологические принципы, основанные на представлении о языке как системе.

В качестве примера подобной формализации можно привести следующую схему Дж. Франческато, пытающегося преодолеть «противоречие» между синхронией и диахронией, сохраняя традиционное (послесоссюровское) понимание синхронии. В его трактовке «диалект имеет сложную лингвистическую структуру, состоящую из нескольких систем», т. е. является «диасистемой»; описание отдельно взятого говора в качестве «конечного объекта» он считает «монохроническим», а параллельный анализ группы говоров, принадлежащих одной диасистеме (одному диалекту), — «синхроническим»; последовательный ряд «монохронических» описаний говора составляет «диахроническое» описание.<sup>43</sup> Предлагаемая трактовка сохраняет неопределенность понятий «диалект» и «диасистема»; подменяет диахронный анализ, требующий раскрытия внутренней мотивировки изменения системы, последовательностью «монохронических» характеристик ее состояний, т. е. «полихронией» в смысле Аванесова и Бернштейна.

Ряд других формальных интерпретаций понятия «диасистема» приводит М. Альвар.<sup>44</sup> В частности, М. Караджиу-Мариоцяну в рамках диасистемы как единицы в континууме, противопоставленной системе в качестве единицы прерывной, предлагает раз-

<sup>42</sup> Там же, с. 151.

<sup>43</sup> Francesco G. Struttura linguistica e dialetto. — In: Linguistique et philologie romane. X Cong., Actes, T. 3. Paris, 1965, p. 1011—1017.

<sup>44</sup> Alvar M. Estruturalismo, geografía lingüística y dialectología actual. Madrid, 1969, p. 17—27.

личать «геофонемы» и «геоморфемы» (т. е. географические варианты фонем и морфем). Аналогичным образом А. Виченц параллельно к комбинаторным и позиционным вариантам фонемы выдвигает понятие «географический вариант» применительно к «супраструктуре», трактуемой им в смысле диасистемы Франческато.<sup>45</sup> Подобная абсолютизация пространственных представлений о системе вряд ли целесообразна.

Стремясь сохранить концепцию системы по отношению к языку в его конкретном расслоении на региональные и функциональные варианты, В. Полак разграничивает морфосинтаксические структуры в грамматике, семантику в качестве психолингвистических реальностей на лексическом уровне и фонологические отношения в фонетике, полагая, что соответственно система языка (т. е. грамматика) не затрагивается стратификацией фонологических отношений, идущих преимущественно в горизонтальном направлении (диалектные различия), и лексико-семантическими расхождениями, идущими по вертикали (социальные и специальные языки).<sup>46</sup> Схема Полака отражает только частные случаи корреляции внутреннего и внешнего языковых состояний в условиях портированных ареалов. Лингвистические объекты любого порядка, от говора до языка, могут иметь различные системные признаки на всех уровнях. При этом единицы высшего уровня часто обусловлены регулярными вариантами на низшем уровне.

Как отмечают, например, Я. Госсенс и А. Стивенс, исследуя распределение фонологических изоглосс, трудность состоит в том, что «каждый диалект в качестве системы должен рассматриваться сам по себе... Из этого следует вопрос, правомерно ли сопоставление фонем различных диалектов».<sup>47</sup> И ниже: «Должны ли рассматриваться различные реализации в качестве географических вариантов той или иной фонемы? Но где с фонетической точки зрения проходит граница фонемы, рассматриваемой в качестве одной и той же фонемы?... где, с одной стороны, граница между /ā:/ и открытым долгим e, а с другой стороны — граница между /ā:/ и открытым долгим o?». Имея дело с нормированным ареалом, авторы приходят к единственному возможному ответу: «В основном критерии сводятся к следующему: идентифицируется ли в языковом сознании говорящего однозначно или неоднозначно выраженная фонема с долгим /ā/ голландского литературного языка, или нет?».<sup>48</sup>

Структурная диалектология, как правило, имеет перед собой некоторый этalon системы, представленной нормой соответствующего языка, или в ряде случаев (для так называемых «литератур-

<sup>45</sup> V i c e n z A. La méthode structurale et la géographie linguistique. — In: Linguistique et philologie romanes. X Congr., Actes, T. 3, p. 1019—1027.

<sup>46</sup> P o l á k V. Contribution à l'étude de langue et de dialecte. Orbis, 1954, t. III, № 1, p. 89—98.

<sup>47</sup> G o o s s e n s J., S t e v e n s A. Funktionale Abhängigkeit von Iso-phonien. Ein Beispiel zur Belgisch-Limburg. — Orbis, 1964, t. XIII, № 2, S. 347.

<sup>48</sup> Ibid., S. 548.

ных диалектов») — нормой диалекта, с которой соотносятся нормы говоров и обиходной диалектной речи. Различные состояния диалектов, обнаруживающих и разную организацию системных единиц, и влияния нормы, и постоянно накапливающиеся отклонения от нормы, и реликты вытесненных систем, создают впечатление, что объект исследования распадается на целый ряд частных задач, требующих специфических методов анализа. Это обнаруживает и сама логика развития идей структурной диалектологии.

В условиях германоязычных ареалов Мултон в упоминавшейся статье «Система кратких гласных в северной Швейцарии» и вслед за ним Хеерома<sup>49</sup> считают более показательной подсистему кратких гласных, менее вариативных, чем долгие. Речь идет о репрезентативности приемов и методов структурной диалектологии, и большинство работ в этой области сводится к подобной демонстрации возможностей системного подхода в лингвогеографических и диалектологических исследованиях, что говорит скорее о неразработанности, чем об успехах нового направления.

Структурная диалектология зарождалась на стыке разных потребностей диалектологии и лингвистики. С одной стороны, возникла потребность в менее импрессивных критериях определения границ между диалектами и описания диалектных особенностей. С другой, по мере того как формулировался вопрос о причинах изменения структурно-системных отношений в языке, изменились представления о функциональных связях в системе. Последние все чаще стали рассматриваться не столько телеологически (с точки зрения целесообразности функций), сколько «морфологически», с учетом коммуникативной задачи на уровне коллектива общения и психолингвистических процессов на уровне говорящего. Диахроническая фонология в конечном счете объясняла только механизм соответствий, но не причину изменений системы и перехода от одного состояния языка к другому. Лингвистическая география на первый взгляд давала возможность исследовать динамику системы, «диахронию в синхронии». Но оказалось, что как синхрония, так и диахрония растворяются в неопределенности диалектных фактов. Между тем не всякий факт есть проявление системы. Отклонения от системы неизбежны, поскольку язык остается живой формой общения, но существенны только те отклонения, которые видоизменяют систему. Структурная диалектология невозможна на уровне «чистых фактов», при отказе от имеющихся представлений о системе исследуемого языка и о внутренней системной обусловленности отдельных этапов его исторического развития.

Известное положение, что не существует диалектов до исследования (имелось в виду лингвогеографическое обследование), в структурной диалектологии не только спорно, но просто неприемлемо. Структура диалекта может быть уточнена в результате исследования, но хотя бы в первом приближении она должна быть задана до того, как исследователь приступает к анализу дан-

<sup>49</sup> Негома K. Struktuurgeografie en structuurhistorie, S. 167.

ных лингвистической карты. В этом смысле традиции славянской лингвогеографической школы, опирающейся на предварительное знание о диалектах, более объективны, чем описательный объективизм романской лингвистической географии. Эмпиризм как принцип лингвогеографического анкетирования может привести только к атомизации исследования, к отказу от поиска закономерностей пространственного распределения явлений, что уже имело место в истории лингвистической географии после первых опытов Ж. Жильерона.

Нужно сказать, что и конкретные задачи, направленные на оптимизацию подачи лингвогеографических данных на карте, не могут восприниматься в качестве специфических задач структурной диалектологии. Структура карты (и шире — структура лингвистического атласа) зависит от методологических установок составителей программы и от целей лингвистического анкетирования. Как подчеркивает И. И. Ковалик, «о методе анализа идет речь и тогда, когда мы определяем тему карты, и когда составляем легенду и комментарий».<sup>50</sup>

Ковалик видит основную задачу диалектологии в изучении «процессов давления системы литературного языка на системы современных территориальных диалектов». Но им выделяется только одна из сторон процесса — функционирование диалектной речи в условиях нормированных языков. Значительно сложнее проследить формирование современных лингвистических ареалов, определить те центробежные и центростремительные силы, которые привели к выделению наддиалектной нормы в стихии диалектной речи, к формированию системы национального языка. При этом нужно подчеркнуть, что славяноязычные ареалы, которые имеет в виду Ковалик, заметно унифицированнее, чем, например, германоязычные или некоторые романоязычные. Применительно к романским и германским языкам недостаточность структуральных методов в диалектологии более очевидна. Так, А. Бес, допуская «существование вариантов одного языка, диалектов, каждый из которых имеет свою фонологическую систему», приходит к следующему выводу: «Невозможно обнаружить идентичные элементы двух систем, различающихся в целом. Достаточно одного различия, чтобы все различалось».<sup>51</sup>

В очередной раз обращаясь к проблемам структурной диалектологии, В. Мултон сводит ее задачу к ответам на следующие вопросы: 1) как произносятся звуки в определенных словах в каждом из обследованных пунктов (что совпадает с задачами традиционной диалектологии); 2) какую позицию занимает некоторый звук в общей системе звуков для каждого из этих пунктов? По его мнению, «структурный подход в лингвистической географии освобождает

<sup>50</sup> К о в а л и к И. И. Про сінхронію і діахронію в діалектології. — В кн.: Праці XI республіканської діалектологічної наради. Київ, 1965, с. 44.

<sup>51</sup> B é s G. G. Certains aspects du rapport de la phonologie avec la dialectologie. — Phonetica, 1965, vol. 13, № 1—2, p. 22, 25.

нас от субъективных и произвольных решений» при определении диалектных границ.<sup>52</sup>

Рассматривая различные примеры фонологической интерпретации данных голландского, немецкого и английского языков, он приходит к выводу, что задача анкетирования должна прежде всего сводиться к ответу на вопрос, «какие фонетические различия фонологически релевантны, а какие нет». Но это задача программирования фонологической части анкеты, и она должна решаться методами экспериментальной фонологии, а не диалектологии, традиционной или структурной. Уже говорилось о том, что основную трудность создает неясность фонематического статуса фиксируемых диалектологами фонетических реализаций. Решение этого вопроса могло бы снять любые сомнения в возможности существования структурной диалектологии.

Не отвечает на вопрос о принципах преодоления основного затруднения структурной диалектологии — затруднения, связанного с необходимостью перехода от импрессивного описания фонетических рефлексов к характеристике их фонологических различий, и монография Я. Госсенса, в которой автор попытался обобщить методы и проблематику структурных направлений в диалектологии. Подчеркивая, что экстраглавистические факторы обрисовывают не столько развитие, сколько характер распространения явлений, Госсенс в этой своей работе дает следующее определение диасистеме: «Формулу, отображающую взаимоотношения двух и более ступеней истории языка, можно назвать диасистемой».<sup>53</sup> Предмет структурной диалектологии, по его мнению, это «исследование диасистем, составные части которых представлены соседствующими друг с другом в пространстве родственными диалектами». В конечном счете структурная диалектология в отличие от традиционной, уделявшей внимание прежде всего экстраглавистическим факторам, стремится «ограничить последние, больше акцентируя внимание на возможности внутренней обусловленности того состояния, которое обнаруживают лингвогеографические материалы».<sup>54</sup> Все эти соображения остаются декларативными, и в практической части Госсенс не идет дальше фрагментарных иллюстраций.

Снова и снова перед исследователями встает проблема определения границ диалекта и в качестве системы и как подсистемы. Но эти границы размываются вплоть до отдельных идиолектов: «В строгом смысле диалект в свою очередь предстает как компромисс между многими „идиолектами“, где идиолект следует понимать как „совокупность речевых навыков отдельного индивидуума в определенный момент“ (со ссылкой на Вайнрайха, возражавшего

<sup>52</sup> M ulton G. Structural dialectology. — Language, 1968, vol. 44, № 3, p. 453—454.

<sup>53</sup> G oossens J. Structurelle Sprachgeographie, S. 18.

<sup>54</sup> Там же, с. 24.

против подобных представлений, — *H. C.*).<sup>55</sup> Как и большинство других авторов (кроме, пожалуй, Вайнрайха), Нибаум считает, что Соссюр «недооценивал диахронию»; вслед за Госсенсом он полагает, что структурная диалектология выступает как «внутрилингвистическая диалектография».<sup>56</sup>

Во всех подобных рассуждениях единство синхронии и диахронии предстает лишь как формально понимаемое единство, а не как принцип языкового развития. Отрывая «внутрилингвистическое» от «внешнелингвистического», невозможно понять причины языковых изменений. Возможность изменений заложена в системе. При этом следует иметь в виду и те связи языка с предметами и явлениями объективной действительности (культуру в широком смысле), которые характеризуют исторические языки. В этом смысле язык изменяется и в силу внутрилингвистических причин (по мере развития языка — мышления), а не только в силу взаимодействия разных систем диатопного и диастратного плана.

Г. Пилх определяет задачу структурной диалектологии как «изучение географической вариативности лингвистических отношений (в пределах данного языка)»,<sup>57</sup> но тут же отмечает, что «трудно получить информацию о структуре по неструктурным картам», и выдвигает задачу создания «структурного атласа» на основе картографирования минимальных пар, предусматривающих различные типы отношений между фонемами. Для М. Дэвиса «диалекты являются отражением последующих фонологических правил» трансформации фонем, к тому же, как он считает, мы слышим признаки звуковых волн, а не полные звуки.<sup>58</sup> Предлагаемые Дэвисом трансформации фонологических отношений для выявления «диапризнаков», составляющих диасистему английского языка в совокупности его дистинктивных признаков фонем и их комбинаций в лучшем случае остаются типологией этих признаков. Того же порядка бихевиористские формулы «генеративной диалектологии» Д. Бекера,<sup>59</sup> обращающего внимание на правила описания диалектных фактов, изложенные в традиции трансформационализма, а не на сами факты.

Хотя структурная диалектология так и не пришла к каким-либо позитивным результатам, за исключением бесспорного положения о важности системного подхода к изучению территориальных различий языка, идеи Вайнрайха нашли отражение в некоторых работах по проблемам общего языкознания и диалектологии.<sup>60</sup>

<sup>55</sup> Niebaum H. Warum strukturelle Dialektologie? — Niederdeutsches Wort, 1970, Bd 10, S. 82.

<sup>56</sup> Там же, с. 91—93.

<sup>57</sup> Pilch H. Structural dialectology. — American speech, vol. 47, № 3—4, p. 166.

<sup>58</sup> Davis M. The Diafeature. An approach to structural dialectology. — J. Engl. linguistics, 1973, vol. 7, p. 3.

<sup>59</sup> Becker D. A. Versuch einer generativen Dialektologie. — Orbis, 1975, t. XXIV, № 2, S. 276—342.

<sup>60</sup> Cp.: Montes Giraldo J. J. Dialectología y geografía lingüística. Bogota, 1970, p. 40—42; Tratat de lingvistică generală. Bucureşti, 1971, p. 113—

Термин «диасистема» вошел в обиход в его первоначальном (вайнрайховском) смысле — обобщение частных систем. В употреблении диалектологов диасистема соседствует с такими понятиями, как «диатопия» (варьирование языка в пространстве) и «диастратия» (социальное варьирование, создающее шкалу ценностных отношений в языке). Тем самым сохраняется представление о синхронии и диахронии в качестве разных аспектов одного и того же объекта — языка в единстве истории, синхронии и нормы.

Представители структурной диалектологии, абсолютизирующие диалектные системы, игнорирующие специфику языковых ситуаций в конкретных лингвистических ареалах, не могут преодолеть схематизма своих построений. Там, где учитываются реальные отношения между территориальными лингвистическими образованиями (как у Хайльмана), а также между диалектами и нормой (исследование Кохрейна), трудности структурного анализа определяются только характером лингвогеографических источников, методикой выявления звуковых вариантов и их описания. Методологические трудности, которые возникают в этом случае, сводятся к одному требованию — не смешивать разные объекты исследования. В полном объеме эта задача решается в процессе определения диалектной базы исследуемого языка, и тут возможны разные отношения между нормой и диалектами, но это уже вопрос о принципах и методах исторической диалектологии.

Ю. С. КУЗЬМЕНКО

ИСТОКИ СКАНДИНАВСКОЙ МЕТАФОНИИ  
(О СААМСКОМ ВЛИЯНИИ  
НА СКАНДИНАВСКИЕ ДИАЛЕКТЫ)

Саамы — небольшой народ, живущий в северной Норвегии (20 тыс.), в северной Швеции (10 тыс.) и в Финляндии (2.5—3 тыс.).<sup>1</sup> Около 2 тыс. саамов живет на Кольском полуострове в СССР. Южная граница их современного расселения — 61° северной широты.<sup>2</sup> В Норвегии самое южное поселение саамов

119; Wakelin M. F. English dialects. An Introduction. London, 1972, p. 58—59.

<sup>1</sup> По данным 1967 г. См.: Koghonen O. Linguistic and cultural diversity among the saamis and the development of Standard saamish. — Linguistics, 1976, № 183, p. 52.

<sup>2</sup> Collinder Bj. The lapps. New York, 1949, p. 6—7. Считается, что раньше саамы появлялись в более южных районах. См.: Voggen Ø. Saamene i natur- og kulturmiljøet. — Ottar, 1958, bd 57, № 3, s. 3. Уже около 500 г. саамы достигли Эмтланда. См.: Sjövold Th. The Iron age settlement of arctic Norway. (Tromsømuseets skrifter, bd X). Tromsø—Oslo, 1962, p. 225. Раньше считалось, что саамы появились в Эмтланде и Херъедалене только в XVI—XVII вв. (см.: Ravila P. Die Lappen und Fennoskandien. — In: Germanen und Indogermanen. Heidelberg, 1936, S. 98). В Вестерботтене саамы жили во времена саг (см.: Collinder Bj. Birkarlar och lappar. — Namn och bygd, 1965, Åg. 53, № 1—4, s. 4).

в Рёрусе, в Швеции — в Идре.<sup>3</sup> Считается, что на Скандинавский полуостров саамы проникли еще до новой эры (датировка их появления колеблется от середины первого тысячелетия до н. э. до VII тысячелетия до н. э.).<sup>4</sup> Саамы связываются с жившими в северной части о. Скандинавии phinoi Птоломея и skrithiphinoi (лыжными финнами) Прокопия, которых тот помещает на о. Туле.<sup>5</sup> Скандинавы начинают осваивать север полуострова в III—IV вв. н. э., археологические находки этого периода свидетельствуют о взаимодействии саамской и скандинавской культур. В норвежских захоронениях IV в. следы саамского влияния еще незначительны,<sup>6</sup> в VIII—X вв. оно уже очень заметно.<sup>7</sup> Археологические находки позволили П. Симонсену предположить возможность существования на севере Норвегии смешанного саамо-скандинавского населения.<sup>8</sup> Смешение саамской и скандинавской культур наблюдается археологами и на севере Швеции.<sup>9</sup>

Одно из смешанных захоронений, в котором не только предметы, но и сам способ захоронения говорят о саамском влиянии, найдено в северной Норвегии на о. Сёр-Квалёй (Тромвик). Считается, что именно на этом острове находилась усадьба знаменитого норвежского хёвдинга Оттара (Охтхере),<sup>10</sup> запись рассказа которого королю Англии Альфреду Великому является древнейшим письменным источником по истории северной Норвегии.<sup>11</sup> Оттар рассказал Альфреду (вероятно, в 894—895 гг.) о своем хозяйстве и о путешествии в Бъярмланд. В те времена он был самым знатным норвежцем, жившим в Халогаланде, и саамы платили ему дань. О саамо-скандинавских связях свидетельствует само хозяйство Оттара, основным богатством которого были олени (600 голов). Сам Оттар, по-видимому, знал саамский язык, о чем может свидетельствовать его замечание, что саамы и бъярмы говорят почти на одном и том же языке (*þā Finnas, him þūhte*,

<sup>3</sup> Й. Русберг сообщает, что уже в XX в. саамы из Идре переселились в Херьедален. См.: Rosberg J. E. Kan et språklig sammanslutning bland lapparna tänkas? — In: Festschrift til rektor J. Ovigstad (Tromsømuseets skrifter, bd II). Tromsø, 1928, s. 224.

<sup>4</sup> Обзор литературы по этому вопросу см. в кн.: Hultblad F. Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Lund, 1968 (Acta lapponica, XIV), s. 48—57.

<sup>5</sup> Ravila P. Die Lappen..., s. 100.

<sup>6</sup> Simonsen P. Bønder og vikinger i nord-norsk jernalder. — Ottar, 1959, № 1, s. 5, 7.

<sup>7</sup> В захоронении Тромвик 8 норвежских предметов и 5 саамских, Балспес — 6 норвежских, 3 саамских, Энгхольмен — 5 норвежских, 12 саамских. См.: Simonsen P. Bønder og vikinger..., s. 23. См. также: Simonsen P. Den norske bosetning i Finnmark. — Ottar, 1968, bd 58, № 4, s. 16, 19 (карта на с. 17).

<sup>8</sup> Simonsen P. Bønder og vikinger..., s. 23.

<sup>9</sup> Lindqvist S. Järnålders bebyggelsen i Sverige. — In: Nordisk kultur. Befolknings i oldtiden. Stockholm, Oslo, København, 1936, s. 65—66.

<sup>10</sup> Simonsen P. Bønder og vikinger..., s. 23.

<sup>11</sup> Этот рассказ включен в сделанный Альфредом Великим перевод истории Орозия. Исторический комментарий к рассказу Оттара см.: Simonsen P. Ottar fra Hålogaland. — Ottar, 1975, bd 14, № 3.

and þā Beormas sprækon nēah ān ȝeþēode).<sup>12</sup> Есть сведения о саамо-скандинавских контактах и в исландских сагах.

С самого начала саамо-скандинавских контактов можно говорить о взаимодействии культур: скандинавы перенимали у саамов опыт жизни в северных районах, заимствовали необходимые для этого орудия труда и охоты. Кочевники-саамы, столкнувшись с более развитым оседлым скандинавским населением, стали приобретать черты оседлости. Переход от кочевого образа жизни к оседлому сопровождался скандинавизацией саамского населения, которая продолжается и в настоящее время,<sup>13</sup> сейчас скандинавизация саамов происходит обычно через два поколения после прекращения кочевого образа жизни.<sup>14</sup> Быстрее всего ассимилировались саамы, осевшие во фьордах. В начале XVII в. Педер Клауссён Фриис отмечал, что поморские лошари в большинстве своем говорят по-норвежски, «хотя и не совсем хорошо» (*icke ret vel*),<sup>15</sup> и уже в XIX в. они были полностью ассимилированы.<sup>16</sup> Быстро подвергались ассимиляции и саамы, жившие в самых южных областях своего расселения. Различие между северными и южными саамами в степени ассимиляции и сейчас значительно. Многие саамы среднего поколения, живущие на юге саамской области, уже не знают родного языка,<sup>17</sup> тогда как на севере можно встретить пожилых саамов, плохо говорящих по-норвежски или по-шведски.

Саамо-скандинавские контакты должны были отразиться и на языках этих народов. Обычно отмечается значительное влияние скандинавских диалектов на саамские, особенно в области лексики. В саамских диалектах насчитывается около трех тысяч скандинавских заимствований, причем около двухсот из них восходят к периоду старших рунических надписей (III—VIII вв.).<sup>18</sup> Это свидетельствует о том, что ранние саамо-скандинавские контакты отразились и в саамском языке. О. Корхонен говорит и о синтаксических скандинавских заимствованиях в саамский.<sup>19</sup> О влиянии саамских диалектов на скандинавские говорят гораздо меньше. Некоторые факты такого влияния, однако, особенно в области фонетики, уже отмечались. Именно влияния фонологических си-

<sup>12</sup> Цит. по: Lehnert M. Poetry and prose of the anglo-saxons. Berlin, 1955, p. 154.

<sup>13</sup> Hultblad F. Övergång från nomadism. . . , s. 192—196. Отметим, что из 7500 жителей норвежского Финнмаркена 6000 считает сейчас родным языком норвежский, хотя большинство из них саамского или финского происхождения. См.: Simonsen P. Den norske bosetning. . . , s. 23.

<sup>14</sup> Hultblad F. Övergång från nomadism. . . , s. 14.

<sup>15</sup> Hansengård N. E. Sea Lappish and mountain Lappish. — J. Soc. finno-ougrienne, 1966, vol. 66, p. 120.

<sup>16</sup> Ibid., p. 121.

<sup>17</sup> Koghonen O. Linguistic and cultural diversity. . . , p. 54.

<sup>18</sup> Подробнее о скандинавских заимствованиях в саамском см.: Qvigstad J. K. Nordische Lehnwörter im lappischen. — Christiania Videnskaps-Selskabets Forhandlinger for 1893, Christiania, 1893, № 1. См. также: Colinder Bj. The lapps. . . , p. 37.

<sup>19</sup> Koghonen O. Linguistic and cultural diversity. . . , p. 54. Он, правда, не приводит ни одного примера заимствований.

стем саамских диалектов на фонологические системы скандинавских диалектов мы и должны ожидать в первую очередь, поскольку происходит не саамизация скандинавов, а скандинавизация саамов, что и должно приводить к появлению скандинавских диалектов с чертами саамской фонологической системы (интерференция). С саамским влиянием связывается, например, нейтрализация оппозиций /u/ — /ø/ в пользу /u/ перед /g/ и /k/ в северной Норвегии.<sup>20</sup> Преаспирация в северных диалектах Швеции также объяснялась саамским влиянием.<sup>21</sup> Возможно, отсутствие супрадентальных и какуминальных в некоторых говорах северной Швеции также связано со скандинавизацией саамов.<sup>22</sup> Саамо-скандинавская интерференция могла происходить, вероятно, не только на фонологическом уровне. С. Уреланд говорит о возможности объяснения появления скандинавского пассива на -s как результата саамского влияния (отметим, что в исландском такого пассива нет).<sup>23</sup>

Нам бы хотелось остановиться на одном скандинавском явлении, которое во многом определило развитие шведского и восточно-норвежского вокализма. Речь пойдет о так называемом выравнивании или уподоблении (шв. *tilljämnning*). В ряде северо- и восточнонорвежских диалектов (особенно в Трёнделаге) и в диалектах северной Швеции в ископных краткосложных словах типа СČСV качество первого гласного определяется качеством второго гласного. Такое явление принято называть метафонией. Степень зависимости первой гласной варьируется от диалекта к диалекту. Есть скандинавские диалекты с неполной метафонией, где первая гласная не полностью уподобляется второй, а становится на подъем выше (перед /i/ или /u/) или на подъем ниже (перед /a/ или /å/), иногда происходит уподобление и по ряду. В ряде диалектов метафония полная и первый гласный полностью уподобляется гласному второго слова. (Ср. примеры неполной метафонии: /lisɪ/ — супин, но /lesa/ — инфинитив глагола ‘читать’, /dripi/, но /drepɑ/ — соответствующие формы глагола ‘убивать’ в говоре Недеркалиksa).<sup>24</sup> Подобным же образом /u/ чередуется с /ø/.

<sup>20</sup> Christian H. Folkeekspansjonen fra Sørvest-Norge til Nord-Norge i prehistorisk tid. — Norsk tidskrift for sprogvitenskap, 1967, bd. 21, s. 23.

<sup>21</sup> Wallström S. Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet. Uppsala, 1943, s. 24; Dahlstedt K. H. Det svenska vilhelminamålet. Uppsala, 1950, s. 1.

<sup>22</sup> Wallström S. Studier. . . , s. 26.

<sup>23</sup> Ur el and S. The rise of the Swedish critical passive. — In: Proceedings of the Second international conference of Nordic and general linguistics, Umeå, 1973. Umeå, 1975, p. 715. Сам С. Уреланд скептически относится к такой возможности, считая маловероятным любое заимствование из языка менее развитого народа в язык более развитого народа. Однако именно это культурное превосходство могло привести к скандинавизации саамского населения и к появлению скандинавских диалектов с саамскими чертами. Из этих диалектов пассив на -s мог распространиться и дальше на юг, туда, где саамов не было.

<sup>24</sup> Rutberg H. Folkmålet i Nederkalix och Töre-socknar. Stockholm, 1924, s. 33—35.

/u/ с /o/, /o/ с /ø/, /a/ с /e/.<sup>25</sup> В шведской литературной норме следами метафонии являются, вероятно, формы типа *bitit*, но *veta* (ср. др.-исл. *bitit* — супин от глагола *bita* ‘кусать’ и *vita* ‘знать’). Примеры полной метафонии: /vukku/ и др.-исл. *viku* — косвенные падежи от *vika* ‘неделя’, /vöttö/ и др.-исл. *vita*, /låvvå/ и др.-исл. *lifa* ‘жить’, /dråpå/ и др.-исл. *drega* ‘убивать’.<sup>26</sup>

Функционально метафония в скандинавских диалектах связана с особым краткосложным акцентом, господствующим в словах типа СČСV. Этот акцент выражается в том, что ударение в слове СČСV распределено равномерно и на первом, и на втором гласном. Биморные комплексы СČСV противопоставляются биморным (так называемым долгим) гласным. Просодическая приравниваемость слов СČСV словам типа VČ и равновесомый акцент в словах СČСV способствует и фонематическому единству гласных в словах типа СČСV. Полная метафония — наиболее яркое подтверждение тому, что гласные в словах типа СČСV воспринимаются как единое целое. Функциональные предпосылки появления метафонии понятны, однако функциональные факторы не всегда детерминируют изменение; кроме того, они не объясняют, почему произошло изменение именно такого вида (тем же целям в нашем случае, например, могла служить и гармония, т. е. влияние первого гласного на второй). Кроме того, возникает вопрос, почему метафония, характерная в основном для говоров северной Норвегии, Трёнделага и северных шведских диалектов, не наблюдается ни в западно-норвежских диалектах, ни в исландском, ни в фарерском, ни в датских диалектах, ни в диалектах южной Швеции.

Мы предполагаем, что появление метафонии в скандинавских диалектах связано со скандинавизацией саамского населения Скандинавии. Во всех саамских диалектах господствует не обычная для других финно-угорских языков гармония, а метафония.<sup>27</sup> Считается, что метафония возникла в протосаамский период;<sup>28</sup> предполагают, что она имеет «внутрисаамское происхождение».<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Примеры неполной метафонии см.: Hoff I. Numedalsmålet.— Skrifter utg. av Norske Videnskapsakadem i Oslo, II kl. Oslo, 1949, № 3, s. 41—43; Sørli e M. Hedalsmålet. Bergen, 1943, s. 25; Åström P. Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets fjädlära. Stockholm, 1888, s. 33.

<sup>26</sup> Примеры полной метафонии см., напр.: Reitan J. 1) Tynnsetmålet. Oslo, 1927, s. 6—7; 2) Aalens maalføre. — Videnskapsselskapets skrifter, Christiania, 1906, № 4, s. 3. В некоторых диалектах в словах типа СČСV произошло удлинение слова (ср.: /vukku/, /vättå/), однако метафония сохраняется, хотя она становится менее регулярной и может нарушаться под влиянием аналогии.

<sup>27</sup> Из других финно-угорских языков метафония есть только в ливском.

<sup>28</sup> Bo Wickman. Some problems concerning metaphony especially in Livonian. — Uppsalauniversitetets årsskrift, 1960. Uppsala, 1961, № 11, p. 25.

<sup>29</sup> Steinitz W. Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Berlin, 1964, S. 111—112.

Метафония распространена не только в саамских диалектах Скандинавии, но и в саамских диалектах Финляндии и Советского Союза.<sup>30</sup> Обычно для саамской метафонии, так же как и для скандинавской, характерно уподобление первой гласной по подъему, реже — по ряду (см., например, чередования /i/ — /e/, /a/ — /o/, /y/ — /u/, /ä/ — /ē/ — /o/ и т. п.).<sup>31</sup> Иногда метафония в саамских диалектах полная (см., например, /a/ перед /i/ чередуется с /i/, /a/ перед /u/ чередуется с /u/).<sup>32</sup> Саамская метафония затрагивает в большей степени краткие гласные, долгие гласные в меньшей степени подвержены метафонии; в некоторых говорах они вовсе не подвергаются воздействию гласного второго слога.<sup>33</sup> Напомним, что в скандинавских диалектах метафония характерна только для слов типа СŪСŪ. Самая сильная, чаще всего полная метафония характерна для самых южных саамских диалектов, именно эти диалекты находятся сейчас в контакте с говорами северного Трёнделага, для которых также характерна полная метафония.

Метафония в скандинавских диалектах оказалась очень удобным средством фонетического объединения двух гласных в словах с равновесным акцентом. Р. О. Якобсон отмечал, что в первую очередь заимствуются элементы, необходимые для внутреннего развития языка.<sup>34</sup> Таким «элементом» и была саамская метафония, проникшая в скандинавские диалекты с равновесным акцентом. Затем метафония могла проникать путем вытеснения слов дальше на юг (конфигурация южной границы скандинавской метафонии совпадает в общих чертах с конфигурацией южной границы расселения саамов, однако граница скандинавской метафонии проходит южнее). Как мы уже говорили, следы метафонии есть в шведской и норвежской литературных нормах.

Против нашего предположения о саамском источнике скандинавской метафонии мог бы свидетельствовать тот факт, что скандинавская метафония более всего распространена в Трёнделаге, тогда как на севере Норвегии, где саамского населения значительно больше, метафония выражена не столь ярко. Однако такое положение объясняется, во-первых, тем, что именно в южных саамских диалектах метафония значительно полнее, чем в северных, во-вторых, тем, что именно южные саамы подвергались сильной ассимиляции (см. выше). Второе возражение, которое может

<sup>30</sup> I t k o n e n E. Der ost lappische Vokalismus von quantitativen Standpunkt aus. Helsinki, 1933, S. 41—43; К е р т Г. М. Саамский язык (кильдинский диалект). И. Л., 1971, с. 101.

<sup>31</sup> Bo W i c k m a n n. Ein lappischer Umlautfall und seine Bedeutung für die lappische Vokalgeschichte. — In: Beiträge zur Sprachwissenschaft Volkskunde und Literaturforschung W. Steinitz zum 60. Geburtstag dargebracht. Berlin, 1965, S. 426; H a s s e l b r i n k G. Alternative analysis of the phonemic system in central Southlappish. (Indiana university publications, Uralic and Altaic series, vol. 49). The Hague, 1965, p. 25—29.

<sup>32</sup> Bo W i c k m a n n. Ein lappischer Umlautfall..., S. 124.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> J a c o b s o n R. Sur la theorie des affinités phonologique de langues. — In: 4th Intern. congr. linguistics. Copenhagen, 1938, p. 48—59.

смутить сторонников саамского происхождения скандинавской метафонии, — малочисленность саамов. Однако раньше процент саамского населения на скандинавском севере был гораздо большим, и начиная с середины первого тысячелетия н. э. происходил процесс не абсолютного, а относительного уменьшения саамского населения за счет увеличения населения скандинавского. Причем о том, что такое увеличение скандинавского населения происходило не в последнюю очередь за счет саамского населения, свидетельствует исследование состава крови шведов,<sup>35</sup> саамский элемент в которой довольно легко выделяется, поскольку состав крови саамов отличается необычайно высоким процентом A<sub>2</sub>. Л. Бекман показал, что, несмотря на то что сейчас в Швеции саамы составляют не более 0.1—0.2% населения, их влияние на состав крови шведов, особенно в северных районах, очень значительно.<sup>36</sup> Отмечается такое влияние даже в районах средней Швеции.<sup>37</sup> Л. Бекман считает, что приток саамских генов — процесс, продолжающийся с древних времен.<sup>38</sup> Нам неизвестны исследования такого же рода о составе крови норвежцев, однако, судя по тому, что в Норвегии саамов в два раза больше, чем в Швеции (а население Норвегии более чем в два раза меньше, чем население Швеции), саамских генов у норвежцев вряд ли окажется меньше.

Скандинавизация саамов привела к появлению скандинавских диалектов с чертами саамо-скандинавской интерференции, следствием которой и явилась, по нашему мнению, скандинавская метафония. Функциональная необходимость метафонии привела не только к ее появлению в диалектах скандинавизовавшихся саамов, но и к ее дальнейшему распространению в собственно скандинавских диалектах. По-видимому, саамское влияние на восточно- и северонорвежские диалекты и на диалекты северной и отчасти средней Швеции было гораздо большим, чем это принято считать, и вполне вероятно, что в фопологической системе этих диалектов есть достаточное количество еще не выявленных следов саамо-скандинавской интерференции.

#### B. P. B E R K O V

### ЯЗЫКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В НОРВЕГИИ

В силу определенных исторических причин в Норвегии сложилась языковая ситуация, не имеющая параллели в мире и потому представляющая для социолингвистики несомненный интерес. Основные черты этой ситуации таковы.

<sup>35</sup> B e c k m a n L. A contribution to the physical anthropology and population genetics of Sweden. Variation of the ABO, Rh, MN and P-Blood Groups. Lund, 1959 (Hereditas, 1959, bd 45, № 1).

<sup>36</sup> Ibid., p. 174, № 43.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., p. 175.

В стране существуют две нормы литературного языка. Их официальные названия в настоящее время — «букмол» (*bokmål*) и «новонорвежский», или «нюношк» (*puporsk*). Юридически равноправные, эти две нормы норвежского языка распространены, однако, в разной степени: на букмоле издается около 90% всей печатной продукции Норвегии, в качестве «основного языка» им пользуются в обязательной девятилетней школе 83.6% всех учащихся страны (данные на 1 X 1979).<sup>1</sup>

Каждая из этих норм характеризуется наличием множества параллельных форм, официально признаваемых допустимыми. В действительности далеко не все они употребительны в равной степени и, конечно, не равноценны: одни из них более литературны («традиционны»), другие ближе к просторечию («радикальны»). Так, например, последнее издание официального орфографического словаря букмола<sup>2</sup> для понятия 'рука' ('кисть') легализует две формы: *hånd* и *hand*, причем указывает, что первая может употребляться как с артиклем мужского (общего), так и с артиклем женского рода, а вторая — только с артиклем женского рода, т. е. допускает три формы: *hånden*, *hånda*, *handa*. Фактически же в письменных текстах господствует форма *hånden*, а форма *hånda* вообще едва ли встречается. Подобных примеров можно привести великое множество. Как явствует из приведенной иллюстрации, речь здесь идет отнюдь не об орфографических моментах, а о разных вариантах слова — фонетических, морфологических и др.

Далее, характерной чертой языкового положения в Норвегии является весьма существенный разрыв между официальной нормой и реальной языковой практикой, особенно у букмола. Орфографические словари, школьные учебники и аналогичные официальные издания фиксируют (т. е. по сути дела навязывают) во многом искусственную норму, которую полностью почти никто не соблюдает. Например, ни одна крупная газета, выходящая на букмоле, даже приблизительно не следует официальной норме. В общем, эта официальная норма не ощущается норвежцами как нечто обязательное для них.

Наличие множества альтернативных форм и свобода пользования ими приводят к тому, что речь норвежцев характеризуется отсутствием единообразия — и в том смысле, что есть отличия от идиолекта к идиолекту, и в том смысле, что речь одного и того же индивида оказывается сплошь и рядом непоследовательной. Это выражается в разном фонетическом и (или) морфологическом оформлении одного и того же слова или сходных слов в одинаковом контексте. Характерно, что такая непоследовательность обычно не устраивается редакторами. Считается, что это неизбежно в данной языковой ситуации, и каждый имеет

<sup>1</sup> Statistisk årbok 1980. Oslo, 1980, s. 366.

<sup>2</sup> Sverdrup J., Sandvei M., Fossestøl B. Tanums store rettskrivningsordbok. Bokmål. Oslo, 1974.

право пользоваться языком так, как он находит нужным. Можно даже иногда встретить мнение, что подобный разнобой — явление положительное, поскольку он «разнообразит» текст. Подчеркнем, что сейчас имеется в виду не сознательное использование разных вариантов слова в определенных стилистических целях (об этом будет сказано ниже), а о неосознанном, не замечаемом самим говорящим (пишущим) употреблении вперемежку параллельных форм.

Чтобы понять, как могла сложиться подобная языковая ситуация, необходимо обратиться к истории. Однако прежде чем перейти к изложению исторических фактов, мы должны оговориться, что это изложение в силу ограниченности объема статьи будет кратким и несколько схематическим.

В Норвегии относительно рано начала складываться письменная традиция. Однако начавшийся в XIV в. политический и экономический упадок страны привел ее к утрате политической самостоятельности: в 1319 г. она входит в унию со Швецией, а в 1380 г. — в унию с Данией. С XV в. датский язык постепенно вытесняет норвежский из всех официальных сфер — он становится языком администрации, позднее, после Реформации (1537), — языком церкви, потом на датский язык переходит судопроизводство и т. д. Все книги в Норвегии выходили тогда только на датском. Немногочисленные норвежские писатели той поры, например Абсалон Педерссён Бейер (1528—1575) и Педер Клауссён Фриис (1545—1614), писали по-датски, хотя, конечно, язык их произведений не был свободен от норвегизмов, особенно в области лексики.

Итак, уже в XVI в. норвежская письменная традиция полностью прекратила свое существование.<sup>3</sup> Литературным и официальным языком стал датский. Что же касается устной речи, то положение здесь было сложным. Сельское население говорило на норвежских диалектах, на которые датский язык практически не оказывал никакого влияния. В городах постепенно складывались смешанные говоры, сохранявшие норвежскую фонетику (а в области произношения различия норвежского и датского особенно велики) и норвежский синтаксис, но испытавшие значительное воздействие датского языка в лексике и морфологии. Эти смешанные норвежско-датские говоры, разумеется, не были единобразны, напротив, для них была характерна значительная социальная и географическая дифференциация. Можно сказать, что речь высших социальных слоев была данизирована в большей степени, нежели речь городских низов.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> В 1693 г. один норвежский священник писал: «Вот и язык теперь исчез, ибо по-норвежски теперь не поют и не проповедуют в церкви, не говорят и ничего не печатают» (см.: *Se i p D. A. Fornorskingen av vårt språk og forutsetningene for den. 2. utgave*. Oslo, 1947, s. 16).

<sup>4</sup> Стеблин-Каменский М. И. Возможно ли планирование языкового развития (норвежское языковое движение в тупике). — В кн.: Стеблин-Каменский М. И. Спорное в языкоznании. Л., 1974, с. 83.

В 1814 г. Норвегия получила политическую самостоятельность (оставалась, однако, личная уния со Швецией). Таким образом, не стало политической основы господства датского языка в Норвегии. Естественно, встал вопрос о создании норвежского национального литературного языка, но, как мы увидим, для этого потребовалось около столетия.

Были возможны два пути создания норвежского национального языка — в зависимости от того, что брать в его основу. Первый путь состоял в приведении письменной нормы в соответствие с реальной речевой практикой образованных слоев городского населения, в установлении таких орфографических правил, которые бы отражали действительное норвежское произношение, в легализации некоторых специфически норвежских морфологических и синтаксических особенностей и т. д., т. е. в «норвегизации» литературного языка. Второй путь мог быть принципиально иным: он состоял в создании литературного языка на основе народных говоров, иными словами, литературный язык должен был базироваться на сельских диалектах. В силу различных причин были использованы оба эти пути, что впоследствии и привело к тому, что в Норвегии возникла та парадоксальная и уникальная языковая ситуация, о которой говорилось выше.

Борьба за «норвегизацию» существующего литературного языка (т. е. датского) велась в Норвегии на протяжении всего XIX и начала XX в. Сначала спор шел лишь о названии языка: часть норвежцев выступала за то, что название языка наряду с названием «датский» должно было содержать элемент «норвежский», т. е. язык следовало, по их мнению, называть «датско-норвежский» или «норвежско-датский». Спорили также и о допустимости использования отдельных специфически норвежских лексем. В борьбе за национальный норвежский язык значительную роль сыграл поэт Хенрик Вергеланн (1808—1845). Он смело и широко вводил в свои произведения норвегизмы, как грамматические, так и лексические, и активно выступал за норвежское произношение в театре, где тогда нормой на сцене было датское. Вехой в развитии норвежского литературного языка явился выход «Норвежских народных сказок» в обработке П. К. Асбъёрнсена и Е. Му (1841—1844); несмотря на то что орфография и морфология в них были датскими, синтаксис и стиль, а в большой мере и лексика были норвежскими. Одной из виднейших фигур в борьбе за норвегизацию языка в XIX в. был педагог и языковед Кнуд Кнудсен (1812—1895), в частности выступавший за легализацию норвежского произношения в школе (где насаждалось датское) и на сцене. По его мнению, нормой литературного языка должна была стать разговорная речевая практика образованных лиц из средних слоев городского населения. Одним из основных его трудов был словарь «Ненорвежское и норвежское, или Замена иностранных слов» (1881), в котором он предложил множество чисто норвежских эквивалентов взамен слов датских, немецких и т. д.; некоторые из этих замен привились (например, *bakstrev* ‘реакция’,

ordskifte 'прения', hundreår 'век').<sup>5</sup> К. Кнудсен выдвинул программу орфографической реформы, но основные пункты этой программы были осуществлены лишь в XX в. Видное место в борьбе за норвегизацию литературного языка принадлежит выдающемуся писателю Бёёрнстьерне Бёёрсону (1832—1910). Его «крестьянские» повести — «Сюннёве Сульбаккен» (1857), «Арне» (1859), «Веселый парень» (1860), написанные живым, естественным языком народа, ознаменовали собою новую эпоху в норвежской прозе. Датский критик писал: «Весь языковой дух в них недатский». Как Х. Вергеланн и К. Кнудсен, Б. Бёёрсон активно боролся за норвежское произношение в театре. Эта длительная борьба увенчалась успехом: норвежское произношение победило на сцене, а затем и в школе.

Таким образом, к концу XIX в. постепенно утвердилась, хотя еще и не была закреплена в орфографии, та форма норвежского языка, которая была характерна для речи образованных слоев городского населения, в первую очередь Кристиании (Осло) и Бергена. Эта форма языка носила в то время название «датско-норвежского». На «датско-норвежском» писали свои произведения крупнейшие писатели Норвегии XIX в.: Хенрик Ибсен, Бёёрнстьерне Бёёрсон, Александр Хъеллани, Юнас Ли. Это был более или менее норвегизированный вариант датского языка, разумеется, с немалым порой количеством чисто норвежских лексических единиц, а в речи персонажей из народа также с рядом характерных норвежских грамматических форм и конструкций и даже диалектизмов. По предложению Б. Бёёрсона, эта норма норвежского литературного языка получила в 1890 г. название «риксмол» (*riksmål* — букв. 'государственный язык').

Оценивая языковое положение в Норвегии в XIX в., следует иметь в виду, что до конца столетия это была в основном крестьянская страна, в которой городское население составляло лишь небольшой процент всех жителей. Подавляющее большинство норвежцев говорило на сельских диалектах. Как ни разнообразны эти диалекты, как ни велики различия между ними (особенно между западными и восточными), тогдашний письменный язык очень сильно отличался от них. Есть ряд свидетельств тому, что крестьяне с трудом понимали (а иногда и вовсе не понимали) говоривших на слегка норвегизированном датском языке чиновников и пасторов. Вся эта огромная стихия народных говоров, территориальных вариантов норвежского языка, развившихся из средневековых диалектов, фактически не имела выхода в письменный язык. Даже сильно норвегизированный датский язык (т. е. норма, которая адекватно отражала бы речевую практику образованных слоев городского населения и за которую ратовал, например, Кнуд Кнудсен) отстоял бы весьма существенно от этих говоров. Здесь нет, разумеется, ни необходимости, ни возможности сколько-

<sup>5</sup> Lundeb y E., Torgv i k I. Språket vårt gjennom tidene. Oslo, 1956, s. 69.

нибудь подробно характеризовать отличия норвежских диалектов от датского языка, можно привести лишь несколько примеров. В норвежских диалектах сохранились древние дифтонги (ср.: *stein* 'камень', *øy* 'остров', *laus* 'свободный'), подвергшиеся в датском монофтонгизации (*sten*, *ø*, *lös*). В датском нет долгих согласных (ср.: *op* 'наверх', *let* 'легко', *stok* 'палка'), как в норвежском (ср.: *opp*, *lett*, *stokk*). Для подавляющего большинства норвежских диалектов характерна трехродовая система существительных, тогда как в датском есть только общий и средний роды (ср.: норв. и дат. *byen* 'город', норв. и дат. *huset* 'дом', но норв. *døga* и дат. *dørgen* 'дверь').

Во многих диалектах презенс сильных глаголов образуется без окончания и там, где это возможно, с перегласовкой (*skriv* 'пишет', *tek* 'берет', *søv* 'спит'), а в датском сильные глаголы образуют форму презенса так же, как слабые (*skriver*, *tager*, *sover*).

Приведенные примеры, разумеется, лишь очень небольшая часть этих общих различий; есть немало различий и на лексическом уровне.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что возникла идея создания норвежского литературного языка, основанного на сельских говорах.

Идею эту воплотил в жизнь Ивар Осен (1813—1896), талантливый филолог-самоучка и поэт. В 1836 г. он выпустил небольшую работу, в которой изложил план создания «основного языка» на базе сведений о лексике и грамматике диалектов, тогда еще не описанных. Он полагал, что такую задачу может выполнить человек, родившийся и выросший в сельской местности, и заявил, что попытается осуществить этот план. Собрав во время четырехлетних полевых исследований колоссальный диалектологический материал, а затем обработав его, он издал в 1848 г. «Грамматику норвежского народа языка», а двумя годами позже, в 1850 г., «Словарь норвежского народа языка». В этих трудах И. Осен показал преемственную связь диалектов с древненорвежским языком. В 1853 г. публикуется работа Осена «Образчики народа языка Норвегии» (*Prøver af Landsmalet i Norge*), имевшая огромное значение для судей норвежского языка. В первой части этой книги были приведены образцы диалектной речи, при этом предпочтение отдавалось западным говорам как более архаичным, более близким к древненорвежскому, и потому, как считал Осен и другие филологи его времени, «более чистым». Вторая часть состояла из текстов, которые Осен написал на языке, синтезированном им из различных диалектных форм. Сам он определил их как попытку объединить сельские говоры и использовать их общий запас слов и выражений в едином грамматическом оформлении. Характерно, что при отборе форм Осен ориентировался преимущественно на наиболее архаичные западненорвежские диалекты, отдавая предпочтение тем чертам, которые ближе к древненорвежскому, а также наиболее широко представлены в говорах.

Таким образом, слово *Landsmaal* (в современной орфографии *landsmål*) было употреблено Иваром Осеном в двух разных значениях: как «язык сельской местности, народный язык, сельские говоры» и как название нормы литературного языка, созданной им на основе синтеза черт различных диалектов; это название закрешилось.

Конечно, осеновский ланнсмол был искусственным продуктом, но он несомненно отвечал общественной потребности. Он нашел поддержку, в частности, среди крупного крестьянства, экономические и политические позиции которого все больше усиливались после 1814 г. Сочувственно был принят ланнсмол и национально-романтически настроенной интеллигенцией. Его престижу и популярности способствовало в немалой степени и то, что вскоре после опубликования «Образчиков» на ланнсмоле стали писать талантливые поэты и писатели крестьянского происхождения. Здесь в первую очередь следует назвать самого Ивара Осена, ряд стихотворений которого (например, «Старая Норвегия») стал хрестоматийным, Осмунна Улавссона Винье, позднее — Кристофера Янсона, Арне Гарборга, Пера Сивле, Аннеша Ховдена. В 1868 г. основывается общество «Де ношке самлаге», целью которого является борьба за права ланнсмола. Официальное признание ланнсмола включает в качестве одного из пунктов в свою политическую программу партия «Венstre», и приход ее к власти в 1884 г. имел следствием легализацию ланнсмола. В 1885 г. стортинг принимает решение (78 голосами против 31), уравнивающее в правах ланнсмол с риксмolem в качестве официального языка и языка школьного обучения. По закону, принятому стортингом в 1892 г., администрации народных школ (тогда начальных семилетних школ) предоставляется право решать, какие учебники — на риксмоле или ланнсмоле — должны использоваться в данной школе и на каком из вариантов ученикам надлежит выполнять письменные работы. Подчеркивалось, что ученики должны уметь читать как на риксмоле, так и на ланнсмоле. В 1899 г. при университете Кристиании утверждается кафедра ланнсмола.

Итак, к началу XX в. в Норвегии существовали две официально равноправных формы литературного языка: риксмол, представляющий собой результат длительного развития датского языка в Норвегии, отражающий речевую практику образованных слоев городского населения, но сохраняющий еще датскую орфографию, и ланнсмол, созданный путем искусственного синтеза сельских диалектов, преимущественно Западной Норвегии, и сохранивший ряд архаичных черт. Очевидно, что и риксмол, и ланнсмол нуждались в «модернизации»: орфографию риксмола следовало привести в соответствие с произношением, а у ланнсмола надо было сменить его диалектную основу, переориентировать его на говоры восточной, наиболее населенной части страны, поскольку между ними и его тогдашней формой имелся значительный разрыв. Предполагалось также, что такие реформы и дальнейшие усилия нормализаторов сблизят риксмол и ланнсмол и что в будущем — воз-

можно, даже недалеком — обе нормы сольются в единый норвежский язык.

Однако сторонников создания такого языка путем сознательно регламентируемого, «планируемого» сближения обеих норм было немного. Напротив, между приверженцами риксмола и ланисмоля шла долгая и ожесточенная борьба. Сторонники риксмола выдвигали следующие аргументы: за их вариантом стоят длительная культурная традиция, авторитет крупнейших норвежских писателей и поэтов, тогда как ланисмол — язык искусственный и культурно неразвитый, несущий на себе печать крестьянского происхождения. Сторонники ланисмоля отстаивали тезис, что риксмол, несмотря на его «норвегизацию», — датский язык и, следовательно, чужд норвежскому народу. Эта борьба продолжается и сегодня, хотя и не в такой острой форме.

В XX в. были осуществлены три орфографические реформы риксмола. Как уже говорилось, отличия между датским и норвежским языком особенно велики в области фонетики, в силу чего использовавшаяся датская орфография во многом была далека от адекватного отражения норвежского произношения. Первая орфографическая реформа была проведена в 1907 г. Главным моментом в ней было введение глухих смычных (p, t, k) вместо звонких (b, d, g) после долгих гласных, т. е. легализация написаний типа aре 'обезьяна', rot 'корень', lik 'равный', вместо прежних abe, rod, lig. Кроме того, был легализован ряд моментов, касающихся грамматических показателей существительного и глагола. Проведенная в 1917 г. вторая орфографическая реформа ввела удвоение букв для обозначения долгих согласных в конце слова, т. е. написание типа rygg 'спина', labb 'лапа', katt 'кошка' вместо прежних gyg, lab, kat; одновременно был устранен ряд чисто датских орфографических моментов (немое d в словах типа fjeld 'гора', которые стали писаться фонетически — fjell) и введен ряд факультативных форм (формы с дифтонгами, формы женского рода с определенным артиклем -a и др.). Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания: этот момент был отнюдь не только орфографическим, поскольку он затрагивал уже не написание, а материальную сторону языка, его фонетику и грамматику; как упоминалось, в датском нет ни форм с историческими дифтонгами, ни женского рода, а следовательно, их не было ни в «датско-норвежском», ни в риксмоле начала XX в. Напротив, эти моменты характерны для разговорного норвежского языка, они многими считались (и в значительной степени считаются сейчас) нелитературными и даже просторечными, вульгарными. Третья реформа (1938 г.) превратила большую часть этих факультативных форм в обязательные (например, более 900 существительных должны были непременно употребляться с артиклем женского рода).

В 1901, 1910, 1917 и 1938 гг. были также осуществлены реформы ланисмоля. Суть их сводилась к приближению нормы к специфике восточнонорвежских диалектов (стоящих ближе к риксмолу).

В 1929 г. были заменены названия обеих форм литературного языка. Риксмол получил официальное название «букмол» (*bokmål* — букв. ‘книжный язык’), ланнисмол — «новонорвежский» (*nynorsk*). Эти названия, разумеется, никак не отражают специфики этих форм: букмол — отнюдь не книжный язык, напротив, «новонорвежский» язык более книжный. С другой стороны, обе формы — новонорвежские в том смысле, что представляют собой современный норвежский язык. Сторонники традиционных, умеренных форм букмола упорно продолжают называть литературный язык «риксмол», используя название «букмол» для радикального его варианта, вкладывая тем самым в это название неодобрительный оттенок. Так, например, словарь, изданный в 1977 г. (т. е. через 48 лет после официальной смены названия!) Норвежской Академией языка и литературы, носит название *«Riksmålsordboken»* («Словарь риксмола»). Характерно, что значение слова *bokmål* определяется в нем следующим образом: «1) литературный язык... 2) письменный язык, возникший в 1938 г. путем приближения риксмола к „новонорвежскому“ и народным говорам».<sup>6</sup> До сих пор существует организация *Riksmålsförbundet*, объединяющая противников радикализации риксмола.

Соотношение употребительности букмола и «новонорвежского» не было стабильным. Анализ статистических данных показывает бесспорную тенденцию к снижению удельного веса «новонорвежского» за последние десятилетия. Это хорошо прослеживается на цифрах, которые показывают процент учащихся в народных школах (до 1959 г. семилетних, после 1959 г. постепенно сменившихся девятилетними), использующих тот или иной вариант в качестве «основного». Источником послужили данные «Статистических ежегодников» за 1934—1966 гг., сведения Э. Хаугеном в таблицы<sup>7</sup> и дополненные нашими выборками из более поздних выпусков этих ежегодников.

В 1930 г. соотношение букмол : «новонорвежский» для всей страны было 80.5 : 19.5. Начиная с этого года вес «новонорвежского» постепенно повышался, достигнув в 1944 г. 34.1 %. После этого начинается неуклонное снижение его роли, и в 1966 г. восстанавливается почти такое же соотношение, которое наблюдалось в 1930 г. — 80.6 : 19.4. Для 1972 г. эти цифры были уже 82.8 : 17.2,<sup>8</sup> а в 1979 г., как указывалось выше, соотношение равнялось 83.6 : 16.4.

Естественно, что в сельской местности позиции «новонорвежского» сильнее. Если взять те же годы, что и в предыдущем абзаце, то данные таковы: 74 : 26 (1930), 58 : 42 (1943), 71.1 : 28.9 (1966), 73.4 : 26.6 (1972); данные за 1979 г. отсутствуют.

<sup>6</sup> *Riksmålsordboken*. Oslo, 1977, s. 72.

<sup>7</sup> Haugen E. *Riksspråk og folkemål. Norsk språkpolitikk i det 20. århundre*. Overs. av Dag Gundersen (s. l.), Universitetsforlaget, s. a., s. 267—270.

<sup>8</sup> *Statistisk årbok* 1974. Oslo, 1974, s. 366.

Географическое распределение букмола и «новонорвежского» очень неравномерно. Последний более распространен в Западной Норвегии, букмол — на востоке и севере страны, а также во всех крупных городах. В 1979 г. в юго-восточнонорвежских фюльке (провинциях) Эстфолл, Акерсхус, Вестфолл, а также в приравненном к фюльке городе Осло не было ни одного ученика, использующего «новонорвежский» в качестве основного языка. На севере наблюдалось аналогичное положение: ни одного ученика в Финнмарке, 16 человек (0.1 %) в Трумсе и 178 (0.5 %) в Нуруланне. Очень низок процент учащихся с основным «новонорвежским» в фюльке Хедмарк (0.3 %), Сёр-Трёндэлаг (3.6 %), Бускеруд (4.9 %), Вест-Агдер (5.8 %). Зато на западе страны ситуация совершенно иная. В фюльке Сонгн-о-Фьюране в том же году «новонорвежский» был основным языком у 94.1 % (!) учащихся, в фюльке Мёре-о-Румсдал — у 57.6 %, в Хордаланне — у 47.0 %. На последней цифре стоит задержаться, ибо она хорошо отражает специфику рассматриваемого распределения. В этом фюльке в городских коммунах букмол является основным языком более чем для 90 % учащихся (прежде всего, очевидно, за счет административного центра фюльке — Бергена), тогда как в сельских коммунах наблюдается обратное соотношение: там эта цифра чуть превышает 11 %.<sup>9</sup>

Как уже упоминалось, одним из вариантов литературного языка учащийся пользуется в качестве основного, но также изучает в школе в обязательном порядке и другой вариант. В целом дело обстоит так, что ученики с «новонорвежским» — основным языком, как правило, хорошо овладевают букмолом, тогда как те, для кого букмол является основным, усваивают «новонорвежский» несравненно хуже.<sup>10</sup> Можно сказать, что активно владеет «новонорвежским» едва ли треть норвежцев, тогда как все образованные люди владеют букмолом, и если некоторые из них пишут и говорят только на «новонорвежском», то это обычно объясняется их убеждениями, а не тем, что они недостаточно владеют букмолом. В самом деле, если человек даже и обучался в школе на «новонорвежском», то, кроме этого, читал книги, журналы и газеты, слушал радио и смотрел телевизор, общался с множеством говорящих на букмоле. В 1955 г. (более поздние данные нам не встречались) книги на букмоле составили 89.3 % общего числа. Те 10.7 %, которые приходятся на долю книг на «новонорвежском», распределяются весьма неравномерно по направленности и тематике. Всего больше на нем выходит школьных учебников (28.3 % от их общего числа), книг для детей и юношества (21.6 %), книг по сельскому хозяйству, лесному делу, охоте, рыболовству, домовод-

<sup>9</sup> Statistisk årbok 1980. Oslo, s. 366.

<sup>10</sup> Во время пребывания автора статьи в Бергене ему была любезно предоставлена возможность ознакомиться с контрольными работами по «новонорвежскому», выполненными учащимися, которые говорили на букмоле; поражало огромное количество допущенных ошибок.

ству (18.6%). Произведения художественной литературы на «новонорвежском» составляют 7.9%. Еще меньше специальной литературы на «новонорвежском»: по технике — 3.1%, по математике — 2.0%, по естественным наукам — 0.8% (из 359 книг по этой отрасли знаний в 1955 г. на «новонорвежском» вышло всего 3).<sup>11</sup> На букмоле выходят все крупнейшие газеты страны: «Афтенпостен» (тираж 222 тыс. экземпляров), «Верденс ганг» (194 тыс.), «Дагбладет» (132 тыс.), «Бергенс тидене» (88 тыс.) и др.<sup>12</sup> Правда, в этих газетах публикуются статьи и на «новонорвежском», но их сравнительно немного. Также на букмоле выходят все основные иллюстрированные еженедельные журналы, выходящие в сумме тиражом 2 млн. экземпляров (!) и являющиеся, по свидетельству социологов, основным чтением норвежского народа. Согласно постановлению стортинга, не менее 25% радио- и телепередач должно вестись на «новонорвежском», по это постановление не соблюдается.<sup>13</sup> Таким образом, если при прочих равных условиях носителю букмола из получаемой им информации максимум 20% поступает на «новонорвежском» (а эта цифра безусловно завышена, реально она, по нашим расчетам, не превышает 10%), то носитель «новонорвежского» получает основную массу информации на букмоле. Поэтому переход после школы с «новонорвежского» на букмол — явление нередкое. Это можно проиллюстрировать числом новобранцев, желающих говорить во время службы на «новонорвежском»: в 1966 г. их число было около 10%, т. е. примерно в два раза меньше числа обучавшихся на нем в девятилетней школе.<sup>14</sup>

Эта ситуация, естественно, создает у сторонников «новонорвежского» чувство ущемленности. Порой они сравнивают себя в публичных выступлениях — устных и письменных — с дискриминируемым национальным меньшинством, для чего, как представляется, нет оснований. Более того, можно сказать, что «новонорвежский» в известной мере пользуется большой государственной поддержкой (в частности, финансовой); есть театр, где идут спектакли только на «новонорвежском» (*Det norske teatret*), издательство, выпускающее книги только на нем (*Det norske samlaget*), выходит ряд местных газет и т. д. Но существует ряд объективных причин, обуславливающих сокращение числа пользующихся им. Важнейшей из них является значительное по своим масштабам движение населения из сельскохозяйственных районов в города и индустриальные поселки, связанное с повышением производительности фермерского труда и с ликвидацией мало

<sup>11</sup> Haugen E. Riksspråk og folkemål, s. 270—271.

<sup>12</sup> Statistisk årbok 1980, s. 361.

<sup>13</sup> Hanssen E. og Viker L. NRK og språk. — Dagbladet, 17 III 1981. Время передач на «новонорвежском» составляет около 20%. См.: Løland S. og Mæhle L. Språksituasjonen i Norge — bokmål og nynorsk. — Vi i Norden, 1980, № 3, s. 21.

<sup>14</sup> Haugen E. Riksspråk og folkemål, s. 269; Vinje F.-E. Språksituasjonen i Norge. — In: De nordiske språkenes framtid. Lund, 1977, s. 36.

конкурентоспособных мелких хозяйств.<sup>15</sup> а, как уже отмечалось, в городах абсолютно преобладает букмол (в 1972 г. количество учащихся с букмолом в качестве основного языка в городских коммунах составляло 96.4%).

Однако, видимо, фактором, объясняющим слабую позицию «новонорвежского», является то, что это — сугубо литературный, книжный язык (к нему-то как раз и приложимо было бы название «букмол»). Он практически почти никем не используется в быту: те, кто обучается на нем в школе или пишет на нем, либо говорит в официальной обстановке, пользуется обычно в повседневном общении диалектом. За единичными исключениями, ни одна мать, которая учит своего ребенка говорить, не обучает его «новонорвежскому»: она учит его либо диалекту, либо букмолу. Не случайно один из лозунгов сторонников «новонорвежского» гласит: «Говори на диалекте, пиши по-новонорвежски!». Кстати, диалект часто звучит по радио, с эстрады и т. д.<sup>16</sup> Лучше всего «новонорвежским» владеют школьные учителя и университетские профессора, многие из которых живут в Осло в окружении лиц, говорящих либо на букмоле, либо на диалекте.<sup>17</sup>

Нет необходимости подробно говорить о том, сколько неудобств и сложностей доставляет наличие двух официально равноправных языковых норм у одного — к тому же относительно небольшого — народа: все официальные тексты издаются как на букмоле, так и на «новонорвежском», в школах ведется преподавание на обеих нормах, для чего все учебники должны издаваться в двух вариантах; в одних коммунах используются преимущественно одни бланки, анкеты, вывески и т. п., в других — другие и т. д. С 1 января 1981 г. вступил в силу закон, направленный на «укрепление равноправия» обеих норм в официальной сфере. В частности, он предусматривает, что ответ на письмо в официальное учреждение обязательно должен быть написан на том же варианте норвежского языка, что и само письмо. Таким образом, государственные и коммунальные службы, ведущие официальную переписку, должны уметь одинаково хорошо писать как на букмоле, так и на «новонорвежском». Впрочем, это требование не ново.

Орфографические реформы (особенно реформа 1938 г.) ставили своей целью сближение обеих норм, с тем чтобы облегчить их слияние в будущем. С точки зрения абстрактной целесообразности реформаторы, люди увлеченные и движимые лучшими побуждениями,

<sup>15</sup> За 20 лет (1950—1970) число крестьян и лесорубов в Норвегии сократилось с 712.7 тыс. до 196.7 тыс., рыбаков — с 181.6 тыс. до 68.6 тыс. За этот же период число лиц, занятых в секторе обслуживания, возросло с 358.3 тыс. до 717.3 тыс.

<sup>16</sup> Например, в последние годы в северной Норвегии сфера применения диалекта значительно расширилась. В частности, ряд театров ставит спектакли на местных диалектах. Даже ибсеновский «Пер Гюнт» в Холугалланском театре идет на нурланском диалекте (*L o c k e g a s t e n R. Nordnorske dialektar til kulturbruk.* — *Kulturnytt*, 1980, № 9, с. 4).

<sup>17</sup> Н a u g e n E. *Riksspråk og folkemål*, s. 247.

казалось бы, были правы. Если и не все из них считали реальным слияние букмола и «новонорвежского» в единый «общенорвежский» (*samnorsk*) язык в недалеком будущем,<sup>18</sup> то все они стремились к демократизации языка, к его приближению к разговорной речи. Однако эти попытки сознательного языкового планирования, регламентирования языка в целом не дали ожидаемых результатов и даже привели к ряду нежелательных последствий. Причин неудачи регламентирования языка много, и мы остановимся здесь на самых важных (ограничившись при этом букмолом).

Новая официальная норма букмола была искусственной: она признавала единственно правильными многие формы, характерные только для разговорного или даже просторечного стиля и потому ощущаемые очень многими именно как разговорные или просторечные. Та же литературная норма, которая фактически уже сложилась и была представлена в языке литературы, науки и т. д., объявлялась «консервативной», «ненародной», «датской» и т. п. По сути дела реформаторы языка ставили перед собой утопическую задачу: изменить речевую практику взрослых лиц, уже владеющих литературным языком и пользующихся им, и приучить к «радикальным» формам детей, приходящих в школу с уже сложившимися языковыми навыками, изменить которые трудно (мы имеем в виду не достижение двуязычия «диалект+литературный язык» — это весьма распространенная и вполне выполнимая задача, а устойчивую перестройку идиолекта). Нелегко, например, приучить бергенских школьников, где в местном городском говоре только два грамматических рода, пользоваться трехродовой системой.<sup>19</sup> Даже и при наличии у них сильного желания овладеть этой чуждой для многих из них нормой это не всегда просто.<sup>20</sup> Однако в очень большом числе случаев у школьников и нет такого желания. Основная причина этого — отсутствие престижа у официальной нормы.<sup>21</sup>

Один из членов комитета, осуществлявшего реформу 1938 г., заявил: «На букмоле, в той форме, которую мы ему придали, не

<sup>18</sup> Идею единого общенорвежского языка еще в начале века выдвинул диалектолог и фольклорист Молтке Му. Однако организационно сторонники единого языка объединились лишь в 1959 г., создав свой союз «*Landslaget for språklig samling*»; своего рода манифестом этого союза является брошюра Л. С. Викёра «Путь к единому норвежскому языку» (*V i k ø g L. S. Vegen fram til ett norsk. Flekkefjord*, 1968).

<sup>19</sup> Подробно об этом см.: *Se i p D. A. Bergen og hunkjønnsformen. — Aktuelle spørsmål i norsk språkutvikling*. Oslo, 1970, s. 44—46.

<sup>20</sup> Примером может служить «реформа числительных» — введение так называемого нового способа счета, при котором десятки стоят перед единицами (напр.: 52 — *femtito* вместо старого *toogfemti*), осуществленное в 1951 г. В 1968 г., спустя 17 лет, 70% опрошенных высказались в его пользу, но оказалось, что такой же процент норвежцев продолжает пользоваться старым способом счета. При этом следует иметь в виду, что новый способ находитается в школе, используется на радио и телевидении, но до сих пор он еще не одержал верх над старым. *V i n j e F.-E. 1 Språksituasjonen i Norge*, s. 27; 2) *Språkplanlegging. Mål og metoder*. (s. 1.), *Tapir*, (s. a.), s. 39—40.

<sup>21</sup> *V i n j e F.-E. Språksituasjonen i Norge*, s. 29.

пишет ни один писатель». Официальная норма не поддерживается авторитетом языка наиболее значительных писателей, ученых, деятелей культуры и политики. За ней стоят в основном только языковые политики и школьные учителя. Напротив, осуждаемая языковыми реформаторами норма поддерживается престижем таких писателей XX в., как Гамсун, Уисет, Бойер, Хуль, Борген, Сандемусе, Сандель, Эверланн, Омре и др. (многие из них резко выступали против радикализации языка<sup>22</sup>). Но дело даже не только в авторитете виднейших деятелей культуры, науки, политики. Те слои населения, во имя которых проводилась демократизация языка, как оказалось, не нуждались в этом. Язык образованной части общества — настоящий, а не придуманный, искусственно сконструированный из фонетических, грамматических и лексических коллоквиализмов,<sup>23</sup> обладает престижем, притягательной ценностью, владение им, кроме всего прочего, еще и внешнее свидетельство образования, культуры. Не случайность, что порой язык детей из образованных семей оказывается после школы и особенно вуза менее консервативным, более радикальным, нежели язык детей из семей рабочих и крестьян: для последних владение литературной нормой (реальной) — как бы аттестат, диплом об образовании. (Насколько это хорошо — другой вопрос). Их не убеждает агитация, что отвергаемое образованными слоями как просторечное, вульгарное и есть единственное правильное, что эти образованные слои заблуждаются. Им все равно приходится изучать и усваивать чуждую им языковую форму (это ведь не диалект), а уж если усваивать новое, то оно должно иметь реальную ценность. Они не могут не видеть, что, например, язык прессы и радио, при всех его различиях, относительно единообразен и, как уже упоминалось, в общем игнорирует официальную норму. Характерно, что и сами те люди, которые насаждают «радикальные» формы, т. е. нормализаторы-теоретики и нормализаторы-практики, в первую очередь школьные учителя, в неофициальной обстановке пользуются весьма «консервативным» букмолом, чему автор статьи не раз сам был свидетелем. Естественно, что и очень многие школьники вне уроков норвежского языка не пользуются рядом радикальных форм, а к требованиям официальной нормы относятся как к прихоти, которую в школе выполнять надо, но вне школы можно игнорировать. Аналогией здесь может быть отношение школьников к правилам чистописания, которые, как

<sup>22</sup> Ср., например, книги Арнульфа Эверланна «Упразднен ли наш язык?» и «Риксмол, ланнемол и драка» и Сигурда Хуля «Языковая борьба в Норвегии. Детективный рассказ» (*Ø v e g l a n d A. I.*) *Eg vårt språk avskaffet?* Oslo, 1940; 2) *Riksmał, landsmał og slagsmał*. Oslo, 1956; *H o e l S. Språkampen i Norge. En kriminalfortelling*. Oslo, 1955).

<sup>23</sup> А. Эверланн писал в 1956 г. об официальном букмоле: «Мы видим, к чему привели все благие попытки: „Официальный букмол“, которым пользуется администрация и который нашим детям приходится учить в школе, настолько невыносимо искусственен и неестествен, настолько обезображен и искален, что в десять раз предпочтительнее сочный и живой вульгарный язык улицы» (*Ø v e g l a n d A. Riksmał, landsmał og slagsmał*, s. 12—13).

только школьников от них освобождают, в основном прочно забываются или во всяком случае не соблюдаются.

Следствием всего этого является то, что современный норвежский язык (точнее: каждая из его норм) характеризуется значительным разнообразием. Мы ограничимся одной иллюстрацией. В журнале «Bok og Bibliotek» («Книга и библиотека»), в частности, публикуются короткие (на 700—1200 знаков) аннотации на подавляющее большинство выходящих в Норвегии книг. Естественно, что в очень многих из них встречается слово *bok* 'книга' с определенным артиклем. По орфографическому словарю 1974 г. это слово может употребляться только с артиклем женского рода, т. е. иметь форму *boka*. Нами был произведен подсчет форм слова *bok* с определенным артиклем по разделу аннотаций номера 7/8 этого журнала за 1981 г.<sup>24</sup> Результат оказался таков: форма *boka* была употреблена в 53 аннотациях, форма *boken* (с артиклем мужского, т. е. общего рода) — в 32, а в одной аннотации были использованы обе формы (!). У нескольких рецензентов в одних аннотациях была употреблена форма *boka*, в других — *boken*. Специфический неопределенный артикль женского рода *eī* при слове *bok* был употреблен лишь в двух аннотациях (он вообще используется значительно реже, чем специфический определенный артикль женского рода).

Степень использования индивидом «радикальных» форм, естественно, определяется целым рядом факторов. Роль играют такие моменты, как социальная принадлежность, возраст, пол, место жительства, политическая ориентация, сознательная установка на тот или иной вариант буквмола и т. д. Так, например, в результате исследования разговорной речи в Осло выяснилось, что «радикальные», т. е. разговорные, формы мужчинами используются чаще, чем женщинами, а жителями восточной части Осло, в основном рабочего района города, — чаще, чем жителями его западной части, населенной преимущественно буржуазией и чиновничеством (впрочем, здесь есть ряд тонкостей, на которых мы не можем останавливаться).<sup>25</sup> Формы с артиклем женского рода менее вероятны у бергенца (уже упоминалось, что в бергенском городском говоре есть только общий и средний род), чем у жителя Тронхейма.<sup>26</sup> По нашим наблюдениям, некоторые молодые линг-

<sup>24</sup> Учитывались только аннотации, написанные на буквмоле. Отметим попутно, что из общего числа аннотаций (152) на «новонорвежском» написана 21, т. е. около 14%; двое рецензентов опубликовали аннотации как на «новонорвежском», так и на буквмоле.

<sup>25</sup> См. статьи О. Нурланна, К. Вестерна, Г. Виггена, Э. Ханссена и Э. Х. Яра в кн.: Språk og kjønn. Oslo, 1976, s. 83—146; см. также: В и 11 Т. Språket i Oslo. Oslo, 1980, *passim*; R y e n E. Kvinnelig og mannlig. — In: Språk og samfunn. Bidrag til en norsk sosiolingvistikk. Oslo, 1979, s. 179—196.

<sup>26</sup> Намечен и частично осуществлен ряд социолингвистических исследований норвежской речи, в частности, кроме названного, исследование разговорной речи молодежи в Бергене, разговорной речи в Тронхейме, соотношения кодифицированной разговорной речи и диалекта и др., см.: Norsk språk i dagens samfunn. Oslo, 1979.

висты пишут на очень радикальном букмоле, тогда как многие, используя в живой, непринужденной речи сугубо разговорные формы, избегают их в письме, и т. д. и т. п.

Итак, усилия нормализаторов оказали известное радикализирующее влияние на речь норвежцев, хотя, разумеется, далеко не в той мере, которая преследовалась реформами. Впрочем, трудно сказать, что является результатом деятельности реформаторов, а что — результатом спонтанного развития языка в связи с изменением характера общества.<sup>27</sup> Некоторые радикальные формы завоевали в последние десятилетия довольно прочные позиции и используются многими. Ряд других форм получил меньшее, но тоже достаточно широкое распространение. Характерно, что радикальное или традиционное оформление в целом коррелировано с характером лексемы: слова, так сказать, будничные, распространенные, скорее оформляются более радикально, нежели слова книжные или специальные, например, хотя и *år* 'год' и *problem* 'проблема' — существительные среднего рода, «радикальная» форма со специфическим определенным артиклем ср. р. мн. ч. -*a* от слова *år* (*åra*) встречается значительно чаще, чем форма *problema* (обычно употребляется *problemene*). Существительное *nese* 'нос' с «радикальным» определенным артиклем ж. р. -*a* (*nesa*) употребляется нередко в отличие от другого слова «потенциально» женского рода — *sjel* 'душа'. В использовании радикальных или традиционных форм индивидом очень часто непоследовательности (см. выше пример, где в одной короткой аннотации использованы формы *boka* и *bo-ken*). Подчеркнем еще раз, что речь здесь идет не о сознательном использовании разных вариантов слов в определенных стилистических целях, а о неосознанном, не замечаемом говорящим употреблении вперемежку параллельных форм.

Реформа 1938 г. явилась, так сказать, пиком радикализации языка. «Норма для учебников» 1959 г. (*Laereboknormalen av 1959*) фактически была шагом назад, поскольку были устраниены некоторые слишком радикальные формы и для многих случаев введены параллельные традиционные формы. Это было явное признание того факта, что реформа 1938 г. не достигла цели. Еще большим шагом назад от радикализации являются изменения орографии и нормы для учебников на букмоле, принятые летом 1981 г. Разрешены многие упраздненные ранее фонетические варианты слов, т. е. восстановлен в правах ряд традиционных форм, стали значительно менее жесткими правила, касающиеся использования форм женского рода и т. д. По сути дела изменения 1981 г. полностью легализуют традиционный букмол («риксмол» в значении, которое вкладывается в это слово противниками радикализации) и могут быть расценены как капитуляция сторонников регламентирования языкового развития. Для этого потребовалось 43 года.

---

<sup>27</sup> Vinje F.-E. Språksituasjonen i Norge, s. 34.

Охарактеризованное положение, длившееся более сорока лет, — резкий разрыв между фактической нормой литературного языка и официальной нормой, не пользующейся престижем, упор в преподавании языка в школе на овладение этой искусственной нормой и пр. — все это имеет следствием, в частности, недостаточно уверенное владение языком выпускниками норвежских школ. Непоследовательности и прямые ошибки характерны для речи норвежцев в большей степени, чем для многих европейских народов. Несколько лет назад автор этой статьи проводил анкетирование студентов и преподавателей Ослосского университета в связи с изучением согласования времен. Разнобой в ответах был очень велик. Например, в одном предложении из 36 информантов 14 употребили презенс, 18 — претерит, а 4 указали обе временные формы как допустимые. В 60 ответах на анкеты, полученные О. А. Комаровой, исследовавшей употребление форм в условных предложениях разного типа, нет ни одного (!) случая совпадения по всем 15 вопросам. Характерно, что в ответах на наши анкеты и анкеты О. А. Комаровой было немалое количество прямых ошибок, недопустимых с точки зрения даже самых либеральных правил.

Тем не менее, как уже говорилось выше, букмол имеет реально существующую норму, хотя и не очень четкую. Она сложилась стихийно, и ею фактически является язык образованных слоев населения Восточной Норвегии, особенно Осло. До недавнего времени ее называли «образованным восточнонорвежским» (*dannet østnorsk*), а в последние годы ее именуют «восточнонорвежской нормой» (*standardøstnorsk*). В ней используются и многие радикальные формы, но используются не механически, как того требовала официальная норма, а как альтернативные стилистические варианты. Во многих случаях вопрос состоит не в том, «как правильно сказать» (например, употребить ли форму с дифтонгом или монофтонгом, использовать ли форму женского рода или общего, употребить ли специфический определенный artikel мн. ч.ср. р. или artikel, общий для всех родов, и т. п.), а в том, «в какой речевой ситуации уместнее та или иная из альтернативных форм». Например, в предложения типа «Куда запропастилась эта книга?» естественно употребить форму *boka* (с артиклем женского рода), тогда как в предложении вроде «Книга открывает нам путь к знаниям» предпочтительнее форма *boken* (с артиклем общего рода). Такая речевая практика дает норвежскому языку гибкую и богато интонационированную систему передачи тонких стилистических значений.

В целом же единого литературного языка в Норвегии нет. Следует согласиться с М. И. Стеблинским-Каменским, писавшим: «Если конечная цель национального языкового развития заключается в том, чтобы у нации был единый язык, общий для всей нации, то надо признать, что национальное языковое движение в Норвегии потерпело неудачу».<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Стеблин - Каменский М. И. Возможно ли планирование языкового развития, с. 94.

## ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДУНГАНСКОГО ЯЗЫКА

Изучение процессов формирования и развития языков, оценка критериев соотносимости языка и этноса, определение языковой и этнической принадлежности является актуальной задачей языковедов и этнографов. В этой связи важным представляется рассмотрение конкретных случаев, способствующих решению проблемы в целом. Наблюдение над процессами изменения этнолингвистической ситуации, ее динамикой может пролить свет на выявление закономерностей развития этноса и его языка. Очевидно, здесь должен быть проявлен как историко-филологический, так и историко-этнографический подход, т. е. проблема должна рассматриваться прежде всего в определенной исторической перспективе, с исторических позиций. Одновременное сопоставление лингвистических и историко-этнографических данных на разных исторических отрезках времени может в данном случае дать положительный эффект.

Плодотворным также должен явиться учет территориально-географического и социально-политического факторов, которые особенно проявляются в ситуации развития «языковых островов». Под языковым островом «понимается маргинальная область распространения языка, отделенная от ареала своего ядра территориально-политической границей и находящаяся в пределах других политических границ в иноязычном окружении».<sup>1</sup> Если при этом рассматривать не только маргинальную языковую единицу, но и этническую группу, говорящую на данном языке и оказавшуюся, как и язык, вне контактов с этнической доминантой в маргинальном положении, в иноэтническом окружении, то правильнее было бы говорить об «этно-языковом острове» — маргинальной этноязыковой группе, что способствовало бы комплексному, более всестороннему и углубленному рассмотрению проблемы.

Живым примером такого этноязыкового острова могли бы служить дунгане — одна из малых социалистических наций, проживающих на территории Советской Средней Азии и Казахстана.<sup>2</sup> По новейшим данным переписи 17 января 1979 г., здесь

<sup>1</sup> Домашнев А. И. «Языковый остров» как тип ареала и объект лингвистического исследования. — В кн.: Ареальные исследования в языкоизнании и этнографии. Краткие сообщения. Л., 1978, с. 22—23.

<sup>2</sup> Подробнее о них см.: Стратанович Г. Г. Дунгане. — В кн.: Народы Средней Азии и Казахстана. Т. II. М., 1963, с. 527—563; Шило Л. Т. Культура и быт советских дунган. Фрунзе, 1965; Очерки истории советских дунган. Фрунзе, 1967; Сушанило М. Дунгане. Фрунзе, 1971; Крюков М. В., Решетов А. М. Поездка к дунганам. — В кн.: Итоги полевых работ Института этнографии в 1970 году. М., 1971, с. 173—177; Решетов А. М. Современные этнические процессы у дунгана. — В кн.: Всес. археол.-этногр. совещание по итогам полевых исследований 1972 г. Тез. докл. и сообщ. по этнографии. Ташкент, 1973, с. 78—79.

проживало свыше 52 тыс. чел. дунган.<sup>3</sup> Живут они небольшими, но компактными группами, как правило, довольно далеко отстоящими друг от друга, в частности на территории Киргизской ССР — 27 тыс. и Казахской ССР — 22 тыс. человек.<sup>4</sup>

ДунгANE — потомки хуэй, переселившихся в эти районы преимущественно в 70—80-е годы XIX в. Хуэй до сих пор живут в Китае и являются одним из крупных этно-конфессиональных образований в структуре населения страны.<sup>5</sup> По оценочным данным на 1978 г., их насчитывалось 5 850 тыс.<sup>6</sup> Хуэй исключительно широко расселены по всему Китаю: нет ни одной провинции, где не было бы хотя бы небольшой по численности общины хуэй, особенно в городах. Различные территориальные группы их по своему происхождению весьма неоднородны, и в науке нет единой точки зрения по этому вопросу.<sup>7</sup> Термин «хуэй» связан с их принадлежностью к исламу: так по-китайски называется эта религия.

Хуэй говорят на различных диалектах и говорах ханьского (китайского) языка в зависимости от места их проживания: основная их масса, живущая в северо-западном районе страны, — на соответствующих говорах северного диалекта — пиньинском, ганьсуйском, шэньсийском и т. д., живущие в Пекине — попекински, в провинции Юньнань — на юньнаньском говоре того же северного диалекта; в провинции Гуандун — на диалекте юэ, в Шанхае — на диалекте у, в провинции Фуцзянь — на различных говорах северо- и южноминьских диалектов и т. д. Более того, известно, что хуэй, живущие среди других народов Китая, говорят на их языках: так, их общины, живущие среди бай в провинции Юньнань, говорят на языке бай, входящем в тибето-бирманскую языковую группу, а среди тай — на соответствующих диалектах этого языка, входящего в тайскую языковую семью.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Б рук С. И. Население мира. Этно-демографический справочник. М., 1981, с. 208.

<sup>4</sup> Там же, с. 210, 211.

<sup>5</sup> Подробнее о хуэй см.: Краткие сведения о малых народах Китая. Пекин, 1958, с. 12—15. (На кит. яз.); Мизин О. А. Китайская литература о дунганах. — В кн.: Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алма-Ата, 1980 (Тр. Ин-та истории, археол. и этногр. АН КазССР, т. 8), с. 219—224; Стратанович Г. Г. Хуэй. — В кн.: Народы Восточной Азии. М.; Л., 1965, с. 419—433; Москалев А. А. Гуанси-чжуанский и Нинся-хуэйский автономные районы КНР. М., 1979; Ma Yuhua. The Hui people of Ninghsia. — China reconstructs, 1964, vol. XIII, p. 37—40; Israel R. Muslims in China. A study in cultural confrontation. (Scand. Inst. Asian Stud. Monograph, 1978, № 29).

<sup>6</sup> Б рук С. И. Население мира, с. 459.

<sup>7</sup> Подробнее об этом см.: Линь Гань. Об этногенезе дунган. — СЭ, 1954, № 1, с. 42—52; Стратанович Г. Г. Вопрос о происхождении дунган в России и советской литературе (краткая справка). — Там же, с. 52—56; Решетов А. М. Об этническом своеобразии хуэй и уровне их этнической консолидации. — В кн.: Этническая история народов Азии. М., 1972, с. 137—149; Чайков Е. И. Новые материалы об этногенезе дунган. — СЭ, 1978, № 2, с. 95—99.

<sup>8</sup> Сердюченко Г. П. К вопросу о классификации народов и языков Китая. — Сов. востоковедение, 1957, № 4, с. 118; Бай Шоуи. Формирование и развитие хуэй. — Синьцзянъшэ, Пекин, 1957, № 11, с. 35.

Очевидно, это положение связано с этногенезом каждой отдельной группы: она формировалась на местной этнолингвистической основе с обязательным включением посителей ислама — арабов, иранцев и др., выполнивших роль этнокультурного суперстата. При этом всегда сохранялся язык субстратного компонента. Акад. В. В. Бартольд, высказывавшийся по проблемам этнической истории дунган и признававший ее весьма сложной, требующей для своего решения целого ряда точных данных, отмечал, что «иногда мусульманская пропаганда (курсив мой, — A. P.) распространялась только на инородцев. . . , не на природных китайцев».⁹

Что касается основной, китаеязычной массы хуэй, то она никогда не говорила ни на каком другом языке, кроме ханьского (китайского).<sup>10</sup> Во всяком случае наукой не выявлен ни один иноязычный памятник, созданный хуэй.<sup>11</sup> Как уже отмечалось

<sup>9</sup> Б а р т о л ь д В. В. Соч., т. V. М., 1968, с. 336.

<sup>10</sup> Есть только одно известное мне высказывание у В. В. Бартольда, позаимствованное им у Дабри де Тьерсана, что один китайский император отмечал наличие у шаньсицких хуэй в 1734 г. иного, нежели ханьский, языка (см.: Б а р т о л ь д В. В. Соч., т. V, с. 335, 336). Учитывая громадные различия между так называемыми диалектами ханьского языка, можно предположить, что император из Пекина не понял речь мусульманца, встреченного им в Шэньси. Кстати, не исключено, что это могли быть и недавно прибывшие и даже, может быть, временно поселившиеся там мусульманские иностранные проповедники или торговцы. Благодаря содействию С. Е. Яхонтова мне стала известна, пожалуй, единственная статья на ханьском языке, где упоминается дунганский язык: Лю Чжуншэн. В чем различия фонетики ханьского языка в Синьцзяне и пекинского произношения. — В кн.: Фаильяньюй путунхуа цзикань (Сб. по пробл. диалектов и общелоянтиного языка). Пекин, 1958, т. 3, с. 61—70. Лю Чжуншэн признает, что хань и дунганс (так в Синьцзяне называют хуэй, как поясняет он) говорят на синьцзянском диалекте ханьского языка, что произношение (чтение иероглифов) в ханьском и дунганском (хуэйском) языках чрезвычайно близко и почти невозможно обнаружить эти различия. Приводимые им примеры в сопоставительных таблицах касаются только фонетики, однако нет доказательств того, что речь идет о дунгансском языке, а не о диалекте или говоре ханьского языка определенного региона. Для рассмотрения специфики дунгансского языка сторонники точки зрения, утверждающей существование такого языка, должны были бы привлечь материал по языку коренных в данном районе хань и хуэй и показать, что, несмотря на многовековое проживание тех и других здесь, они сохранили свою языковую специфику. Пользуясь случаем поблагодарить С. Е. Яхонтова за помощь.

<sup>11</sup> Поэтому неправильными являются утверждения некоторых ученых о наличии дунгансского языка в Китае; см.: Реформатский А. А. Введение в общее языкознание. М., 1955, с. 355; Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока. М., 1979, с. 640, 653; см.: Решетов А. М. Рец. на кн.: Дунганские народные сказки и предания. — Народы Азии и Африки, М., 1980, № 6, с. 205. Мне до сих пор не известно ни одной работы, включая статьи на иностранных языках, в том числе ханьском, посвященной анализу дунгансского языка в Китае. Есть только бездоказательные утверждения о дунганском диалекте китайского языка или даже о дунганском языке. Так, А. И. Иванов и Е. Д. Поливанов писали о дунганском диалекте, приводя единственный пример его: *чи дуцза* — «есть в живот». Однако это выражение бытует вообще на северо-западе у хань и отнюдь не

выше, в наше время и, как зафиксировано в источниках и литературе, во все времена хуэй говорили только на разных наречиях, говорах и диалектах ханьского языка.<sup>12</sup> И если язык объединял их с ханьцами, то религия резко противопоставляла обе группы, хотя по целому ряду причин это более остро ощущали хуэй, чем хань.

Хуэй как этно-конфессиональная группа подвергалась со стороны хань дискриминации, притеснениям. Поэтому естественно, что хуэй наряду с беднейшими слоями других народов, включая и хань, выступали против феодального угнетения. Хуэй, в частности, играли заметную роль в антифеодальной борьбе народов северо-западного Китая во второй половине XIX в. После разгрома наиболее крупного их выступления в 1877—1878 гг. на территорию Русской Средней Азии и Казахстана перешла и широко расселилась группа дунган общей численностью примерно 6 тыс. чел. В начале 80-х годов XIX в. в связи с передачей Илийского края русскими властями маньчжуро-цинской династии в российское подданство перешло еще около 4700 дунган.<sup>13</sup>

Таким образом, в начале последней четверти XIX в. дисперсными, по компактными группами на обширной территории Казахстана и Средней Азии поселилось около 11 тыс. хуэй — выходцев из северо-западных провинций Китая. Это были бедняки, бежавшие от гнета ханьских и других феодалов; естественно, что они были неграмотны. И если в Китае хуэй пользовались (и до сих пор пользуются) ханьской иероглифической письменностью, то в новых условиях они стали бесписьменным народом. Говорили они преимущественно на ганьсуйском и шэньсийском говорах северного диалекта ханьского языка.

Отрезанность новой переселившейся группы хуэй от основного своего массива, закрепленная государственно-политической границей, наличие отличного от прежнего иноэтнического и иноязычного окружения, утрата письменной традиции уже сразу создали принципиально новую ситуацию в направлении процессов ее

---

является даже специфически дунганским выражением (см.: Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. — Тр. Ин-та востоковедения им. Н. Н. Нариманова, М., 1930, т. 15, с. 9, 14). О взаимодействии уйгурского языка в Синьцзяне с дунганским и китайским языками писал, не приводя ни одного примера, Н. А. Баскаков (см.: Баскаков Н. А. Ареалы и маргинальные зоны в развитии тюркских языков. — В кн.: Народы и языки Сибири. Ареальные исследования. М., 1978, с. 39). Г. Г. Стратанович утверждал даже, что «язык хуэй (имеются в виду их компактные северные группы, — A. P.) входит в китайско-хуэйскую ветвь китайско-тибетской семьи языков. Локальные группы хуэй по языку близки к окружающему их китайскому населению» (см. в кн.: Народы Восточной Азии. М.; Л., 1965, с. 419).

<sup>12</sup> В данной статье намерено нигде не затрагивается вопрос о статусе единства ханьского языка.

<sup>13</sup> Подробнее об этом см.: Юсупов Х. Ю. Переселение дунган на территорию Киргизии и Казахстана. Фрунзе, 1961; Сушанин М. Борьба дунган против Цинской династии и переселение их в Киргизию и Казахстан. — В кн.: Дунгановедение. Труды по востоковедению. V. Тарту, 1979 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 507), с. 22—26.

этнолингвистического развития. Именно теперь она оказалась на положении этнолингвистического острова, на развитие которого влияли прежде всего совсем другие факторы, нежели на основной, теперь уже зарубежный массив хуэй.

Первое время после своего переселения на новые места эта группа хуэй в русской литературе называлась «китайскими мусульманами», соседние тюркские народы называли их *дунган* или *тунган*, позднее именно первое стало общепринятым наименованием ее. Сами себя они называют *лохуйхуй*, хотя это название бытует преимущественно при объяснении на их языке. Но даже сами себя, представляясь по национальной принадлежности на других языках, они именуют дунганами. Именно этот этноним фиксируется во всей официальной документации (перепись, паспорт и т. д.). Вполне правильным будет вывод, что этноним «дунган» по существу стал вторым самоназванием этой группы, а при внешнем общении не только первым, но даже единственным. Как хорошо известно каждому синологу, этноним «дунганин» совсем неизвестен в основных ханьских районах.<sup>14</sup> Таким образом, можно констатировать, что произошли определенные изменения в самосознании, их этнической ориентации, идентификации.

В конце XIX—начале XX в. о языке российских китайских мусульман писали как о китайском. Из числа дунган, перешедших из Илийского края и принявших русское подданство, приглашались преподаватели китайского (ханьского) языка на факультет восточных языков столичного университета в Петербурге.<sup>15</sup>

Термин «дунганский язык» стал появляться в русской научной литературе только в 20-е годы нашего века, и относился он к языку одного из малых народов Советского Союза, потомков хуэй, теперь известных под названием «дунгане». Впервые глубоко научную базу под это определение подвели советские лингвисты А. и Е. Драгуновы в своей специальной работе, где они, в частности, прямо писали: «Под термином „дунганский язык“ мы понимаем язык одной из многочисленных национальностей Советского Союза, так называемых дунган, потомков китайских мусульман, выходцев из провинций Ганьсу и Шэньси... В основе дунгансского языка лежат, как известно, китайские говоры провинций Ганьсу и Шэньси... Единственное, с чем мы можем в настоящее время дунганский язык сопоставить, это с северным разговорным китайским языком, фонетическая и грамматическая структуры которого более или менее хорошо известны. Сопоставление этих двух языков (курсив мой, — A. P.) очень поучительно, так как показывает нам, что расхождение между ними отнюдь не ограничивается областью словаря — наличием в дунганском языке большого числа тюркских, а после Октябрьской революции и

<sup>14</sup> Он встречается в Синьцзян-уйгурском автономном районе у тюркоязычного населения — уйголов, узбеков, татар и т. д.

<sup>15</sup> Бартольд В. В. Соч., т. IX. М., 1977, с. 188.

русских словарных заимствований, а идет гораздо глубже. Оно затрагивает и фонетическую, и грамматическую систему этих языков и дает поэтому право рассматривать язык советских дунган не как один из диалектических вариантов языка китайского, а как *самостоятельную лингвистическую величину, качественно от него отличную* (курсив мой, — А. Р.).<sup>16</sup>

Таким образом, уже в середине 30-х годов нашего века дунганская языка — язык советских дунган, потомков хуэйских переселенцев, был квалифицирован как самостоятельная лингвистическая единица. Знаменательно, что этот вывод принадлежит выдающемуся лингвисту-синологу А. А. Драгунову. Им совместно с его соавтором Е. Н. Драгуновой рассмотрены фонетические и грамматические, т. е. лингвистические особенности дунганско-го языка. Естественно, что за период после 30-х годов произошло дальнейшее становление, укрепление и развитие дунганско-го языка как самостоятельной языковой единицы, генетически восходящей к ханьскому языку, поныне являющейся в типологическом отношении однопорядковой с ним величиной.

Живой разговорный язык дунган находился и находится в состоянии непрерывного изменения и постоянного обогащения. Большую роль в этом процессе играло, играет и, несомненно, во все возрастающем объеме будет играть двуязычие, а чаще многоязычие дунган. В новом ареале, как отмечалось, дунгане живут преимущественно среди киргизов, казахов, узбеков, уйгуров, русских, корейцев, татар и вот уже свыше ста лет находятся с ними в широких, постоянных контактах.<sup>17</sup> Исследователи отмечают, помимо старого слоя заимствований — арабских и иранских, также новый — киргизских, казахских, узбекских, татарских, уйгурских, русских, корейских и др. Таким образом, произошло известное изменение словаря, коснувшееся разных частей речи: существительных, числительных, наречий и даже глаголов, хотя последних и в меньшей степени. Заимствования особенно широко встречаются в речи молодежи, особенно учащейся, и постепенно закрепляются в речи старшего поколения. Происшедшие изменения отмечаются исследователями и в области

<sup>16</sup> Драгуновы А. и Е. Дунганская языка. — Зап. Ин-та востоковедения Академии наук СССР, М.; Л., 1937, VI, с. 117, 118. Как известно, А. А. Драгунову принадлежит выдающаяся роль в становлении и развитии научной дисциплины — дунгноведения. Об этом см., в частности: Калимов А. А. Драгунов — основоположник дунганско-го языкоznания. — В кн.: Разыскания по общему и китайскому языкоznанию. М., 1980, с. 121—126. Публикации работ А. А. Драгунова на иностранных языках за рубежом положили начало мировому дунгноведению.

<sup>17</sup> Решетов А. М. 1) Современные этнические процессы у дунган; 2) Современные этнические процессы у уйгуров и дунган Средней Азии и Казахстана. — В кн.: Тез. докл. Всес. конф., посвящ. этногр. изучению современности. М.; Нальчик, 1975, с. 55—57; 3) Этноконсолидационные процессы в советской Средней Азии и Казахстане. — В кн.: Этногр. аспекты изучения современности. Л., 1980, с. 74—84.

грамматики, и особенно фонетики.<sup>18</sup> Дунгановедение стало в нашей стране настоящей наукой.<sup>19</sup>

В последние годы к изучению дунганского языка обратились и некоторые зарубежные исследователи. Наиболее систематически публикует работы по дунганам и их языку Светлана Дайер (Римская-Корсакова).<sup>20</sup> Ряд работ опубликовали Мантаро Хашимото,<sup>21</sup> Пауль Уэклер<sup>22</sup> и молодой исследователь Олли Салми.<sup>23</sup> Пожалуй, все иностранные авторы, за исключением С. Дайер, склонны рассматривать язык советских дунган как самостоятельную языковую единицу. Австралийская исследовательница, с моей точки зрения, недооценивает самостоятельное развитие дунганского языка как языкового острова за последние сто с лишним лет, которое привело к существенным изменениям в лексике, фонетике и грамматике, как это показано в работах советских ученых, прежде всего в фундаментальной работе А. А. Драгунова.

В советское время через русский язык широко входит в дунганский язык интернациональная лексика: *радио, телефон, кино, почта, магнитофон, телевизор, аккумулятор, пальто, машина, автобус, троллейбус, трактор, метро, баллон и т. д.* Язык дунган развивается здесь вне связи с китайским языком, без сковывающего влияния иероглифической письменности, что чаще всего находит отражение в фонетике.

<sup>18</sup> Помимо работ А. А. Драгунова (список их см. в статье А. Калимова), следует назвать следующие: П о л и в а н о в Е. Д. 1) Главнейшие особенности дунганского языка. Рукопись. Хранится в Архиве АН КиргССР, Фрунзе; 2) Музыкальное слогоударение или «тоны» дунганского языка. — В сб.: Вопр. орфографии дунганского языка. Фрунзе, 1937; К а л и м о в А. Дунганская языка. — В кн.: Языки народов СССР. Т. V. Л., 1968, с. 475—488; П у и в а з о Ю. 1) К вопросу о способах словообразования в дунганском языке. — Изв. АН КазССР, сер. филологии и искусствоведения, Алма-Ата, 1955, вып. 3—4, с. 74—88; 2) Заметки о некоторых модификаторах в дунганском языке. — В кн.: Мат. по общей тюркологии и дунгановедению. Фрунзе, 1964, с. 63—75; З а в я з о в а О. И. Тоны в дунганском языке. — Народы Азии и Африки, 1973, № 3, с. 109—119; N u g t e k u n d P. Ausgewählte Kapitel der dunganischen Sprachgeschichte. — В кн.: Дунгановедение. Труды по востоковедению, V. Тарту, 1979 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, № 507), с. 5—21. Значительный интерес представляют также работы Х. Бугазова, А. Мансузы, М. Имазова, А. Н. Баранова и др.

<sup>19</sup> К а р а к е е в К. К. Успехи советского дунгановедения. — История СССР, 1968, № 5, с. 180—181; Дунгановедение..., V.

<sup>20</sup> R i m s k y - K o r s a k o f f S. Soviet Dungan: the Chinese language of Central Asia. Alphabet, phonology, morphology. — Monumenta Serica, 1967, vol. XXVI, p. 352—421; R i m s k y - K o r s a k o f f D u e r g S. 1) Soviet Dungan kolkhozes in the Kirghiz SSR and the Kazakh SSR. — Oriental Monograph Series, Canberra, 1979, № 25; 2) Soviet Dungan nationalism: a few comments on their origin and language. — Monumenta Serica, 1977—1978, vol. XXXIII, p. 349—362.

<sup>21</sup> H a s h i m o t o M. J. Current development in Zhunyanese (Soviet Dunganese). — J. Chinese linguistics, 1978, vol. 6, № 2, p. 243—267.

<sup>22</sup> W e x l e r P. Zhunyanese (Dungan) as an Islamic and soviet language. — J. Chinese linguistics, 1980, vol. 8, № 2, p. 294—304.

<sup>23</sup> S a l m i Olli. Tone and stress in Soviet Dungan. — Puheentutkimuksen Alalta. Papers in speech research. 2. Publ. Inst. finnish language and communication, Yuväskylä, 1980 (Univ. Yuväskylä, 19), p. 90—105.

Процессы этнокультурных взаимосвязей с соседними народами нашли отражение в новой лексике: *раис* ('председатель'), *хошин* ('сосед'), *машхурда*, *машкичири* (еда из маша), *нон* ('хлеб'), *чапан* ('пиджак'); *холодильник*, *спутник*, *костюм*, *туфли*, *борщ*, *индейка*, *помидор*, *вино*, *квас*, *морс*, *пластинка*, *театр*, *эстрада*, *балет*, *выключатель*, *зарядка*, *ток*, *газета*, *журнал* — из русского; *бешбармак* (лапша с мясом), *майли* — ('ладно', 'добро') — из казахского; *пончи* (палка для битья одежды при стирке) — из корейского и т. д. Конечно, заимствования нередко претерпевают изменения под влиянием специфики дунганской фонетики, лингвистического мышления. Например, дунганин скажет: *Ама ноли варина* ('Мама сварила варенье'); *Во хазр лэй ни* ('Я сейчас приду'); *Та ужэ чили* ('Он уже поел'); *Ни ги Арса звонил мо?* ('Ты звонил Арсе?'); *Нээ ба Мага критиковал* ('Я критиковал Магу'); *Асмо ам цин!* ('Какое чистое небо!') и т. д. По-прежнему сохраняются слова *изы* ('стул'), *пузы* ('магазин'), но заимствованы *кресло*, *универмаг*. Раньше, когда мужчины еще носили традиционные широкие штаны — *кузы* (брюки), которые можно было купить в магазине, их называли *урус кузы*. Теперь ушла в прошлое дунганская мужская традиционная одежда, и мужские штаны любого фасона называются старым термином *кузы*. У дунган по-прежнему сохраняется низкий столик для еды — *чжозы*, поэтому стол на длинных ножках называют *го чжо* — 'высокий стол'. Параллельно употребляют такие слова, как *стиральная машина*, *почтальон* и *сишан машинэ* ('машина, которая стирает одежду') и *сунсиньди жын* ('человек, доставляющий письмо'). С пивом дунгане познакомились уже в Средней Азии, поэтому это слово заимствовали без изменений, но сохранилось старое слово *цю* для водки. Естественно, что дунгане издавна знают хлебные изделия, но заимствованный у узбеков хлеб отличается от их собственного, его назвали *нон му* (*нон* — узбекская лепешка, *му* — дунгансское хлебное изделие).<sup>24</sup>

Заимствований больше в речи городских или получивших высшее образование дунган, чем живущих в сельской местности.

Процесс развития дунганской лексики отражен в многочисленных русско-дунганских и дунганско-русских словарях, в создании которых особенно велика роль ветерана дунганской науки Ю. Я. Яншансина, а также Ю. Цунвазо, М. Хасanova, Л. Шинло, Ф. Макеевой, И. Юсупова, Я. Хавазова, М. Сушпанло и др.<sup>25</sup>

Важным моментом в формировании дунганского языка как самостоятельной единицы явились работы по созданию дунганской письменности, начавшиеся уже в конце 20-х годов нашего века. В качестве ее основы была принята латинская графика. В 1929 г. вышли первые буквари и первые книги на дунганском языке. В 1930 г. стала выходить дунганская газета. Дунганский литерату-

<sup>24</sup> Слова записаны в разных районах расселения советских дунган. Вполне вероятно, что некоторые из них распространены только в определенных регионах.

<sup>25</sup> Начиная с 1959 г. издано 7 различных дунганских словарей. Последний, наиболее полный: Русско-дунганский словарь в трех томах. Фрунзе, 1981. Словарь включает более 35 000 слов.

турный язык формировался на основе фрунзенского разговорного диалекта, генетически восходящего к говору выходцев из Ганьсу. В процессе функционирования дунганского литературного языка произошло известное сближение фрунзенского и токмакского диалектов (последний связан по происхождению с говором выходцев из Шаньси). Этому способствовали школьное образование на дунганском языке, быстро развивающаяся дунганская литература, пресса, передачи по радио и т. д. Становление дунганского литературного языка было в основном завершено в довоенный период.

В послевоенный период, особенно в период развитого социализма, процесс обогащения дунганского языка еще больше усилился. Этому способствовало развитие советского дунгановедения, прежде всего научная деятельность дунганских ученых,<sup>26</sup> бурный расцвет дунганской литературы, получивший свое наиболее полное отражение в творчестве народного поэта КиргССР Я. Шивазы.<sup>27</sup> Особо следует отметить роль издающейся на дунганском языке газеты «Шыйүэди чи», поскольку вокруг нее группируются дунганские писатели и поэты, ученые, т. е. ведущая часть дунганской интеллигенции. В ней печатаются художественные произведения и научные статьи. Это в свою очередь приводит к тому, что в газете нередко продолжает фиксироваться лексика, давно ушедшая из разговорного языка или даже ему незнакомая, привносимая учеными и образованными эрудитами. По республиканскому радиовещанию проводятся регулярные литературно-музыкальные передачи на дунганском языке. По местному телевидению периодически передаются концерты дунганской художественной самодеятельности.

Все усиливающиеся этнокультурные контакты между народами в советское время способствовали дальнейшему изменению словарного состава, грамматического строя и фонетических особенностей, что находило закрепление в дунганском литературном языке, развивающемся на основе русского фонетического письма.<sup>28</sup> В со-

<sup>26</sup> Каракеев К. Академия наук Киргизской ССР. Фрунзе, 1974, с. 182—186.

<sup>27</sup> Макеева Ф. Х. Становление дунганской литературы. — В кн.: Труды по востоковедению, II. Тарту, 1973 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 309), с. 117—147.

<sup>28</sup> Стратанович Г. Г. Новый дунганский алфавит. — СЭ, 1954, № 1, с. 164—165; Калимов А. Новый алфавит для советских дунган. — Краткие сообщ. Ин-та востоковедения АН СССР, 1955, № 12, с. 134—136. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что нормативным в языке дунган стал фрунзенский диалект, тогда как в Китае для ханьского современного языка, на котором говорят хуэй, нормативным является пекинский говор. Таким образом, нормативными для хуэй в Китае и для дунган в ССР являлись совершенно разные диалекты. Ханьский язык обслуживает иероглифическая письменность, дунгansкий язык — письменность на русской графике. Последняя в отличие от первой способна точно воспроизводить заимствования из разных языков. И еще один существенный факт. Китайские ученые заметили, что язык ханьцев и хуэй, пришедших из разных районов страны и обосновавшихся 100—200 лет тому назад в Синьцзяне, претерпел определенные качественные изменения и не равнозначен первоначальным диалектам, например Ганьсу, Шэньси, Хэбэй и т. д.: в фонетике, словарном фонде, грам-

ветский период дунганский язык, как единый разговорный, так и литературный, обогатился большим количеством новых слов и терминов, отражающих явления и понятия, связанные с новым социалистическим и коммунистическим строительством в нашей стране.

Сами дунгANE не отождествляют свой язык с китайским и рассматривают его как самостоятельный. Конечно, в языке советских дунган еще и сейчас отражаются многие особенности прежних китайских диалектов и говоров соответствующих районов, из которых произошло переселение, однако нельзя не видеть основного — формирования нового, самостоятельного языка, входящего в китайско-тибетскую языковую семью.

Обращая внимание на невозможность структурного определения языкового или диалектного статуса того или иного объединения, Б. А. Серебренников подчеркивал: «По сравнению с неизбежно производным — в данном отношении — характером структурных критериев довольно твердую опору в этом отношении составляют критерии социологического порядка. Среди последних наиболее оперативными являются наличие (или, наоборот, отсутствие) взаимопонимаемости, единого литературного языка, а также единого самосознания народности».<sup>29</sup>

С формированием и развитием дунганской социалистической народности неразрывно связано формирование и развитие дунганского литературного языка в СССР.

### 3. П. СОКОЛОВА

#### ВЫЯВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БРАЧНЫХ СВЯЗЕЙ НАСЕЛЕНИЯ И ЯЗЫКОВЫХ ДАННЫХ (НА МАТЕРИАЛАХ ОБСКИХ УГРОВ)

Этнический ареал — территорию расселения этноса или его подразделения (например, этнографической группы) — можно выявить на основе различных признаков этноса: языка, культуры. Для выявления границ этнического ареала мы предлагаем еще один признак — степень эндогамности, или процент эндогамных браков (браков, заключенных в пределах данной этнической группы). Рассмотрим этот признак на примере хантов и манси.

матике есть заметные отличия от исходного варианта. Подробнее об этом см.: Ян Сяоминь. Усилить исследовательскую работу по обследованию диалектов ханьского языка в районах малых народов. — Чжунго юйвэнь («Китайский язык»), Пекин, 1960, № 12, с. 431—432. (На кит. яз.).

<sup>29</sup> Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 452. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие советские ученые, см.: Эдельман Д. И. О принципах языкового и диалектного членения при отсутствии письменности (на материале памирских языков). — В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии, истории языка, Ереван, 1973. М., 1973, с. 58—59.

По лингвистическим данным, отдельные группы хантов и манси существенно различаются. Так, у хантов выделяются три группы диалектов (северные, южные и восточные), имеющие значение самостоятельных языков, у манси реконструируются четыре таких группы (северные, южные, западные и восточные). Внутри этих больших языковых групп выявляются собственно диалектные группы, внутри последних — говорные.

Этнографами было замечено большое культурное своеобразие северных, южных и восточных хантов, а также сохранившихся групп манси — северных и восточных. Анализируя записи о браках в церковных метрических книгах второй половины XVIII—XIX в., мы обнаружили, что у обских угров устанавливаются эндогамные зоны, или ареалы, в границах которых население заключает преимущественно браки с членами группы, живущей на данной территории.

Как мы определяем степень эндогамности той или иной этнической группы, например казымской группы хантов? Это территориальная группа, обладающая своим особым диалектом, очень компактно расселенная в бассейне р. Казым. В XVIII—XIX вв. эта территория входила в состав Казымской вол. Березовского у. Тобольской губ.

В XVIII—XIX вв. эта группа численностью 1268 человек (1794 г.) заключила 1196 браков,<sup>1</sup> из них 950, т. е. 79%, заключены между членами этой территориальной группы (внутриволостные браки), а остальные 246 браков (21%), — межволостные, межуездные и межнациональные. Таким образом, степень эндогамности данной группы 79%.

Из 246 межволостных, межуездных и межнациональных браков жителей Казымской вол. 206, т. е. 83.5%, заключены с жителями северных волостей Березовского у. — Сосьвинской, Ляпинской, Куноватской, Обдорской, Подгородной, Чемашевской, Шеркальской и Естыльской вол. Посмотрим, какова степень эндогамности этой группы хантов.

<sup>1</sup> Данные о численности населения и записи браков взяты из источников: Гос. архив Тюменской обл., филиал в Тобольске (ГАТОТ), ф. 156, оп. 20, св. 173, № 258; св. 175, № 263; св. 157, № 679—690; св. 460—467, № 691—731 (Березовский у.); св. 7, № 19—20; св. 8, № 23—26, св. 9, № 28—29; оп. 39—41, 45, 50 (Березовский и Тобольский уезды), св. 167, № 244—245; св. 168, № 246—247 (Тобольский у.); св. 10, № 30, 43; св. 17, № 43—45; св. 20, № 47—48; св. 22, № 50—52; св. 173, № 257—259; св. 174, № 260—262 (Тобольский и Сургутский уезды); св. 12, № 34—36, 38 (Тобольский, Сургутский и Туринский уезды); св. 1, № 2; св. 748, № 1138 (Тобольский и Туринский уезды); св. 258—285, № 363—428 (Туринский у.); ф. 706, оп. 1, св. 3—4 (Сургутский у.), ф. 154, оп. 20, св. 19, № 44 (Сургутский у.), № 72 (Березовский у.). Березовский районный загс, метрические книги церквей: Казымской, Воскресенского собора, Сосьвинской Христорождественской, Градо-Березовской Богородице-Рождественской (Березовский у.); Мужевской районный загс, метрические книги 1—9 (Березовский у.); Сургутский районный загс, метрические книги церквей: Сургутской Троицкой, Юганской Богоявленской, Ваховской Богоявленской (Сургутский у.); Каргасокский районный загс, метрические книги Васюганской Крестовоздвиженской церкви (Сургутский у.).

В конце XVIII в. (1794 г.) население этой группы было 5114 человек. В XVIII—XIX вв. они заключили 7361 брак. Из них 4492 брака были заключены внутри этих волостей (внутриволостные браки), 2626 браков — между жителями этих волостей (межволостные браки в пределах всей группы). Сумма этих браков — 7118 — составила число эндогамных браков данной группы. Степень эндогамности группы — 97%. Остальные 243, т. е. 3% браков, — междууседные, межнациональные и межволостные с представителями других (не северных) волостей данного уезда.

Какова же была в XVIII—XIX вв. степень эндогамности хантов и манси в целом? Проанализируем за это время браки населения Березовского, Сургутского, Тобольского уездов. В конце XVIII в. хантов было примерно 14.5 тыс. С середины XVIII по конец XIX в. они заключили 17 112 браков. Из них эндогамных (заключенных в пределах данной этнической группы) оказалось 16 900 (99%). Остальные 212 браков (1%) заключены с русскими, ненцами и манси.

Манси в конце XVIII в. было 5710, они жили в Туринском у. В XVIII—XIX вв. они заключили 3364 брака, из них эндогамных оказалось 2818 (84%). В XVIII в. степень эндогамности их была выше — 90%, но мансиjsкое население в то время подвергалось русскому и (в XVIII в.) татарскому влиянию. Если не учитывать брачные связи с русскими и татарами, то степень эндогамности остальной части населения поднимется в XVIII—XIX вв. до 96.5%.

Судя по этим данным, граница между хантами и манси в то время проходила по Северной Сосьве с Ляпинским, притоку Конды Карыму, низовьям Конды, Иртышу. Наши данные о брачных связях хантов и манси позволяют считать, что ляпинско-сосьвинские и карымские манси сформировались очень поздно, их оформление в отличную от хантов этническую общность закончилось уже в XIX в. Так, в XVIII в. ляпинско-сосьвинское население еще полностью находилось в ареале брачных связей северных хантов. Степень эндогамности этой группы в XVIII—XIX вв. была 81.5%: из 2192 браков эндогамных было 1758, с северными хантами и хантами других групп и с манси — 434 (19.5%) брака.

Примечательно почти полное отсутствие брачных связей ляпинско-сосьвинского населения с южными, восточными и западными манси (за рассматриваемый период отмечен всего один такой брак). Ориентация брачных связей была следующей: из 434 браков, заключенных вне своей группы, 425 (98%) — браки с северными хантами, остальные 9 (2%) — междууседные и межнациональные браки.

Вместе с тем степень эндогамности северной группы хантов без ляпинско-сосьвинской группы уменьшается с 97 до 87.5%. Таким образом, степень эндогамности этнической группы может служить указателем ее этнической монолитности, а характер ориентации брачных связей может указывать на характер этноса.

Степень эндогамности ляпинско-сосьвинской группы населения с середины XVIII по конец XIX в. менялась. Так, во второй

половине XVIII в. она составила 76%,<sup>2</sup> в первой половине XIX в. — 82%,<sup>3</sup> во второй половине XIX в. — 90.5%.<sup>4</sup> Повышение степени эндогамности группы к концу XIX в. означает обособление ее от хантов за счет браков с пришлыми манси. К концу XIX в. сокращается число брачных связей с северными хантами: так, если в целом за весь период XVIII—XIX вв. браки с северными хантами в этой группе составили 19% (425 из 2192), то в конце XIX в. они составили уже 8% (28 из 337). А по сравнению с XVIII в. число таких браков уменьшилось в три раза (в XVIII в. они составили почти 24% — 269 из 1134 браков).

Таким образом, северные ханты наиболее связаны были в XVIII—XIX вв. с ляпинско-сосьвинским населением.

Граница северных хантов с южными проходила по Оби в районе селений Малый Атлым, Сухоруково, Белогорье. Лингвисты выделяют в южной группе языков атлымский диалект, он граничит на севере с шеркальским диалектом северной группы хантыйского языка.<sup>5</sup> С помощью анализа браков можно не менее точно определить пограничную контактную зону южных и северных хантов.

Степень эндогамности северных хантов с увеличением их за счет южных групп меняется мало: с добавлением к ним малоатлымских хантов она не меняется совсем (97%), с добавлением еще и ендырских хантов она становится ниже на 1%, с добавлением еще и сухоруковских хантов она повышается на 0.5%, а с добавлением и белогорских хантов достигает 97.5%. Еще более она повышается с добавлением ко всей этой группе самаровских хантов (до 98%). Это — общая тенденция повышения эндогамности (монолитности) этнической группы по мере ее более полного охвата (максимальной степени эндогамность достигает в целом по всему этносу).

В то же время характер ориентации брачных связей отдельных территориальных групп в этих этнических группах указывает на их этническую принадлежность. Так, в малоатлымской группе хантов с северными и южными хантами заключено по 50% браков, у более северных, шеркальско-естыльских хантов больше браков с северными хантами, у более южных — ендырских, сухоруковско-белогорских — больше браков с южными хантами. Особенности ориентации брачных связей пограничной группы малоатлымских хантов и определили, вероятно, специфику их диалекта.

В территориальных группах северных хантов степень эндогамности ниже, чем в этнографической: в казымской группе она равна 79%, в нижнеобской — 89%.

<sup>2</sup> Всего заключено 1134 брака: эндогамных — 863, с другими группами населения — 271 брак.

<sup>3</sup> Всего заключен 721 брак: эндогамных — 590, с другими группами — 131 брак.

<sup>4</sup> Всего заключено 337 браков, из них эндогамных — 305, с другими группами — 32 брака.

<sup>5</sup> Штейниц В. К. Хантыйский язык. — В кн.: Языки и письменность народов СССР. Ч. 1. Л., 1935.

С восточными хантами северные граничат на Казыме. Здесь граница четко проходит по водоразделу Казыма, Аганы, Тром-Югана и Пима. Брачные связи казымских хантов с восточными единичны: они составили в XVIII—XIX вв. 5% (13 браков из 246). Характерно их тяготение к северным хантам (с ними заключено 206 из 246 браков, т. е. 84%).

Южная группа хантов расселялась в XVIII—XIX вв. по Иртышу, Оби, низовьям Конды с притоками (Малоатлымская, Ендырская, Сухоруковская, Белогорская волости Березовского у., Самаровская, Нарымская, Назымская, Верхне-Демьянская, Меньшекондинская и Больше-Юкодинская волости Тобольского у.). Численность их в конце XVIII в. была 4234 человека. Степень эндогамности группы была выше 88%.<sup>6</sup> Без южных хантов Березовского уезда степень эндогамности группы понижается до 78%.

Сложно происхождение карымской группы манси (Большекондинская вол.). Их диалект выделен лингвистами в самостоятельный. Это, вероятно, связано с тем, что они сформировались поздно, на основе смешения хантов и манси. Еще в конце XVIII в. это население называли не vogулами, а остыками. Степень эндогамности этой группы 72%. Ориентация брачных связей у них в XVIII—XIX вв. была следующей: всего ими заключен 421 брак, из них 302 — внутриволостные, 119 — браки с другими группами хантов и манси. Среди внутриволостных браков в XVIII в. было 7.5% смешанных манси-хантайских, в XIX в. таких браков 10.5% (по данным фамилий). Из 119 браков, заключенных с разными группами хантов и манси, с манси западных волостей было 75, с южными хантами — 40, с северными хантами — 1, межнациональных — 3 брака. В XVIII в. с манси было заключено 27 браков, с хантами — 31, в XIX в. это соотношение изменилось: с манси заключено 48 браков, с хантами — 10. Менялся этнический состав населения, менялась и ориентация брачных связей.

В первой половине XIX в. (у нас мало данных по второй половине XIX в.) степень эндогамности карымских манси увеличилась по сравнению с XVIII в. с 71.5% до 76.5%.<sup>7</sup>

В то же время степень эндогамности южных хантов без карымского населения в XVIII—XIX вв. уменьшается на 1% (87%). Таким образом, карымское население в XVIII в. составляло монолитное единство с южными хантами и лишь в XIX в. завершило изменение своей этнической принадлежности и изменило ориентацию брачных связей.

Степень эндогамности территориальных групп южных хантов ниже, чем в целом по всей этнической группе: иртышско-кондинской группы — 71%, демьянской — 74.5%.

<sup>6</sup> Всего заключено 3525 браков, из них эндогамных — 3085, с другими группами населения — 440 браков.

<sup>7</sup> В XVIII в. всего ими заключено 210 браков, из них эндогамных — 150, с другими группами — 60 браков. В XIX в. ими заключено 193 брака, из них эндогамных — 148, с другими группами — 45 браков.

Граница южных хантов с восточными проходила по Оби и ее притоку Салыму. Салымско-селиярская группа хантов была пограничной. Они жили в Селиярской и Салымской волостях Сургутского у. Степень их эндогамности в XVIII—XIX вв. была 98.5%.<sup>8</sup> С северными хантами они заключили 15 браков (3%), с южными — 61 (11%), но более всего они заключили браков с восточными хантами — 460 (86%).

В южной группе хантов межнациональные браки составили в XVIII в. всего 0.5%, а в первой половине XIX в. — уже 3%. Но в южных волостях Тобольского у. в это время часть хантыйского населения уже была обрусевшей.

Восточные ханты жили в основном в Сургутском у., на Оби с притоками. Их численность в конце XVIII в. равнялась примерно 5200. Степень их эндогамности в XVIII—XIX вв. 98.5%.<sup>9</sup> Восточные ханты довольно четко делятся на две группы — западную, сургутскую,<sup>10</sup> и собственно восточную, обско-ваховско-васюганскую.<sup>11</sup> Степень эндогамности первой — 96%, второй — 94%. Промежуточное положение между ними занимали обские ханты Ваховской вол. Они заключили 189 браков с сургутской группой, 111 браков — с обско-ваховско-васюганской.

Степень эндогамности территориальных групп ниже: юганских хантов<sup>12</sup> — 84%, северо-сургутских<sup>13</sup> — 65%, ваховских — 63%, васюганских — 75%.

Граница восточных хантов с селькупами проходила по Оби в районе устья Тыма, по Васюгану и водоразделу Ваха и Таза. У среднеобских хантов нет браков с селькупами, у васюганских таких браков единицы. Зато у ваховских хантов с тазовскими селькупами таких браков много — 40 (17%). В то же время степень эндогамности восточных хантов с учетом и тазовских селькупов такая же, как и без них, — 98.5%. Это можно объяснить тем, что в составе селькупов Таза были и ханты, а в составе хантов верховьев Ваха остались селькулы — переселенцы с Тыма. Но само тазовское население довольно обособленно: степень его эндогамности 80%.

По Васюгану в прошлом жили ханты, в том числе и в низовьях реки, в Ларьякской вол. В этом нас убеждает не только фамильный состав населения, но и такой показатель, как ориентация брачных связей населения. Еще во второй половине

<sup>8</sup> Всего ими заключено 889 браков, из них эндогамных — 772, с другими группами — 117 браков.

<sup>9</sup> Всего ими заключено 6127 браков, из них эндогамных — 6025, с другими группами — 102 брака.

<sup>10</sup> В нее входят ханты волостей: трех Юганских, Балытской, Салымской, Селиярской, Темлячевской, Тарханской, Аганской, Пимской, Тром-Юганской и западной части Ваховской.

<sup>11</sup> В нее входят ханты волостей: Лумпокольских, Салтыковых, Пирчиной, Караконской и Тымской по Ваху, Ларьякской, Васюганской и восточной части Ваховской.

<sup>12</sup> Ханты Балытской и трех Юганских волостей.

<sup>13</sup> Остальных западных волостей.

XIX в. жители Ларьякской вол. заключали браки преимущественно с хантами Васюгана, Оби и других ее притоков: 88% браков заключены в это время с хантами. Селькупы сменили хантов в этой волости уже, вероятно, в XIX в.

Таким образом, этническая монолитность этнографических групп хантов выражается довольно высокими показателями степени их эндогамности: у северных хантов — 97%, у восточных — 98.5%, у южных — 88%. Наиболее монолитной была восточная группа, а южная подвергалась ассимиляции со стороны русского населения. Меньшая монолитность южных хантов, вероятно, отразилась и на их лингвистической классификации: некоторые лингвисты считают возможным объединить восточных и южных хантов в одну языковую группу.<sup>14</sup>

Монолитность мансийских этнографических групп ме́ньше. В целом степень эндогамности манси в XVIII—XIX вв. также ниже, чем хантов, — 84%. Она повышается до 96.5%,<sup>15</sup> если не учитывать тех манси, которые активно вступали в браки с русскими. Особенно много таких браков было у манси Тавды и Туры (южная группа). У них межнациональных браков в XVIII в. было 12%, а в первой половине XIX в. — 23.5%, т. е. их число возросло в два раза. Этот процесс продолжается с еще большей силой во второй половине XIX в. В результате этого южная группа манси растворилась в среде русского населения полностью. Так, если в конце XVIII в. тавдинских манси насчитывалось 1058 человек, то в 1901 г. их здесь было зафиксировано только 658, из которых 240 уже не говорили по-мансийски, а туринских манси уже совсем не было. Правда, надо иметь в виду, что не все манси были ассимилированы, часть из них ушла на север.

Степень эндогамности северных манси (ляпинско-сосьвинских) мы устанавливаем по данным второй половины XIX в. Она равна 90.5%. Именно в это время, очевидно, уже установилось этническое единство этой группы манси.

Степень эндогамности южных туринских манси 81%,<sup>16</sup> южных тавдинских манси — 76%.<sup>17</sup> Если не учитывать мансийское население Тавды, активно вступавшее в браки с русскими, то степень эндогамности этой группы поднимется до 97% (в XVIII в.).<sup>18</sup> Степень эндогамности восточных (кондинских) манси в XVIII—XIX вв. 76%,<sup>19</sup> в XVIII в. — 90%.<sup>20</sup> С учетом карымского насе-

<sup>14</sup> Терешкин Н. И. Хантыйский язык. — В кн.: Языки народов СССР. Т. 3. М., 1966.

<sup>15</sup> Всего заключено 2917 браков, из них эндогамных — 2818.

<sup>16</sup> Всего 191 брак, из них эндогамных — 155, с другими группами — 36 браков.

<sup>17</sup> Всего 1483 брака, из них эндогамных — 1125, с другими группами манси — 358 браков.

<sup>18</sup> Всего 420 браков, эндогамных — 407, с другими группами — 13 браков.

<sup>19</sup> Всего 805 браков, из них эндогамных — 694, с другими группами — 111 браков.

<sup>20</sup> Всего 460 браков, из них эндогамных — 414, с другими группами — 46 браков.

ния она повышается в целом до 93%,<sup>21</sup> в XVIII в. — до 93.5%.<sup>22</sup>

Ниже всего степень эндогамности западных манси — пельмско-лозвинско-сосьвинских: она равна 73.5%.<sup>23</sup> В XVIII в. она была выше — 88%.<sup>24</sup> Если же не учитывать то мансийское население, которое активно вступало в браки с русскими, степень эндогамности группы повысится в целом до 84%,<sup>25</sup> в XVIII в. — до 94.5%.<sup>26</sup>

У манси, таким образом, степень эндогамности этнических групп, взятых в наиболее чистом виде (без учета ассимилирующихся групп), тоже достаточно велика: 90.5% у северных, 93.5% у восточных, 94.5% у западных, до 97% у южных.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что степень эндогамности той или иной этнической группы может служить указателем степени ее монолитности. Для этноса в целом характерна степень эндогамности в 97—99%, для этнографических групп — от 90.5 до 97.5%. В этнических группах, подвергшихся размыvанию под воздействием другого этноса, в которых сильны процессы ассимиляции, степень эндогамности снижается до 73.5—81—88% (южные туринские манси, западные манси, южные ханты).

Внутри этнических групп можно очертить ареалы территориально-диалектных групп, совпадающих с языковыми диалектальными ареалами. Их численность меньше — от 600 до 2 тыс. человек, расселены они чаще всего в замкнутых речных бассейнах (на притоках Оби и Иртыша). Степень эндогамности таких групп от 60 до 85%. На конец, для территориально-говорных групп характерна еще меньшая численность и меньшая степень эндогамности — от 35 до 77% (аганские, пымские, ваховские ханты).

Правда, бывают исключения — территориальные группы с очень высокой степенью эндогамности. Примером могут служить салымская (98.5%), васюганская (до 86%) группы. Но они редки и связаны, вероятно, с особенностями формирования и развития групп.

При наложении языковых и эндогамных ареалов друг на друга выявляется очень четкое совпадение их границ. Вместе с тем выявление эндогамных брачных ареалов и совмещение их с языковыми

<sup>21</sup> Всего 1226 браков, из них эндогамных — 1133, с другими группами — 93 брака.

<sup>22</sup> Всего 670 браков, из них эндогамных — 626, с другими группами — 44 брака.

<sup>23</sup> Всего 885 браков, из них эндогамных — 740, с другими группами — 145 браков.

<sup>24</sup> Всего 409 браков, из них эндогамных — 360, с другими группами — 49 браков.

<sup>25</sup> Всего 786 браков, из них эндогамных — 740, с другими группами — 46 браков.

<sup>26</sup> Всего 381 брак, из них эндогамных — 360, с другими группами — 21 брак.

позволяют фиксировать процесс формирования гомогенных и пограничных смешанных этнических групп. В ретроспективных исследованиях метод выявления эндогамных ареалов позволяет определять характер этноса в сложных этнических ситуациях.

## Н. Г. БЕС ПЯТЫХ

### К ИЗУЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА XVII—XVIII вв. (ЭТНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ)

Колонизация Северной Америки англичанами началась в первые годы XVII в.; на протяжении XVII—первой половины XVIII в. на американском атлантическом побережье сложились три языковых коллектива: южный, куда входили колонии Виргиния, Северная и Южная Каролина, Мериленд (а позднее — Джорджия); центральный (или среднеатлантический) — Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавар; северный — Новая Англия, включавшая Массачусетс, Коннектикут, Нью-Хэмпшир и Род-Айленд.

В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть условия развития английского языка в северных и южных колониях, преимущественно в районах первоначального заселения — восточная Новая Англия на севере, расположенная на территории от побережья до р. Коннектикут, и прибрежный район (Tidewater region) на юге.

Начало колонизации американских территорий, получивших название Новая Англия,<sup>1</sup> было положено плаванием судна «Мейфлауэр», на борту которого в Новый Свет прибыло 102 первых колониста.<sup>2</sup>

Большинство прибывших англичан придерживалось пуританских взглядов, и мотивами, побудившими этих и большую часть последующих эмигрантов, селившихся в Новой Англии, покинуть родину, послужили религиозные притеснения, которым подвергался пурitanизм в Англии XVII в. Эмигранты покидали Британию, чтобы в Новом Свете создать новое общество — обще-

<sup>1</sup> Разделение Новой Англии на восточную и западную предложено Х. Куратом и носит чисто лингвистический характер: оно обусловлено диалектными различиями в английском языке населения этих районов. Авторы же исторических трудов, как правило, говорят о Новой Англии в целом. Однако в рассматриваемое нами время западная часть Новой Англии практически еще не была заселена и приводимые историками сведения вполне можно рассматривать как относящиеся к восточной Новой Англии.

<sup>2</sup> Слезкин Л. Ю. Англичане на пути в Новый Свет. — В кн.: Американский ежегодник. 1973. М., 1973, с. 23.

ство, которое бы претворяло в жизнь законы пуританской морали. Основная волна иммиграции в Новую Англию, известная как «великое переселение пуритан», приходится на 30-е годы XVII в. Только в 1630 г. 17 судов перевезли в Новую Англию 1500 поселенцев, а в 1635 г. число иммигрантов достигло 8 тыс. К 1642 г. численность населения одного только Массачусетса составила приблизительно 20 тыс.<sup>3</sup> В 40-е годы число прибывших в этот район иммигрантов резко сократилось вследствие изменившейся внутриполитической обстановки в Англии.<sup>4</sup> Далеко не все колонисты Новой Англии были убежденными пуританами,<sup>5</sup> однако уже в 1637 г. в колонии был издан указ, запрещающий лицам, не принимавшим пуританскую доктрину, селиться на территории колонии и, таким образом, ограничивший приток новых иммигрантов.<sup>6</sup>

Важной особенностью жизни колонии восточной Новой Англии было то, что она в течение длительного времени протекала в условиях значительной обособленности, так как территориальное расширение поселений в Массачусетсе Бэй, Плимуте, Нэррагансете Бэй и Нью-Лондоне после 1640 г. происходило очень медленно, и до 1700 г., когда был построен мост в низовьях р. Коннектикут (а позднее, в 1735 г., в самом Массачусетсе), жители восточной Новой Англии не имели постоянных контактов с поселенцами, осевшими западнее р. Коннектикут.<sup>7</sup>

Указанные факторы способствовали тому, что на протяжении всего колониального периода истории США восточная Новая Англия отличалась гомогенностью этнического состава. В середине XVIII в. англичане составляли 9/10 ее населения. Что же касается более точных характеристик, то большую часть переселенцев составляли выходцы из восточно-центральных и восточных графств метрополии, где пуританизм имел особенно большое влияние. Так, по подсчетам Дж. Фиске, две трети американцев, которые могут сказать, что их предки жили в Новой Англии, могут также сказать, что семьи предков приехали из графств восточной Англии.<sup>8</sup> М. Каус отмечает, что за время «великого переселения пуритан» некоторые города на востоке Англии опустели наполовину. Переселенцы ехали семьями, целыми общинами, часто под предводительством своего проповедника.<sup>9</sup> На основании приводимых

<sup>3</sup> Andrews Ch. M. The colonial period of american history. Settlements. Vol. 1. New Haven, 1934, p. 496. К 1690 г. в Новой Англии было приблизительно 77 тыс. жителей, в 1715 г. — 161 тыс.; причем  $\frac{2}{3}$  населения проживали в Массачусетсе (Jernigan M. W. The American colonies 1492—1750. New York, [1959], p. 165. Cp.: Kirgath H. Handbook of the linguistic geography of New England. New York, [1973], Pl. 11).

<sup>4</sup> Andrews Ch. M. The colonial period. . . , p. 496.

<sup>5</sup> Киселев А. А. Религия в формировании американской нации. — В кн.: Национальные процессы в США. М., 1973, с. 361.

<sup>6</sup> Boorstin D. The Americans. The Colonial experience. New York, 1958, p. 7.

<sup>7</sup> Kirgath H. Handbook. . . , p. 6.

<sup>8</sup> Fiske J. The beginnings of New England. Boston; New York, 1889, p. 63.

<sup>9</sup> Kraus M. The United States to 1865. Ann Arbor, 1959, p. 53.

А. Орбеком данных<sup>10</sup> получаем, что около 75% переселенцев, приехавших в Новую Англию во время переселения, были выходцами из восточных и восточно-центральных графств Англии. Здесь были представители различных сословий английского общества первой половины XVII в., однако основную массу иммигрантов составляли мелкие и средние фермеры и ремесленники.<sup>11</sup>

В связи с этим важно отметить, что большинство переселенцев в восточной Новой Англии были, следовательно, носителями восточно-центральных диалектов метрополии, так как в первой половине XVII в. литературный разговорный языковой стандарт представляет собой лишь своего рода «социальный диалект», которым владел весьма узкий круг образованных людей.<sup>12</sup> Представляется верным замечание Б. Хольмберга о том, что «чувство стандарта, существовавшее в XVII в., было в основном теоретическим и едва ли влияло на речь среднего образованного носителя языка».<sup>13</sup> Таким образом, основная масса колонистов (фермеры и ремесленники) наверняка не смогла владеть литературным разговорным языком. Значительное же сходство произношения с современной нормой британского английского языка и нормой восточной Новой Англии легко объясняется общностью диалектной базы, на основе которой они складывались.

Предположение о том, что разговорная норма восточной Новой Англии сложилась в условиях отрыва от метрополии, а не была уже в готовом виде вывезена из Старого Света, подтверждается, например, современным произношением там слов типа *fast*, *pass*, *craft*, в которых произносится /a/, близкое к современной британской литературной норме<sup>14</sup> и отличающееся от американской. По британской же норме в XVII в. в этих словах произносилось /æ/.<sup>15</sup>

Одним из требований пуританизма было умение самостоятельно читать Библию. С первых лет существования колонии здесь работают школы для обучения детей грамоте и счету; уже в 1636 г. был основан Гарвардский университет, который в дальнейшем играл важную роль в культурной жизни колонии. В середине XVII в. на каждые 35 семей в восточной Новой Англии приходился один человек с университетским образованием, и затем процент выпускников

<sup>10</sup> Огвеськ А. Early New England pronunciation. — Ann Arbor, 1927, p. 129; см.: К гарр J. Ph. The English language in America. Vol. 1. New York, 1925, p. 56.

<sup>11</sup> Andrews Ch. M. The colonial period..., p. 500—501.

<sup>12</sup> Olson E. J. Early modern standard English. — Trans. Philol. Soc., 1956—1955, p. 25—54. См. также: Г у х м а н М. М., С е м е н ю к Н. Н. О социологическом аспекте рассмотрения немецкого литературного языка. — В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М., 1969, с. 13.

<sup>13</sup> Holmberg B. On the concept of standard English and the history of modern English pronunciation. — Lunds univ. arsskrift, N. F. Avd. 1, Bd 56, № 3, p. 19.

<sup>14</sup> По качеству это более передний, чем в Англии, звук (см.: Peters R. Linguistic history of English. L., 1968, p. 107).

<sup>15</sup> Lueck K. Historische Grammatik der englischen Sprache. Cambridge, Mass., 1964; Wild H. C. A History of modern colloquial English. New York, 1937.

университета постоянно увеличивался.<sup>16</sup> В колонии существовал интенсивный обмен книгами, а в 1647 г. (по другим источникам — в 1645) в Бостоне открылся первый постоянный книжный магазин; с 1639 г. начинает печататься своя литература, в том числе и периодические издания; с 1657 г. открыта общественная библиотека.<sup>17</sup>

Таким образом, приведенный выше материал позволяет утверждать, что для восточной Новой Англии в XVII в. были характерны: 1) общность диалектной базы колонистов; 2) этническая гомогенность; 3) узкие временные рамки заселения и сравнительная немногочисленность жителей при большой плотности населения; 4) географическая обособленность, препятствующая интенсивным языковым контактам с населением других колоний и метрополии; 5) чрезвычайно высокий для того времени образовательный уровень. Другими словами, здесь имелись исключительно благоприятные условия для быстрого становления письменного и разговорного стандарта.<sup>18</sup>

Если колония восточной Новой Англии сформировалась в основном в течение одного-двух десятилетий, то процесс образования южных колоний растянулся на целое столетие. К 1665 г. белое население южных колоний насчитывало только 50 тыс. человек, а к 1689 г. — приблизительно 115 тыс., всего на треть больше, чем в Новой Англии в те же годы, хотя территория южных колоний превосходила территорию Новой Англии в восемь раз. Около 9/10 населения южных колоний проживало в Виргинии и Мэриленде. Каролина в конце XVII в. была еще практически не заселена.<sup>19</sup> Район первоначального заселения — прибрежной полосы — поначалу был этнически гомогенным: подавляющую часть жителей составляли англичане. Среди английских поселенцев на юге были выходцы едва ли не из всех графств Англии; изученные же М. Кэмпбеллом источники позволили ему считать, что большинство иммигрантов в Виргинии происходило из западных графств метрополии.<sup>20</sup> В XVIII в. увеличился приток в южные колонии шотландцев, ирландских шотландцев, ирландцев, немцев; к середине этого столетия названные этнические группы составляли не менее 50% всего белого населения южных колоний.<sup>21</sup> Отсюда

<sup>16</sup> Morison S. E. Harvard College in the 17<sup>th</sup> century. Cambridge, Mass., 1936, p. 75.

<sup>17</sup> Andrews Ch. M. The colonial period..., p. 505.

<sup>18</sup> Сложившийся в восточной Новой Англии XVII в. языковой стандарт оказался настолько прочным, что в течение длительного времени довольно успешно сопротивлялся натиску общемериканского произносительного типа, несмотря на все возрастающую социальную престижность последнего. Даже современные словари произношения американского английского наряду с общемериканской произносительной нормой указывают и новоанглийский вариант, ср.: Кенуон J. S. Knott. A pronouncing dictionary of American English. Ann Arbor, 1944.

<sup>19</sup> Jeglagan M. W. The American colonies..., p. 82.

<sup>20</sup> Campbell M. Social origins of some early Americans. — In: 17<sup>th</sup> century America. Chapel Hill, 1959, p. 78.

<sup>21</sup> Bridentbaugh C. Myths and realities. Societies of the colonial South. New York, 1963, p. 7.

видно, что для рассматриваемых районов была характерна значительная разнородность этнического состава.

Социальный состав иммигрантов был здесь также разнообразен, однако большую часть переселенцев составляли представители низших сословий: крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы.<sup>22</sup> Виргиния, например, «заселялась главным образом теми, кто надеялся поправить там свое положение или спастись от голода, преследований и лишений...», кто рассчитывал получить там землю».<sup>23</sup> В южных колониях был также значительный контингент высланных из Англии в принудительном порядке бродяг, нищих, преступников и т. п. — это был один из путей решения проблемы нехватки рабочей силы на плантациях.<sup>24</sup> В связи с этим важно учесть следующее. В зарубежной историографии до недавнего времени считался установленным факт, что в числе колонистов Виргинии XVII—XVIII вв., в противоположность Новой Англии, было много представителей английской аристократии. Однако подобные взгляды были серьезно поколеблены исследованиями К. Брайденбо, М. Кэмбелла и Б. Бейлина, убедительно показавших, что представители высших кругов английского общества, которые на заре колонизации прибыли в Новый Свет, спустя короткое время вернулись в метрополию.<sup>25</sup> Позднее в южных колониях постепенно сформировалась своя «аристократия». Очевидно, что разговорному языку новых «аристократов» не были присущи черты английского литературного стандарта, являвшегося в XVII в. своеобразным «социальным диалектом».

Существенно также, что в рабовладельческих южных колониях проживало много негров. Будучи лишенными каких бы то ни было гражданских прав в обществе, негры тем не менее уже в силу своей многочисленности (они составляли 3/4 всего сельского и 1/2 городского населения южных колоний)<sup>26</sup> не могли не оказывать влияния на общественную и культурную жизнь в регионе.<sup>27</sup>

Уровень образованности населения южных колоний в рассматриваемое время был низок. В 1641 г. в Виргинии насчитывалось всего 7 человек с университетским образованием на почти 50 тыс. человек.<sup>28</sup> Стремление к образованию и интерес к литературе среди части колонистов стали отчетливо проявляться не ранее конца XVII—начала XVIII в., когда богатые плантаторы

<sup>22</sup> Sampbell M. Social origins..., р. 68—71.

<sup>23</sup> Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории. Виргиния. Новый Плимут. 1606—1642. М., 1978, с. 132.

<sup>24</sup> Andrews Ch. M. The colonial period..., р. 35; Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории..., с. 132.

<sup>25</sup> Bridenbaugh C. Myths...; Sampbell M. Social origins..., р. 66—67; Bailin B. Politics and social structure in Virginia. — In: 17<sup>th</sup> Century America, р. 92.

<sup>26</sup> Bridenbaugh C. Myths..., р. 61.

<sup>27</sup> См.: Ефимов А. В. К вопросу о сложении нации США и некоторых тенденциях ее развития. — В кн.: Национальные процессы в США, с. 19.

<sup>28</sup> Andrews Ch. M. The colonial period..., р. 28; Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории..., с. 128.

начали посыпать своих детей на учебу в Гарвард, в Европу и в основанный в 1698 г. колледж Вильгельма и Марии (г. Вильямсбург). Однако общий уровень образованности оставался низким на протяжении всего XVIII в. В 1763 г. здесь не было ни одной «приличной» средней школы.<sup>29</sup> Общество мало читало. По данным М. Эндрюса, в XVIII в. лишь 5 из 300 «аристократических» семей южных колоний имели библиотеки.<sup>30</sup>

Итак, на развитие английского языка в южных колониях оказали влияние следующие факторы: 1) различие исходных диалектов и языков в колониях; 2) пестрота этнического состава населения; 3) приток больших групп новых иммигрантов на протяжении XVII—XVIII вв.; 4) низкая плотность населения, затруднявшая общение колонистов; 5) низкий образовательный уровень населения.

Приведенные факторы, на наш взгляд, серьезно препятствовали выработке единого произносительного стандарта. Только не ранее конца XVIII в. можно говорить о его наличии, причем на уровне «социального диалекта», носителями которого являлись в основном представители местной «аристократии».<sup>31</sup> Весьма существенно также, что «аристократы» южане стремились следовать британской произносительной норме.<sup>32</sup>

Лингвистический материал обнаруживает следующие сходные и отличительные черты современных северо-восточного и южного региональных типов американского английского и современной британской литературной нормы (на примере дистрибуции гласных нижнего подъема):<sup>33</sup>

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) hat, bag, ashes;   | 4) frost, long, bog; |
| 2) glass, calf, aunt; | 5) crop, lot, rod;   |
| 3) car, father;       | 6) law, daughter.    |

Различия особенно ощущимы в группах слов 2, 3, 5. В Новой Англии в группах слов 2 и 3 встречается [a], что совпадает с произношением в южных, южно-центральных и восточных графствах Англии до удлинения ср.-англ. *a* в позиции перед группой «щелевой+смычный»; удлинение имело место, по-видимому, не ранее границы XVII и XVIII вв.<sup>34</sup> В южных колониях установилось произношение [æ] перед щелевым и группами «щелевой+смыч-

<sup>29</sup> B r i d e n b a u g h C. Myths..., p. 34.

<sup>30</sup> Ibid., p. 36.

<sup>31</sup> Read A. W. The assimilation of speech of British immigrants in colonial America. — J. Engl. and Germ. Philol. 1938, vol. 37, № 1, p. 74.

<sup>32</sup> См.: W r i g h t L. B. The British tradition of America. Birmingham (Alabama), p. 8—10; Б р у н и е р К. История английского языка. Т. II. М., 1956, с. 366.

<sup>33</sup> В таблице использованы материалы из кн.: К и г а т h H., M c D a v i d R. I. The pronunciation of English in the Atlantic States. Ann Arbor, 1961. Транскрипция дана по кн.: Щ е р б а Л. В. Фонетика французского языка. М., 1948, с. 283.

<sup>34</sup> W r i g h t I. The British tradition..., p. 23.

ный» и «п-согласный» (2) и [a:] перед вокализованным г в конце слова или перед согласным (3), что соответствует британской норме XVII—XVIII вв.

Звук [r] (группа 5), встречающийся в южном региональном типе, восходит к британскому аффектированному произношению слов этого типа, которое было принято в высших кругах Англии в конце XVII—начале XVIII в.<sup>35</sup>

Изложенный материал делает сомнительным общепринятое мнение о том, что уже первые английские эмигранты вывезли в Новый Свет сформировавшееся нормативное произношение.<sup>36</sup> Представляется весьма спорным и мнение, согласно которому в XVII—XVIII вв. на всем североамериканском атлантическом побережье сложилось единое разговорное койне.<sup>37</sup> Анализ этнических и социальных процессов на указанных ареалах помогает приблизиться к решению поставленных вопросов и позволяет заключить, что сходство современного произношения восточной Новой Англии с произношением британского английского уходит корнями в общность диалектной базы, на которой они формировались; сходство произношения в южных колониях с британской нормой возникло главным образом в результате последовательной ориентации на нее южан, чему в значительной мере способствовал постоянный приток новых иммигрантов из Англии, которые, без сомнения, в конце XVII и особенно в XVIII в. уже в той или иной степени владели нормативным британским произношением. Следовательно, возникшее сходство северо-восточной и южной речи не восходит непосредственно к британской литературной норме начала XVII в.

Вполне очевидно, что чисто лингвистическими средствами трудно определить диалектную базу и проследить условия формирования и развития различных региональных типов американского варианта английского языка. На наш взгляд, при исследовании этих вопросов могут быть весьма плодотворными попытки привлечения широкого круга внелингвистических фактов.

М. А. БОРОДИНА

### ПРОБЛЕМА КОНСОЛИДАЦИИ И ЕДИНСТВА ШВЕЙЦАРСКОГО НАРОДА

Постановка проблемы консолидации швейцарского народа связана не только с многоязычием страны, но и с разнообразием проявлений культурной жизни различных ее регионов при

<sup>35</sup> См.: Бруннер К. История..., т. 1, с. 234; Schlauch M. The English language in modern times (since 1400). Warszawa; London, 1964, p. 87.

<sup>36</sup> Швейцер А. Д. К вопросу о происхождении различительных элементов американского варианта английского языка и его диалектов на фонологическом уровне. — В кн.: Теория языка. Англистика. Кельтология. М., 1976, с. 224.

<sup>37</sup> Dillard J. L. All-American English. New York, 1976, p. 45—76.

наличии определенных интерференций и общих, характерных для швейцарцев в целом черт.<sup>1</sup> Четыре равноправных по конституции национальных языка Швейцарии: немецкий, французский, итальянский<sup>2</sup> и ретороманский — далеко не равноправны территориально, по количеству говорящих и соответственно — по своим проявлениям в области литературы, искусства и в других сферах человеческой деятельности.

Говорить на французском, итальянском и других языках, т. е. считать эти языки «своими», для швейцарцев не означает быть французом, итальянцем и т. д., поскольку термин «родной язык» определяется как «язык, на котором думают и которым лучше всего владеют», в то время как «главный язык — язык, который среди населения в процентном отношении представлен больше других».<sup>3</sup>

С нашей точки зрения, существенна даже не количественная, а качественная характеристика отдельных регионов. Существенно то, что этнически 2/3 региона Швейцарии — германские (говорящих на германо-швейцарском — несколько больше) и, то, что этот язык имеет отличный от других германоязычных территорий диалектный субстрат (алеманский) и свою историческую судьбу, в результате чего сами носители языка определяют себя не как «немцы», а как «швейцарцы». Существенна также и характеристика 1/3 романоязычного населения. Так называемые «французы», т. е. франко-швейцарцы, с их бургундским субстратом, определившим своеобразие исторического развития франко-провансальского, при всей своей ориентации на французский стандарт тем не менее по складу характера, по самосознанию, по этническим и лингвистическим данным весьма отличны от французов Франции. И даже «итальянцы», живущие в южных долинах Альп и восходящие к галло-ломбардцам, хотя, казалось бы, и весьма близки лингвистически и этнически к своим сородичам — итальянцам Северной Италии, тем не менее, согласно исследованию О. Лурати,<sup>4</sup> а также Картотеке Словаря итальянских диалектов Швейцарии,<sup>5</sup> имеют значительное количество собственных черт, характеризующих их как одну из четырех национальностей Швейцарии (а не как итальянцев в Швейцарии).

<sup>1</sup> Кроме указанной литературы, в основу статьи легли наблюдения, сделанные автором во время командировки в Швейцарию в ноябре—декабре 1976 г.

<sup>2</sup> Точнее следовало бы говорить о германо-швейцарском, франко-швейцарском, итало-швейцарском, поскольку эти языки в Швейцарии имеют известные особенности.

<sup>3</sup> *Atlas der Schweiz*. Bern, 1966 (см.: легенду к карте 27, Языки, 1).

<sup>4</sup> Lurati O. *Dialecto e italiano rigionale nella Svizzera Italiana*. Lugano, 1976.

<sup>5</sup> Из беседы с Ф. Шписом и осмотра картотеки во время посещения Института словаря итальянских диалектов Швейцарии в декабре 1976 г. выяснилось, сколь обширна часть картотеки (до 1/3), в которой засвидетельствованы отклонения итальянского языка Швейцарии от итальянского языка Италии.

В отличие от итальянского ретороманский имеет только внутренний швейцарский центр притяжения, обнаруживая большое количество интерференций на всех уровнях языка, включая синтаксический и стилистический.

Несмотря на самобытный характер каждой из четырех национальностей Швейцарии, здесь обнаруживаются лингвистические интерференции разного уровня и различной интенсивности.<sup>6</sup>

Кроме давности контактов, нельзя не отметить и то, что большинство населения — двухязычное (и даже трехязычное), что отмечал еще В. И. Ленин: «Если итальянцы в Швейцарии часто говорят по-французски в общем парламенте, то они делают это не из-под палки какого-нибудь дикого полицейского закона (такового в Швейцарии нет), а просто потому, что цивилизованные граждане демократического государства сами предпочитают язык, понятный для большинства. Французский язык не внушает ненависти итальянцам, ибо это — язык свободной, цивилизованной нации, язык, не навязываемый отвратительными полицейскими мерами».<sup>7</sup>

С того момента, когда национальное меньшинство интегрируется в свое новое большинство, которое не может существовать без него, отрицательный, может быть, несколько обидный оттенок слова «меньшинство» исчезает.<sup>8</sup>

Комментируя лингвистическую карту страны, швейцарский ученый К. Хубер заканчивает свою вступительную статью следующими словами: «Рассматривая лингвистическую ситуацию в целом, мы видим, как три романских языка Швейцарии медленно отступают в течение уже 1000 лет перед немецким языком... Из-за этого отступления могут быть подорваны основы нашей концепции Гельветического государства».<sup>9</sup> В своем пессимистическом заключении автор, как нам кажется, не учитывал тех качественных изменений, которые происходили в стране за отмеченные 1000 лет и которые именно сейчас приобретают все большее значение. Если «Швейцария — яркий пример тому, что государственность оформляет уже сложившиеся культурно-этнические единства»,<sup>10</sup> то одновременно Швейцария является и образцовой страной, в которой государство принимает все меры к развитию этого единства, хотя в ряде случаев конституированное равноправие языков не всегда находит адекватное практическое воплощенье.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> См.: Лингвистическая карта Швейцарии. Л., 1974; Романо-германские языки и диалекты единого ареала. Л., 1977.

<sup>7</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 117.

<sup>8</sup> Тяготение к швейцарскому единству в социально-психологическом плане, а часто и в этнолингвистическом перевешивает тяготение к соответствующим культурным и языковым центрам вне Швейцарии (например, итальянцев — к Милану, французов — к Лиону).

<sup>9</sup> Hüber K. Die viersprachige Schweiz. — In: Atlas de la Suisse. Zürich, 1966, p. 28.

<sup>10</sup> См.: Лингвистическая карта Швейцарии, с. 8.

<sup>11</sup> Там же, с. 27.

Четыре лингвистических ареала Швейцарии: три романских (французский, итальянский, ретороманский) и один германский (немецкий) — находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Интерференции итальянского и ретороманского происходят особенно интенсивно в трех итальянских долинах Граубюнден — Мезано, Брегалья и Поскьяво. Как в Тессине, так и в итальянских зонах Граубюндена отмечено и контактирование с немецкими диалектами. Итало-немецкие и итало-французские интерференции в целом незначительны; они ограничиваются лексическим уровнем.

Наиболее примечательными представляются взаимоотношения ретороманского с соседними немецкими диалектами.<sup>12</sup> Естественно, что заимствований из «малого» языка, каким является ретороманский, в «большой», каким является немецкий, меньше, чем наоборот.

Ретороманский — и шире — романский вообще является как бы «субстратом» немецкого языка, а в настоящее время его повседневным адстратом. Этим и определяется его современный статус, по-разному характеризуемый разными исследователями. К. Яберг пишет, что «ретороманский сохранил свои творческие, созидательные возможности и вдохновил соседние большие языки».<sup>13</sup> По мнению Л. Тоблера, влияние ретороманского на немецкие диалекты Граубюндена намного сильнее, чем влияние романских языков на швейцарско-немецкий на западе страны.<sup>14</sup>

Глубоко проникли влияния немецкого в морфологическую структуру ретороманского, прежде всего его сельского варианта, в котором нет простого прошедшего и соответственно сложного предпрошедшего; будущее время в этом языке образуется при помощи глагола *vegnîr* и его редуцированной формы *gnîr* ('становиться'); имеются влияния и в формировании личных окончаний глаголов. Не лишен ретороманский и влияний на синтаксическом, а также на фонетическом уровнях. Интересным представляется исследование Ч. Пультом влияние синтаксиса немецкого языка на позицию личных местоимений в ретороманском.<sup>15</sup>

Инстратирование немецкого в ткань ретороманского воспринимается в основном как само собой разумеющееся явление: национальное меньшинство ищет поддержку сильного соседа; это укрепляет, дает жизненные силы, способствует более полному

<sup>12</sup> Б о р о д и н а М. А. Современный литературный ретороманский язык Швейцарии. Л., 1969, с. 171—174 (раздел «Заимствования из родственных и неродственных языков»).

<sup>13</sup> J a b e r g K. Considérations sur quelques caractères généraux du romanche. — In: Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally. Genève, 1939, p. 292.

<sup>14</sup> T o b l e r L. Ethnographische Gesichtspunkte der schweizerdeutschen Dialektforschung. — In: Kleinere Schriften zur Volks- und Sprachkunde. Frauenfeld, 1897, S. 217—218.

<sup>15</sup> P u l t Ch. Possibilitats dad interferencias scintacticas tanter rumantsch e tudais-ch-. — In: Resumaziun. Zusammenfassung der Referate. Scuntrada de informaziun e Studi. [Sent], 1977.

взаимопониманию между жителями разноязычных зон Швейцарии.

Во французской зоне Швейцарии в отличие от остальных трех лингвистических зон значительно реже употребляется диалект, гораздо далее отстоящий от литературного языка. Распространение его здесь неравномерно: имеются большие зоны, где он отсутствует, вытесненный французским региональным языком Швейцарии или литературным французским языком «метрополии». Интерференции с окружающими зонами — немецким и итальянским, не говоря о ретороманском, незначительны.

О языковой ситуации в германоязычной Швейцарии можно сказать, что, хотя это южный маргинальный ареал европейской германоязычной зоны, здесь никогда не было сколько-нибудь явной ориентации на север. Язык развивался за счет внутренних системных ресурсов, а также за счет контактов с другими швейцарскими ареалами. Швейцарско-немецкий в своей литературной форме оформляется как язык, очень отличающийся от немецкого языка ФРГ, ГДР и Австрии. «Как это неоднократно отмечалось, степень расхождения швейцарского варианта литературного языка (*Schweizerhochdeutsch*) с немецким литературным языком германских государств (*Binnendeutsch*) значительно выше, чем, например, австрийского».<sup>16</sup>

Благодаря взаимовлияниям социальных условий не только швейцарско-немецкий, но и другие языки Швейцарии обрели некоторые черты, увеличивающие степень их расхождения с одноязычными ареалами в других государствах (Франция, Бельгия — для французского, Италия — для итальянского языка). Это проявление чисто швейцарской специфики названных языков, свидетельство их единоустребленности, взаимосближения в рамках национальной общности.

Более того, особенности швейцарско-немецкого языка как языка одной из четырех национальностей Швейцарии нередко служат средством национального самоутверждения: «... для многих швейцарцев использование собственно немецких произносительных вариантов означает едва ли не национальное предательство. Что же касается общей картины произношения, то в 99 из 100 случаев оно не может освободиться от алеманского колорита».<sup>17</sup>

Диалектное дробление немециоязычной Швейцарии весьма велико — насчитывается до 24 диалектов разной степени близости. Носители этих диалектов считают свой язык более «настоящим, личным, честным», что отчетливо указывает на аффективную привязанность к своему обиходному языку; они, правда, идут слишком далеко, когда «рассматривают письменный немецкий как иностранный язык, как будто бы им не приходится ежедневно один или тысячу раз читать или писать на нем».<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Романо-германские языки..., с. 31.

<sup>17</sup> Лингвистическая карта Швейцарии, с. 52—53.

<sup>18</sup> Schwarzenbach R. *Schweizerdeutsch*. Zürich, 1972.

Швейцарско-немецкие диалекты при всем их многообразии представляют собой одну макросистему, восходя к разным подвидам алеманского: горноалеманский — самые южные и самые архаичные диалекты, верхнеалеманский — цюрихская и бернская группа диалектов, и нижеалеманский.<sup>19</sup> Взаимопонимание между носителями отдельных диалектов далеко не всегда, хотя и часто, осуществляется довольно легко. Обычно швейцарцы владеют и немецким литературным языком, но для них он все же не является общеразговорным.

В развитии современных швейцарско-немецких диалектов можно отметить следующие основные тенденции: сохранение диалектов, их смешение, выравнивание или нивелировка. Так, житель кантона Ури свой родной диалект, который принадлежит к сравнительно мелким диалектам немецкой Швейцарии (*Minderheitsdialekt*), заменяет на смешанный цюрихский, базельский или бернский диалект, причем он может смешивать диалекты до неузнаваемости и делает это основательно, особенно при более длительном контакте с одним из этих крупных диалектов.<sup>20</sup> В связи с общей ситуацией многоязычия Швейцарии и интенсивного интерферирования языков и диалектов здесь во многих городах складывается интересная картина городского социодиалекта, распространяющегося и на окружающую территорию.

Наряду с контактами и интерференциями внутри швейцарско-немецкого этот ареал, как было показано, находится в постоянном взаимодействии с романоязычными ареалами, что отчетливо прослеживается не только на территориально-диалектном уровне, но и на уровне литературной нормы. В свете большой неустойчивости швейцарско-немецкого часто возникает вопрос, какова же дальнейшая судьба этого ареала. П. Цинсли, отвечая на этот вопрос, полагает, например, что «это будет единый для всех швейцарско-немецких кантонов народный язык, который в основных чертах сохранит южно-алеманский характер».<sup>21</sup>

В целом следует сказать, что в Швейцарии языковые интерференции, за исключением ретороманского языка, имеют место прежде всего на диалектном уровне или в разговорной форме литературной речи.

Охарактеризованная выше ситуация говорит о том, что повседневная жизнь швейцарца проходит в более «камерном», диалектном тонусе, чем в окружающих ее странах. Наряду с такой диалектной замкнутостью, как уже отмечалось, большинство населения двуязычно или даже трехязычно (так, в кантоне Граубюнден имеются две общины — Бивио и Сильс, в которых сосуществуют ретороманский, итальянский и немецкий языки). Вследствие диглоссии

<sup>19</sup> Подробнее см.: Лингвистическая карта Швейцарии, с. 33—41; Романо-германские языки..., с. 33—41.

<sup>20</sup> A g n o l d T. Sprachsteckbrief des Urnerdeutschen. — In: Schweizer Dialekte, S. 28.

<sup>21</sup> Z i n s l i P. Hochsprache und Mundarten in der deutschen Schweiz. — In: Der Deutschunterricht, 1955, H. 2, S. 72.

и билингвизма при исследовании языковых взаимоотношений в Швейцарии необходимо анализировать факты не только на уровне литературных языков, но и на уровне диалектов.

Несмотря на сложную языковую ситуацию, при которой казалось невозможным образование «швейцарской культуры в самом широком смысле», по словам Г. Вайльмана, в швейцарском национальном самосознании нет недостатка.<sup>22</sup> Таким образом, даже столь необычайная языковая раздробленность на уровне речи (и идиолекта) не помешала процессу консолидации Швейцарии и в конечном итоге стала одним из отличительных признаков швейцарской нации.

Существенную роль в истории федерации сыграли и конфессиональные различия, хотя сейчас, например в Граубюндене, между католиками (Сурсельва и Сутсельва) и протестантами (Энгадин) сгладились те неприязненные отношения и противоречия, которые долго препятствовали объединению граубюнденских ретороманцев. О французской Швейцарии Мюллер пишет следующее: «Различие в религии (французская Швейцария в значительной мере протестантская, в то время как Франция — католическая) усугубляет обособленность франкошвейцарцев в большей мере, нежели монархический строй Германии и республиканский — немецкой Швейцарии».<sup>23</sup>

Особенно существенным для такой страны, как Швейцария, где природное разнообразие выражено весьма определенно (даже при беглом взгляде на карту видно деление на два ландшафта: германская зона — в основном более пизменная и романская — более высокогорная), оказывается географический фактор. П. Шеппи пишет: «Различия между горными и низменными районами и — в тесной связи с этим — между городом и деревней могут считаться важными константами истории Швейцарии, даже учитывая то, что они все более растворяются в многочисленных индустриальных образованиях».<sup>24</sup> Заметнее всего влияние географического фактора в Граубюндене, где шесть литературных вариантов ретороманского распределяются по разным природным зонам.

Интерференция языков и культур — одна из самых характерных черт страны в целом. Не случайно свое ставшее знаменитым исследование «Языковые контакты» У. Вайнрайх провел именно здесь, и именно в ретороманской (германо-романской) зоне. Если продолжить это изучение на разных языковых уровнях и в разных смежных лингвистических зонах, то оно дало бы интересную картину. В Швейцарии намечается примерно следующая ситуа-

<sup>22</sup> См.: Weileman H. Die vielsprachige Schweiz. Leipzig, 1925, S. 221, 225.

<sup>23</sup> Müller H. P. Die schweizerische Sprachenfrage vor 1914. Wiesbaden, 1977, S. 109.

<sup>24</sup> Schäppi P. Der Schutz sprachlicher und konfessioneller Minderheiten im Recht von Bund und Kantonen. — In: Das Problem des Minderheitenschutzes. Zürich, 1971, S. 7.

ция. Наиболее проницаемые уровни — фонетический, лексический, семантический и, возможно, синтаксический и интонационный. Более сложны для интерференции такие глубинные уровни, связанные с более строгой системной организацией, как фонологический и морфологический, требующие более длительного взаимодействия. Отдельные проявления интерференции на этих уровнях наблюдаются между ретороманским языком Швейцарии, с одной стороны, и немецким — с другой.

Интересным был бы анализ интерференции, учитывающий как ее интенсивность, так и направление; например, ретороманский язык интерферирует во всех направлениях. Помимо некоторых интерференций внутри зоны, как было показано, значительны интерференции с неродственным немецким языком и с итальянским.<sup>25</sup> С родственным французским языком контакты незначительны.

В целом межъязыковая интерференция в Швейцарии закономерна и говорит о дальнейшем развитии конвергентных черт. У. Вайнрайх в качестве одного из примеров конвергентных черт приводил следующий фонетический признак: «В Швейцарии некоторые соседственные диалекты ретороманского и алеманского утратили различительный признак лабиализации гласных. Подобное конвергентное развитие иногда фигурирует в качестве критерия при определении близости языков (языковые союзы)».<sup>26</sup>

О давности контактов и интерференций говорит и сложная ситуация разных типов «стратов»,<sup>27</sup> потребовавшая для своего адекватного описания введения нового понятия «интерстрат», заполнившего недостающее звено в системе понятий субстрат—суперстрат и адстрат—интерстрат. Интерстрат по хронологии его появления — самый новый их вид, появившийся в связи с интенсификацией обменов, контактов, известной интернационализацией. Ретороманско-германское интерстратирование — явление наших дней в широком смысле слова.<sup>28</sup>

Хотя языковой фактор является ведущим в решении вопроса о единстве Швейцарии, такие области, как искусство, в частности музыка, живопись, архитектура, литература, также весьма показательны как по разнонаправленности культурных процессов в разных кантонах, так и по тем общим тенденциям, которые объединяют их или содействуют объединению.

<sup>25</sup> Особого внимания заслуживают связи ретороманского языка с северными региональными вариантами итальянского: венецианским, пьемонтским и ломбардским.

<sup>26</sup> Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972, с. 36.

<sup>27</sup> О термине «страт» и его вариациях см.: Бородина М. А. Влияние языков иноязычной структуры на развитие языка (проблемы «интерстрата»). — В кн.: Основные проблемы эволюции языка. Ч. 1. Самарканд, 1966, с. 87—90, и др.

<sup>28</sup> Бородина М. А. Современный литературный ретороманский язык..., с. 3.

Проиллюстрируем сказанное на примере музыки, точнее — народных инструментов,<sup>29</sup> хотя много интересного в этом плане можно было бы сказать и о народных песнях, даже по тому небольшому материалу, который мне известен и который частично опубликован в приложении к книге «Современный литературный ретороманский язык Швейцарии».<sup>30</sup>

Наряду с региональными типами инструментов здесь отмечаются, с одной стороны, общераспространенные музыкальные народные инструменты, часто более нового происхождения, а с другой — древние примитивные инструменты, бытующие не только в Европе.

К последним относятся описанные Б. Гейзер гимбарда (фр. *gimbarde*, нем. *Maultrommel*), в Швейцарии засвидетельствованная с XIII в. (этот инструмент, по словам автора, «снова приобрел мировое значение»; с. 22), и глиняный инструмент куку (*coucou*), характерный для наиболее исконной, архаичной центральной части Швейцарии (кантон Швиц) и известный с XVI в. (сейчас он снова производится и довольно распространен).

Знаменитый альпийский рожок (с. 49) стал интернациональным явлением, связанным с местным колоритом горных районов. «Сегодня, — пишет Б. Гейзер, — это инструмент изысканного любителя, более чем когда-либо распространенный» (с. 51). Еще более известны швейцарские альпийские колокола и колокольчики (с. 16—18), также ставшие достоянием интернациональной культуры.

Как и в других странах, в Швейцарии распространены примитивные народные инструменты, использование которых ограничено возможностями растительного мира того или иного региона: сви-стульки из одуванчика (с. 44) в Тессине — в итальянской Швейцарии для этого используется стебель примулы, или — реже (обычно весной) — рожок из коры (с. 45); флейты из жолудя — в долине Рейна с той же целью используются ракушки улиток, в Нижнем Вале — стебель дягиля, в других регионах — стебель корвеля (с. 36, 42). С 1511 г. известно применение в музыкальных целях листьев грушевого дерева или плюща; еще сегодня существуют умельцы извлекать посредством вибрации губ звуки двух октав из их листа (с. 35). Более сложным является шумовой инструмент из скорлупы грецкого ореха в соединении со спичкой, который теперь используется редко и лишь некоторые помнят его со времен своей молодости (с. 10).

В долине Альбула (Граубюнден), как и в долине Аннивье (Вале), сохраняется народный примитивный инструмент ратата

<sup>29</sup> Последующий материал взят из кн.: Geiseg B. *Instruments de musique dans la tradition populaire en Suisse*. Zürich, 1976. Книга знакомит читателя достаточно подробно с историей, географией и функционированием народных инструментов (далее ссылки в тексте).

<sup>30</sup> Бородина М. А. Современный литературный ретороманский язык... с. 210—218.

(ratatac, нем. *Trogklapper*, в Вале — *Schlegger*; с. 15), в Романской Швейцарии — примитивный тип кастаньет (ит. *chlefeli*; с. 13); в кантонах Берн и Ури — так называемый треугольник (с. 10). Разные типы цитр кантонов Швиц и Гларус засвидетельствованы лишь с 1890 г. (с. 14), разные типы гуслей (*tympanon*) — Берн, Энгандин, Аппенцель (с. 15). Некоторые виды инструментов имеют функцию контрабаса — «музыкальные бутыли», т. е. бутыли, в разной степени наполненные водой, по которым ударяют специальными деревянными палочками (с. 11). Используются также ритмичные трения палкой о металлическую поверхность стиральной доски (с. 11—12) и «игра о ручку метлы», по которой ударяют поленом (с. 36—38); последнее распространено и сегодня в центральной Швейцарии, где практикуют также игру в ложки (деревянные или металлические). Распространился из кантона Фрибур в Граубюнден, Вале и Тессин ударный деревянный инструмент (фр. *tapolet*, нем. *Klapperbrett*) — доска с рукояткой и подвижным молотком (засвидетельствован в Цюрихе в 1346 г.).

Для нашей темы существенна и территориальная (географическая) дистрибуция музыкальных инструментов, их распространение из того или иного центра иррадиации, пересечение границ места зарождения, сохранение некоторой специфики в отдельных культурных районах, сохранение архаизмов в исконных древнейших кантонах (Швиц, Ури, Гларус).

Гейзер отмечает в начале своей книги: «В Швейцарии и народная музыка также отмечена физическим многообразием страны и влиянием многих культур. Такие произведения, как тессинская песня *«L'invierno è passato»* — заражающего веселья и ликованья, рождественский мотив ретороманцев с характерной нежной томностью, серьезная песня невесты Эмменталя *«Bin alben ä wärti Tächter gsi»* и старинная мелодия *«Ranz des vaches»* жителя Фрибура различаются между собой отнюдь не только по языку и рассказываемым в них событиям» (с. 5).

Уже давно швейцарцы выделяются своеобразием в области живописи. Еще в XIV—XVI вв. история живописи, как пишет А. Колер, отнюдь не ограничивается тем небольшим союзом кантонов, которые реально представляла собой эта страна, а охватывает фактически область конфедерации наших дней.<sup>31</sup> Далее автор анализирует искусство Конрада Вица (1395—1447), Урса Графа (1495—1530) и других, часто анонимных мастеров, в творчестве которых отражаются тяжелые судьбы страны, войны с их ужасами, религиозные розни и битвы, разрывающие страну и препятствующие ее соединению. Особо автор отмечает значение Ганса Гольбейна Младшего (1497—1543). Выдающимся и полным своеобразия является также искусство Швейцарии нового времени, начиная от Фердинанда Ходлера (1865—1925), который всемирно

<sup>31</sup> Kohler A. Malerei in der Schweiz des 15. und 16. Jahrhunderts. Zürich, 1975, S. 1.

признан «представителем типичного швейцарского искусства».<sup>32</sup> Широко известны имена Валютоца, Куно Амиета, Джованни Джакометти, Карла Буркхардта, Луи Сутера, Макса Гублера, Людвига Кирхнера и многих других представителей швейцарского искусства, находящегося, как пишет Кристоф фон Тавель, между европейскими национальными культурами, но создающего тем не менее свой национальный швейцарский стиль.<sup>33</sup>

После экскурса в отдельные области швейцарской культуры, важного для определения самосознания швейцарского народа, вернемся к основному вопросу о соотношении языка, этноса и нации в Швейцарии. В. И. Ленин писал: «В Швейцарии, — говорят изучавшие этот вопрос люди, — нет национального вопроса в восточноевропейском смысле. Даже слово это (национальный вопрос) здесь неизвестно... Швейцария оставила борьбу национальностей далеко позади, в 1797—1803 годах».<sup>34</sup> Напомним кратко ход событий. Старая Швейцарская конфедерация (*Eidgenossenschaft*), созданная алемано-немецкой частью населения, долго оставалась немецкоязычной, даже когда к ней постепенно присоединились романские кантоны. Так, преимущественно французскому Фрибуру, присоединившемуся в конце XV в. (1481 г.), пришлось повернуться в сторону немецкого языка и немецкой культуры.<sup>35</sup> Долгое время, вплоть до Великой Французской революции, в Швейцарии господствовал германский дух, и наблюдавшее романско-германское языковое и культурное равноправие наступило лишь в результате завоеваний французов в годы революции.<sup>36</sup>

Однако чем дальше, тем больше Швейцария борется за свое единство и равноправие языков и культур, а тем самым за свое существование. Как пишет П. Цинсли, не случайно именно в 1938 г., перед второй мировой войной, ретороманский получил равноправие как четвертый национальный язык Швейцарии (116-й закон Конституции).<sup>37</sup>

Следует отметить, что, несмотря на давние традиции, то культурное и в известной мере также этническое единство, как бы «внутренняя консолидация», которые мы на сегодняшний день наблюдаем в Швейцарии, во многом являются следствием культурной политики государства примерно за последние пятьдесят лет, и особенно с 1939 г., когда был учрежден институт «Pro Helvetia» (т. е. «За Гельвецию»), благодаря деятельности которого и проис-

<sup>32</sup> T a v e l H. Ch. Schweizer Kunst von Hodler bis heute. Zürich, 1971, S. 3.

<sup>33</sup> Там же, с. 9—13.

<sup>34</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 139. В. И. Ленин делает ссылку на книгу: Blocheg Ed. Die Nationalitäten in der Schweiz. Berlin, 1910.

<sup>35</sup> Müller H. P. Die schweizerische Sprachenfrage vor 1914. Wiesbaden, 1977, S. 56—60.]

<sup>36</sup> Zinsli P. Vom Werden und Wesen der mehrsprachigen Schweiz. Bern, [1964], S. 9—10.

<sup>37</sup> Ibid., S. 10.

ходит активный культурный обмен между разноязычными ареалами при сохранении местного своеобразия. Согласно закону Швейцарской федерации, принятому 17 декабря 1965 г., обществу «Про Гельвеция» поручается поддержание швейцарской культурной жизни и сохранение своеобразия страны с особым вниманием к народным традициям.<sup>38</sup> Таким образом, в XX в. для Швейцарии приобретают первостепенное значение не только проблемы языка, но и проблема нации. Sprachenfrage здесь становится синонимом Nationalfrage.

В зарубежной истории, когда речь идет об определении единства народа Швейцарии и его культуры, обычно не отделяется период феодализма, когда происходит формирование народности, от периода капиталистических отношений, которому сопутствует процесс консолидации нации. Эти периоды столь различны, особенно для Швейцарии, история которой весьма своеобразна, что следовало бы для понятия единства территории, экономики, культуры и народа употреблять разные понятия и термины в зависимости от хронологического среза. В истории Швейцарии, видимо, не имел места этап формирования швейцарской народности в сложившемся понимании термина; позднее оформление централизованной государственности, основной целью которой была консолидация многоязычной страны, привело непосредственно к стремительному процессу складывания нации.

Согласно определению зарубежных и советских историков, население Швейцарии, швейцарская нация, состоит из нескольких национальностей. Так, в книге Х. Вейленманна, изданной в 1925 г., читаем: «Швейцарская нация состоит из трех равноправных национальностей».<sup>39</sup> С 1938 г., согласно п. 116 Конституции, в Швейцарии признается четыре национальных языка. В книге С. И. Брука о численности и расселении народов мира среди многонациональных стран зарубежной Европы фигурирует и Швейцария с крупнейшей национальностью — германо-швейцарцы и второй по численности — франко-швейцарцы.<sup>40</sup>

Отсутствие единого языка в современных условиях многоязычия и облегченности общения между народами в целом, а также между отдельными индивидами не является тормозом в развитии государственности, политики, культуры и экономики Швейцарии. Что касается общности языка как признака нации, то рассматриваемые в современной лингвистике проблемы языковой интерференции, многоязычия, вариативности и т. п. ведут к конкретизации понятия «языковой союз», которое, кроме Балкан, может быть применено и к ряду других регионов. Видимо, для Швейцарии языковой союз, связанный с качественными изменениями частных

<sup>38</sup> Pro Helvetia. Tätigkeitsbericht, 1976. Zürich, 1977.

<sup>39</sup> Weilenmann H. Die vielsprachige Schweiz. Eine Lösung des Nationalitätenproblems. Basel; Leipzig, 1925, S. 219.

<sup>40</sup> Брук С. И. Численность и расселение народов мира. М., 1962, с. 95 (табл. 19).

языков, и следует считать признаком этнической консолидации.<sup>41</sup> Нельзя не согласиться с выводом С. И. Брука, что «в некоторых странах Европы продолжают развиваться процессы этнической консолидации — слияние двух или нескольких народов в новые нации. В Швейцарии и отчасти в Бельгии, где в этих процессах участвуют разноязычные группы населения, свидетельством консолидации является усиление экономического и культурного обогащения, сопровождающееся ростом двуязычия».<sup>42</sup> К этому следует добавить, что в Швейцарии в качестве общего названия народа весьма распространено слово и понятие «швейцарцы».

Многонациональные и интернациональные образования, составляющие одну из характерных особенностей современной эпохи, приводят к необходимости уточнения представлений о «языке как определителе нации» в свете лингвистических данных о языковых союзах, литературных диалектах, национальных вариантах языка, а также и этнографических данных, показывающих, что этническое самосознание мобильнее языкового.

С. П. НИКОЛАЕВА

### О СВОЕОБРАЗИИ ЭТНИЧЕСКОЙ И ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРУ

Перу — страна своеобразных географических условий и демографического состояния, страна различных культур и языков. География страны с ее делением на четко выраженные три зоны, определяемые Андами, которые проходят по всей стране с севера на юг, сыграла большую роль в том, что в некоторых районах страны немногое изменилось даже в связи с завоеванием страны испанскими конкистадорами в XVI в. Несмотря на то что европейские порядки и европейская культура насилиственно насаждались в стране испанскими завоевателями, администрацией, католическими миссионерами, многие племена горцев и племена перуанской сельвы, расположенной к востоку от Анд, сумели избежать какого бы то ни было влияния со стороны европейцев. «В тропической зоне Перу проживает приблизительно 150 тысяч индейцев, которые лишены каких-либо контактов с современной цивилизацией и находятся на уровне развития первобытнообщинного строя».<sup>1</sup> Состав населения страны неоднороден. По данным 1975 г., население страны составляло 14 755 000 человек: 65% метисов, 30% кечуа, 3% аймара, остальные — выходцы из Европы, Азии, Африки и Америки.<sup>2</sup>

<sup>41</sup> Романо-германские языки..., с. 23.

<sup>42</sup> Брук С. И. Численность и расселение народов мира, с. 93.

<sup>1</sup> Кузнецов В. Перу. М., 1976, с. 11.'

<sup>2</sup> Там же, с. 12.

В настоящее время официальными языками в Перу являются испанский язык и кечуа. По показателям 1972 г., на испанском говорят 8 млн. человек, на кечуа — более 3 млн., на аймара — более 300 тыс. человек. Не следует забывать о многочисленных амазонских языках. В Перу сложилась своеобразная языковая ситуация, которую сами перуанцы называют «состоянием мультилингвизма»,<sup>3</sup> за которым стоит долгий исторический процесс. В самом деле, в стране существует и лингвистическое многообразие, и многообразие культур. Они восходят к древнейшим культурам, которые по-разному контактировали между собой еще до прихода испанцев в Америку. Основными этническими группами и основными языками были протокечуа, протоару (или протоахаки) и пукана. Между ними, как полагают историки и лингвисты, существовало определенное равновесие, нарушенное приходом испанцев в 1532 г., что привело, в частности, к исчезновению языка пукана, хотя по-прежнему большой процент населения говорит на кечуа, аймара и различных амазонских языках.

Большая часть населения Перу — монолингвы, говорящие на испанском языке (по данным 1961 г., они составляли 60.04% населения страны). 19.6% являются монолингвами, говорящими на индейских языках, 19.13% — билингвами, говорящими на испанском и на своем родном языке.<sup>4</sup> Существует проблема общения между различными группами говорящих на одном из туземных языков и на других туземных языках, между ними и испаноговорящими.

По-разному относятся к изучению испанского языка представители этнических групп кечуа или аймара. Об этом свидетельствуют данные полевого анкетирования и анализа материала, собранного в результате опроса населения, в частности в общине Кинуа (Quinua), где были обследованы представители 100 семейств.<sup>5</sup> Люди старше 50 лет не стремятся научиться испанскому языку. Монолингвы до 50 лет, говорящие на кечуа, выражали желание изучать испанский язык, но чаще для того только, чтобы говорить на нем, а не читать и писать. Многие понимают, что их детям важно знать испанский язык во всех его аспектах, главным образом для того, чтобы можно было везде работать, не только в районе Аяякучо, где многие говорят на кечуа, но и на побережье, в сельве, где большие вероятности получить работу. По данным опроса, которые приводятся в статье Альберто Эскобара, некоторые монолингвы считают даже, что не нужно детям изучать кечуа, так как это — язык обездоленных людей. Возможно, положение в наши дни меняется, поскольку язык этот наряду с испанским утвержден законодательством в качестве одного из двух официаль-

<sup>3</sup> El reto del multilingüismo en el Perú. Lima, 1972.

<sup>4</sup> Pozzi Escot I. El castellano en el Perú. — In: El reto del multilingüismo... Lima, 1972, p. 127.

<sup>5</sup> Escobar A. Lingüística y política. — In: El reto del multilingüismo..., p. 24.

ных языков Перу. С 1971 г. преподавание в школах стало вестись не только на испанском языке, но и на языках кечуа и аймара.<sup>6</sup> Наличие билингвов, говорящих на кечуа и немного на испанском языке, свидетельствует о стремлении изучать испанский язык в практических целях.

Немалые трудности возникают при обучении испанскому языку школьников, говорящих на кечуа. Часто строй, синтаксис испанской фразы у кечуа при испанской лексике становится совершенно неиспанским. Чрезвычайно интересный материал собрал в долине Мантаро перуанский исследователь Родольфо Серрон-Паломино.<sup>7</sup> Вот несколько примеров фраз, произнесенных билингвом (в скобках дан испанский эквивалент): 1) *De mi mamá en su casa estoy yendo* (*Voy a la casa de mi mama*); 2) *Manana a Huancayo voy ir* (*Manana voy a ir a Huancayo*); 3) ? *Qué diciendo no más te has venido?* (?*A qué (por qué) viniste?*); 4) *A tu chiquito oveja véndele* (*Véndeme tu ovejita*).

Настолько разными являются системы родного языка (в данном случае — кечуа) и испанского, что при обучении это постоянно следует иметь в виду. Родольфо Серрон полагает, что в зонах испано-кечуанского контакта возникли новые креольские языки, характеризующиеся испанской лексикой и морфологией и кечуанской синтаксической структурой.<sup>8</sup> Примерно то же происходит с языковой группой хаки (*jaqí*), включающей в себя языки аймара, хакару и кавки (*aimará, jaqaru, kawki*). Центр этой языковой группы расположен на юге Перу, в Пуно. Именно здесь особенно остро стоит проблема языкового общения, так как, с одной стороны, с этим районом страны связаны большие планы экономического развития Перу, с другой — именно в районе оз. Титикака имеется много монолингвов среди местного населения и много неграмотных.

Лингвисты сравнительно недавно стали заниматься этой группой языков. Здесь можно назвать имя Марты Хардман, которая посвятила одну из своих работ языку аймара.<sup>9</sup> На этом языке говорит в общей сложности более миллиона человек в Перуанских Андах и в Боливии. На хакару и кавки говорят и в департаменте Лима, в провинции Яуйос. В прошлом эти языки имели большее распространение, да и количество языков этой группы тоже было большим. Из работы Марты Хардман стало известно, в частности, о том, что около 30 лет тому назад исчез один из языков этой семьи со смертью последнего человека, говорившего на нем и жившего в Уантане, недалеко от Айякучо. Близок к исчезновению язык

<sup>6</sup> Кузнецова В. Перу, с. 142.

<sup>7</sup> Сегобри-Паломино R. Enseñanza del castellano. — In: El reto del multilingüismo..., p. 155.

<sup>8</sup> Неглán Ramírez L. Estudios e investigaciones sobre el español peruano. 3. 1978, p. 288.

<sup>9</sup> Hardman M. Postulados lingüísticos del idioma aymará. — In: El reto del multilingüismo..., p. 37.

кавки, так как дети его уже не понимают. На хакару говорят только две тысячи жителей, его продолжают изучать в наши дни.

Все языки хаки обладают своеобразной структурой, своеобразными категориями, отличающимися от категорий испанского языка и других индоевропейских языков. В языковой семье хаки нет ни категории рода, ни категории числа. Категория рода среди учеников аймара, изучающих испанский язык, вызывает смех. Разве можно, говорят они, сказать о собаке «он» или «она», разве собаки люди, что говорить им так? (? *Acaso los perros son gente para decírles así? El perro es perro, no es gente para decirle «el» o «ella»*).

В языке аймара существует оппозиция: свойственное человеку — не свойственное человеку. Имеются две категории местоимений: одно из них — *jura* — указывает на человека (он, она, они, человеческие существа), другие — *aka* (со значением *este, ésta*), *uka* (*ése, ésa*) — относятся к тому, что не является человеческим существом.

В системе глагола имеются суффиксы, особые для человека и нечеловека: *achuna* (*producir*) — относится к нечеловеку, *achu-yana* (*producir*) — относится к человеку.<sup>10</sup> Глагол как бы «очеловечивается» с помощью суффикса *-ya*.

В языке аймара известна такая пословица: *Unjasaw 'unjí' sanax, jan unjasax janiw 'unjí' sanakiti* (Если ты видел, тогда можешь сказать: «Я видел», если же не видел, нельзя говорить: «Я видел»). В этой пословице заложен большой смысл, в ней отражена одна из важных характеристик этого языка: аймара всегда указывают, является ли высказывание результатом своих наблюдений или знание пришло от других. Видеть и слышать. Эти две категории проявляются в грамматике главным образом в глаголе, где флексия и суффиксы выражают эти категории. Автор упомянутой работы рассказывает следующее: ребенок аймара, который учится в испанской школе, читает обычно книгу «*Bolívar fue un buen hombre*».

Он считает, что автор знал лично Боливара. На аймара это было бы: *Wuliwarax suma jaqinwa*. Но поскольку школьник не знает Боливара лично, он отвечает учителю либо: «*Bolívar había sido buen hombre*», либо; «*Bolívar fue buen hombre, dicen*», что на аймара было бы: *Wuliwarax suma jaqinwa siw*, где *siw* является показателем несобственного знания.

Аймара по-своему переосмысяют времена испанского глагола: *Pretérito* и *Imperfecto* выражают собственные знания, *Pluscuamperfecto* — знания не свои, пришедшие от кого-то, *ir a+infinitivo* выражает собственные знания, *Futuro* — знания, полученные со стороны.

Все эти и многие другие расхождения в структурах испанского языка и аймара вызывают большие затруднения при обучении школьников, говорящих на аймара, испанскому языку. Для пе-

<sup>10</sup> Здесь и далее примеры взяты из упомянутой работы М. Хардман.

руанцев это связано с методами обучения, с вопросами педагогики, психологии, политики.

Испанский язык Перу не является однородным: по мере удаления от Лимы, центра языковой литературной нормы, меняется произношение, лексика, синтаксис испанского языка даже среди образованных людей. О лексических особенностях испанского языка Перу, вобравшего в себя многое от индейских языков, уже говорилось.<sup>11</sup>

Следует упомянуть также о некоторых фонетических явлениях, которые отличают испанский язык Лимы, например, от испанского языка других областей Перу. Так, к характерным чертам произношения жителей Лимы относится *yeísmo*: *kaue* произносят в Лиме, *cale* — в остальной части страны, главным образом в сьерре, в горных районах страны. Об этой особенности в речи перуанцев уже писали.<sup>12</sup> В этом убеждаешься постоянно и сам, когда говоришь с жителями Уанкайо, Ла Ороя, Серро де Паско, Уанкуко и других городов и селений перуанской сьерры.

Произношение перуанцев, живущих на берегах притоков р. Амазонки, тоже имеет ряд отличительных черт, как нам удалось заметить. К фонетическим особенностям речи жителей перуанской Амазонии следует отнести более твердое произношение *l*, звук *š*, несвойственный испанскому фонетизму, часто произносимый перуанцами Амаонии, так как в этих местах имеется много местных топонимов, содержащих в своем составе этот звук: *Shapaja* (селение, расположеннное на р. Уальяга (*Uallaga*), названия рек: *Río Shishinahúa*, *Río Shanusi*, *Río Shioto*, *Río Mishollo* (западнее города Токаче Нуэво — *Tocache Nuevo*) и др. — все в основном отмечены в бассейне р. Уальяги, притока Амазонки. Возможно, здесь проявляется влияние производительной системы местных наречий. Жители же Лимы по-разному произносят подобные топонимы: *Shapaja* и *Chapaja*, например.

Обращает на себя внимание несколько необычное произношение жителей города Уанкуко и других селений, расположенных к северу от него. Гласные звуки здесь сильно редуцированы: в неударенном положении: *əst<sup>o</sup>kas<sup>o</sup>=esta casa*, *dam plát<sup>o</sup>=dame plata* и т. д.<sup>13</sup> В работе Аиды Мендоса «Sistema fonológico del castellano y variantes regionales» говорится о некоторой неустойчивости в степени открытости гласных фонем в районах сьерры и сельвы.<sup>14</sup> В системе консонантизма многое представляется неожиданным: так, в городе Тарапото и в селении Шапаха можно было слышать произношение *ȝenti=gente*.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Николаева С. П. О некоторых лексико-семантических особенностях испанского языка Перу. — В кн.: Исследования по романской филологии. Вып. 2. Л., 1978 (сер. «Древняя и новая Романия»), с. 151—180.

<sup>12</sup> Rosenblat A. El castellano de España y el castellano de América. Caracas, 1962, p. 41; Степанов Г. В. Введение. — В кн.: Грамматика и семантика романских языков. М., 1978, с. 19.

<sup>13</sup> Записано в июле 1974 г.

<sup>14</sup> Hegnán Ramírez L. Estudios. . . , p. 286.

<sup>15</sup> Записано в июле 1974 г.

Даже в речи образованных людей, монолингвов, встречаются существенные отклонения от нормы испанского языка. Например, в речи испаноговорящего населения Айякучо замечено достаточно много расхождений с тем, что диктуется нормой испанского языка. Здесь зарегистрировано отсутствие согласования между местоимением и его антецедентом: *No lo vi a sus hermanitos*;<sup>16</sup> согласования между подлежащим, выраженным существительным, и именной частью составного сказуемого, выраженного прилагательным: *Los informes fueron excelente*; отсутствие согласования между подлежащим, выраженным существительным, и сказуемым, выраженным глаголом: *Las otras chacras no tiene rie, go*; пропуск предлога перед косвенным дополнением: . . . *las personas con quienes converso en quechua, les agrada el quechua*; отсутствие согласования в глагольных формах: *Allí sa estacionó el camión para que se bajen* и др.

Создание лингвистического и этнографического атласа Перу, над которым работают перуанские лингвисты и этнографы и проект которого был опубликован в 1974 г., поможет более полно выявить фонетические, лексические и грамматические особенности говоров различных областей страны.

#### Г. А. ЦЫХУН

### О СПЕЦИФИКЕ БАЛКАНОСЛАВЯНСКОГО АРЕАЛА

Известно, что для образования территориальной общности необходим длительный контакт между соседними языками или диалектами. Только в этом случае происходит накопление общих инноваций, отделяющих данное ареальное образование от соседних и связывающих ранее разнородные части в единое целое. В зависимости от длительности и характера контакта, а также в первую очередь от генетической близости контактирующих территориальных единиц число таких общих инноваций может быть большим или меньшим. Естественно предположить, что при прочих равных условиях ареальная общность, образовавшаяся в результате контактирования близкородственных языков и диалектов, будет более обширной и более устойчивой, что объясняется большей скоростью распространения инноваций и большей проникаемостью межъязыковых (междиалектных) границ. При контактировании близкородственных языков и диалектов инновационная «волна» легче проникает в те системы, в которых имеются формально совпадающие или похожие элементы, что опять-таки связано со степенью их генетической близости. Идентификация структурно тождественных, но формально различных элементов требует более тесного и длительного контакта. Все это говорит о зависимости характера ареальных общностей от генетической и типологии

<sup>16</sup> Pozzi Escot I. El castellano . . . , p. 127.

ческой близости контактирующих систем, и в свою очередь эти соображения могут быть полезны при определении особенностей балканославянского ареала, чemu посвящены данные заметки.

С некоторых пор в славистике обращается внимание на необходимость различать понятия «южнославянский» и «балканославяно-ский», что связывается в первую очередь с различным подходом (преимущественно генетическим либо типологическим) к изучению славянских ареальных общностей на Балканах.<sup>1</sup>

Балканославянский ареал выделяется из южнославянского на основе распространения ряда языковых особенностей, которые условно могут быть названы балкано-славянизмами. Большая часть этих языковых особенностей может быть отождествлена в структурном плане с явлениями, известными и другим балканским языкам и определяемыми в широком межъязыковом плане как балканизмы. Под понятие «балканизм» в настоящее время подводят целый ряд явлений, не равноценных с точки зрения места, занимаемого ими в языковой структуре (отдельные лексемы, конструкции, словообразовательные модели, целые фрагменты и даже тенденции развития систем и т. п.), что отражает современные представления о глубине и характере схождений языков, включаемых в балканский языковой союз. В дальнейшем, по-видимому, будет установлена иерархия балканизмов, позволяющая с большей эффективностью вести типологическое изучение ареальной общности, каковой является балканский языковой союз.

Таким образом, балканославянский ареал, или ареальная общность, об особенностях которого пойдет речь далее, теоретически может быть представлена как зона наложения двух многоязычных ареальных комплексов — южнославянского (ЮС), с одной стороны, и балканского языкового союза (БЯС) — с другой. Эти комплексы сформировались в разное время, и потому их «наложение» следует рассматривать как длительный процесс взаимодействия двух ареальных общностей, в результате которого образуется третья, включающая болгарские, македонские и часть сербскохорватских диалектов.

Уже в силу своего положения балканославянский ареал характеризуется рядом особенностей, важнейшие из которых заключаются в том, что он занимает центральное место в рамках балканского языкового союза и «раскрыта» в северо-западном направлении. Последнее следует понимать в том смысле, что в указанном направлении не существует каких-либо резких языковых границ, препятствующих контакту в условиях южнославянского диалектного континуума.

На первую из указанных особенностей уже неоднократно обращали внимание ученые, занимавшиеся исследованием генезиса

<sup>1</sup> В более старой традиции существовала тенденция, проявляющаяся иногда и в настоящее время, подмены понятия «балканославянский» понятием «болгарский», что, как будет показано ниже, не имеет никаких оснований и представляет собой смешение различных по происхождению ареальных образований.

балканских языковых явлений и роли отдельных балканских языков в формировании БЯС. Обычно в таком географическом положении славянских языков и диалектов в БЯС хотели видеть их исключительную роль в процессе складывания балканской языковой общности, и прежде всего в отношении порождения и распространения на окружающие неславянские территории балканских инноваций. При этом, естественно, имело место, возможно, неосознанное отождествление географического центра БЯС с центром иррадиации языковых новшеств и соответственно более отдаленных от центра территорий — с периферией. Определенное влияние на формирование таких взглядов могла оказать и классическая модель ареальной лингвистики — романский мир, административно-географический центр которого (Рим) очень часто был и центром иррадиации инноваций.

Однако более распространенной была и продолжает оставаться противоположная точка зрения, согласно которой славянским языкам, именно в связи с их центральным положением в БЯС, отводится роль пассивных получателей и передатчиков балканских инноваций, центры зарождения и распространения которых находятся на окружающих неславянских территориях. Со временем появления основополагающей для балканистики как специальной отрасли науки книги К. Сандфельда «Балканское языкознание» (1934) для каждой из типичных балканских черт исследователями был совершен почти полный перебор всех возможных источников за пределами балканославянского ареала, что привело к кризисному состоянию в самой лингвистической балканистике, поскольку существующие методы исследования не позволяют однозначно решать ее основные задачи.

Своебразным компромиссом указанных двух подходов к интерпретации наблюдаемых фактов является третья точка зрения, в соответствии с которой многие балканские явления могли зародиться одновременно в разных точках БЯС, в том числе и на южнославянской языковой территории, в результате контактов с исчезнувшим (ассимилированным) населением, язык которого выступал в качестве субстрата в балканославянском ареале. В последнее время указанную точку зрения активно поддерживает В. Георгиев.<sup>2</sup>

Оставляя в стороне обсуждение вопроса о том, какая из существующих точек зрения представляется более приемлемой для балканистики в плане стоящих перед ней задач по установлению путей и времени формирования БЯС, следует все же признать, что центральное положение балканославянского ареала в БЯС открывает интересные перспективы. Эвристическая ценность этого факта заключается в том, что центральное положение балканославянского ареала может быть использовано для определения

<sup>2</sup> Georgiev Vl. L'union linguistique balkanique. L'état actuel des recherches. — Балканское языкознание, 1977, т. XX, № 1—2.

фронта, а в дальнейшем и направления<sup>3</sup> распространения балканских инноваций, отразившихся в различной степени в славянском диалектном ландшафте, что имеет решающее значение для установления центров иррадиации указанных явлений. Как и в других случаях при решении подобного рода задач, существенное значение имеет неравномерный характер охвата системы языка данной структурной инновацией. При этом наиболее интересными с лингвистической точки зрения оказываются случаи, демонстрирующие начальные или «запоздалые» стадии внедрения инновации, так как именно в этих случаях удаление фронта инновации от точки ее зарождения минимально.

В качестве примера рассмотрим картину распространения так называемых «регрессивных» балканских инноваций<sup>4</sup> — утраты инфинитивной формы и именных форм склонения — в указанном ареале.

Нанесение на карту данных о распространении остаточных инфинитивных форм в славянских говорах Балканского полуострова (как известно, наиболее стойко указанные формы сохраняются в конструкциях с некоторыми модальными глаголами типа *мочь*, *хотеть* и в устойчивых выражениях) выделяет значительную зону, где указанные формы полностью отсутствуют.<sup>5</sup> Конфигурация этой зоны, имеющая клинообразную форму с более широким основанием, представляет типичную «вырезку» (или скорее «врезку») с края балканославянского ареала (см. рисунок), при этом более узкая часть указывает основное направление движения данной «регрессивной» инновации, а широкая часть (основание) — приближение к центру зарождения инновации.

Еще более показательна картина утраты падежных форм в указанном ареале. Известно, что из всех имен личные местоимения в наибольшей степени сохраняют специальные падежные формы во всем балканославянском ареале. Экспансия аналитических конструкций с предлогом *на* (реже *от* в притяжательных конструкциях) привела к тому, что на большей части указанного ареала специальные формы дательного падежа сохранились только у некоторых разрядов имен существительных, а также у личных и у некоторых других местоимений (вопросительных, неопределенных и пр.), но во всех случаях они употребляются параллельно с аналитическими конструкциями. Если нанести на карту данные о распространении остаточных падежных форм дат. падежа, из-

<sup>3</sup> Понятие фронта инновации как критерия для установления направления ее распространения использовал на заре славянской ареальной лингвистики П. Бузук (см.: Б у з у к П. Лінгвістична географія як-дапаможни метод при вивченні історії мови. — *Sborník prací I Sjezdu slovanských filologů v Praze* 1929. Т. II. Praha, 1932, с. 458—475).

<sup>4</sup> Термин предложен И. Грицкат (см.: Г р и ц к а т И. Студије из историје серпскохрватског језика. Београд, 1975, с. 182).

<sup>5</sup> Более подробно см. в нашем докладе на VIII Международном съезде славистов: Ц ы х у н Г. А. Типологія синтаксічних адрознення у балкано-славянськім ареалі. Мінськ, 1978.

вестные из диалектных описаний, например личного местоимения 3-го л. ед. ч. м. р. в так называемой «полной» форме (*нему, ньему*), то довольно четко обозначается зона, где они полностью отсутствуют. На основании имеющихся данных изоглосса, очерчивающая



#### Балканославянские изоглоссы.

1 — отсутствие инфинитивных форм в конструкциях с *хотеть* (*ще дойда, ще да дойда, ке видиш, ке да продам*: *до-ща, виде-кеш, прода-шъ* и т. п.); 2 — отсутствие синтетической «полной» формы личного местоимения 3-го л. ед. ч. м. р. (на него: *нему, ньему*).

указанную зону, проходит вблизи следующих пунктов: Костур, Лерин, Неготино, Свети-Николе, Куманово, Крива-Паланка, Благоевград, Гоце-Делчев, Драма (см. рисунок).<sup>6</sup> За пределами данной зоны исключительно аналитический способ выражения отмечается на востоке балканославянского ареала — в районе

<sup>6</sup> Приблизительная изоглосса установлена по материалам многочисленных диалектных описаний и специальных работ. Из тех, в которых обращается внимание на отсутствие дат. п. личного местоимения 3-го л. ед. ч. м. р., отметим следующие: В и д о е с к и Б. 1) Кумановският говор. Скопје, 1962; 2) Заменските форми во македонските дијалекти. — Македонски јазик, 1965, т. XVI; Шклифов Б. Костурският говор. София, 1973; К у ш е в с к и М. Делчевски градски говор. — Македонски јазик, 1958, т. IX, № 1—2; С т о и л о в Хр. П. Горно-дикумайски говор. — СбНУ, 1904, XX; П е е в К. 1) Белепки за лексиката и фразеологјата од Струмичко. — Македонски јазик, 1968, т. XIX; 2) Кон разграничување тој на гевгелискиот и до ранскиот говор. — Македонски јазик, 1973, т. XXIV; М и р ч е в К. Неврокопският говор. София, 1936; Христов Г. По-забележителни особености на кукушко-дойранския говор. — Македонски преглед, 1936, X, 1—2; М ла д е н о в М. Бележки по говора на с. Куфалово, Солунско. — Български език, 1977, т. XXVII, № 6; И в а н о в И. Български переселнически говори. Говорите от Драмско и Сярско. Ч. 1. Типологическа характеристика и описание на говорите. София, 1977; Г о л о м б З. Два македонски говора (на Сухо

Сливена.<sup>7</sup> Оставляя этот островной ареал на данном этапе рассмотрения в стороне, обратим внимание на удивительное сходство основных ареалов двух рассмотренных «ретрессивных» инноваций, которое нельзя признать случайным. Указанное сходство, по-видимому, дает основание считать, что обе инновации имеют одинаковое направление распространения и близкие центры иррадиации. Локализация последних в северной Греции представляется доказанной, однако из этого не следует, что источник инновации находился непременно в греческом языке. Можно согласиться с мнением М. Павловича, который рассматривал центральную часть Балканского полуострова (и в частности, южную Македонию и Эпир) как зону симбиоза различных этносов и языков, своего рода языковой «котел», который мог быть источником балканских инноваций.<sup>8</sup> Интересно, что уже Ф. Корш локализовал в северной части Греции основные центры инноваций для новогреческого языка.<sup>9</sup> Таким образом, можно предполагать, что свой вклад в создание указанных балканских инноваций внесли многие языки и народы, в том числе и исчезнувшие, жившие и живущие в данном районе. Разумеется, нет оснований считать, этот район единственным центром, из которого распространялись балканские инновации. Рассмотрение балканских (и балканославянских) в качестве системных, а не аномальных явлений допускает возможность их появления в различных точках ареала, однако, по-видимому, не одновременно: один из центров данной инновации, более «ранний» по времени возникновения и наиболее мощный, следует признать основным, другие же, возникающие позже на некотором отдалении от основного инновационного ареала, — второстепенными или сопутствующими, характерными для продвинутой стадии экспансии данной инновации.

Другой из отмеченных особенностей балканославянской ареальной общности является ее «раскрытость» в сторону остальных южнославянских диалектных территорий, что открывает перед балканославянскими инновациями возможности для дальнейшего продвижения в направлении на северо-запад. В указанном направлении балканославянская ареальная общность не имеет четких границ — они диффузны и охватывают широкую зону сербскохор-

и Висока во Солунско). — Македонски јазик, 1962—1963, т. XIII—XIV; M a z o n A., V a i l l a n t A. L'evangélique de Kulakia un parler slave du Bas-Vardar. Paris, 1938, и др. Характерно, что указанная форма отсутствует даже в песнях, обычно сохраняющих более архаическое состояние, ср.: Малешевски народни песни. Скопје, 1959.

<sup>7</sup> Ср.: П а н а й о т о в П. Сливенският говор. — СБНУ, 1901, XVIII, с. 516; M i l e t i c L. Das Ostbulgarische. Wien, 1903, S. 201; С т о й к о в Ст. Говор села Твърдицы (Сливенской околии в Болгарии) и села Твардицы (Молдавской ССР). — В кн.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Вып. 8. М., 1958, с. 28.

<sup>8</sup> П а в л о в и ћ М. Перспективе и зоне балканистических језичких процеса. — Южнославянски филолог, 1958, т. XXII, с. 79.

<sup>9</sup> К о р п Ф. Е. Мысли о происхождении новогреческого языка. Одесса, 1896, с. 11—14.

ватской диалектной территории, которую можно рассматривать как периферию балканославянской ареальной общности. Такая асимметрическая структура балканославянского ареала (в плане центр—периферия) составляет его специфику и имеет определенное значение при решении вопроса о путях его формирования. На эту особенность также обращали внимание, отмечая, что «перед зонами большинства балканализмов, расширяющих свою сферу, лежат обширные пространства, где процесс образования этих явлений находится в зачаточном состоянии либо на ранних стадиях развития».<sup>10</sup> Последнее особенно важно для создания типологической модели развития балканских языковых особенностей и установления его этапов.

Роль данных сербскохорватских диалектов, дающих пространственную проекцию хронологической последовательности распространения отдельных явлений или их разновидностей, для исследования балканистических процессов трудно переоценить.<sup>11</sup> Так, например, при решении вопроса о происхождении и направлении распространения такой типичной балканской инновации, как реприза именного дополнения, существенное значение имеет установление относительной хронологии двух разновидностей указанного явления — удвоения местоимений и местоименного повтора имени существительного (или именной группы), выступающих в функции дополнений. Как показывают описания сербскохорватских диалектов, вторая разновидность указанного явления (типа *да гу умеси погачу*) известна на более узкой территории и охватывает южную часть Косова и Метохии, а также говоры восточной и южной Сербии; первая же из указанных разновидностей (типа *да му ънему, мене ме зове*) продвинулась значительно на северо-запад, включая говоры Черногории и весь косовско-ресавский диалект. Принимая во внимание возможность различного «сопротивления» диалектных систем каждой из рассмотренных инновационных разновидностей, все же следует признать, что первая из них, по-видимому, более ранняя, что и отразилось в ее продвинутости в указанном направлении. В свою очередь этот факт свидетельствует о происхождении инновации эмфатическом, а не в результате необходимости компенсировать функцию утраченных грамматических показателей (падежных окончаний). Поскольку же происхождение репризы дополнения не является следствием утраты именного склонения, то тем самым отпадают основания для идентификации направления распространения обеих инноваций в рамках балканославянского ареала и возможных центров их иррадиации в балканском языковом союзе.

<sup>10</sup> I w i ó P. Podstawowe cechy charakteryczne rozmieszczenia i zoglos poludniowosłowiańskiego obszaru językowego. — In: Z badań nad językami Jugosławii. Warszawa, 1961, S. 120.

<sup>11</sup> Cp.: S e d l á č e k J. Význam studia srbocharvátského jazyka pro balkanistiku. — In: Studia Balcanica Bohemoslovaca. Brno, 1970, s. 291—294.

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОНГОЛЬСКОГО АРЕАЛА  
В СИСТЕМЕ АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

В настоящее время лингвистами обсуждаются две основные гипотезы происхождения языков, объединяемых в три ветви алтайской языковой семьи: тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую. (Они были объединены по сходству фонетической, морфологической и синтаксической структур. Для всех этих языков характерны закон сингармонизма, агглютинативный строй, определенная синтаксическая конструкция: изменяется форма глагола всегда на конце). Эти сходства еще в XIX в. начали объяснять генетическим родством, происхождением всех алтайских языков из единого языка-основы или праязыка (генетическая гипотеза). Однако лингвистические доводы в пользу генетического родства оказались недостаточными. Различия в базисной лексике числительных опровергли гипотезу праязыка и ставили под сомнение само существование алтайской языковой семьи. Генетическое родство алтайских языков стали опровергать, выдвинув вторую гипотезу, объясняющую сходства между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, заимствованными в ходе исторических контактов. Как представители первой (А. Кастрен, Г. И. Рамstedt и др.), так и второй (Дж. Клосон, А. М. Щербак и др.) гипотезы оперировали языковыми данными, т. е. опирались на узкую источниковедческую базу, хотя Дж. Клосон пытался привлечь данные истории, а некоторые выводы обосновать методами естественных наук. Так, например, лексико-статистический анализ Дж. Клосона опирается на глотохронологическую методику Сводеша, основанную на применении к истории языков датировок по закономерностям распада радиоуглерода. Однако при этом источниковедческая база — чисто лингвистическая — остается неизменной.

Для постановки частных, языковедческих проблем выработанные лингвистикой методики бесспорно очень важны и результативны. Однако более общую проблему — проблему формирования монгольского ареала в системе алтайских языков — невозможно решить при любой методике, основываясь на материалах языка, без привлечения данных смежных наук. В настоящем небольшом исследовании, привлекающем материалы различных исторических дисциплин, автор предпринимает опыт приложения этих материалов к истории формирования монгольских языков. Исходной посылкой служит известное положение о том, что язык формируется и развивается неразрывно с формированием и развитием народов — носителей языка. Следовательно, языковое мышление, в частности монгольских народов, отражает все стороны их хозяйствственно-культурного типа, бытовой культуры, социальной жизни, этнических процессов в различные периоды их истории, основные

черты их духовной культуры — словом, определенный стереотип переходящих из поколения в поколение устойчивых форм материального производства, норм поведения, восприятия и сознания, которые общи для этой группы народов и позволяют в комплексе отграничивать эту группу от другой группы кочевых или оседлых народов. При этом необходимо заметить, что этническую специфику в языке и культуре в процессе развития монгольские народы сохранили, как это нами выяснено,<sup>1</sup> не во всех деталях, а лишь в основных, доминантных чертах, повторяющихся без изменений в течение тысячелетий. Именно эти черты связаны с процессами воспроизведения обусловленных природной средой форм хозяйственной деятельности и самого коллектива производителей. Они вобрала в себя более ранние пласти, сохранив из них все наиболее целесообразное, и поэтому жизнеспособное, в суровых условиях Центральной Азии. Изменениям подвергалось лишь то, что не было строго проверено практикой, методом «проб и ошибок», т. е. было лишним, могло быть, а могло и не быть. Ведь и само сначала охотниче, а затем скотоводческое хозяйство на территории Центральной Азии возникло и сохранилось как единственная возможность для человеческих коллективов выжить и развиваться.

Естественно, что эта специфика (экстенсивность форм хозяйственной деятельности и бытовой культуры) и отразилась в монгольской лексике, которая в своем базовом составе поразила Дж. Клосона редкой устойчивостью к изменениям. Так, например, поставив задачу доказать отсутствие генетического родства алтайских языков, он с помощью лексико-статистического анализа базовой лексики продемонстрировал, что тюркские и монгольские языки в течение многих сотен лет, несмотря на постоянные контакты, развиваются параллельно, не образуя единого, смешанного, языка. Им несомненно доказано, что в тюркских языках изменчивость базовой лексики за тысячу лет составила лишь 1%, а в монгольских — 1% за 700 лет (более ранние письменные тексты отсутствуют). Таким образом, им были установлены внутригрупповая устойчивость и межгрупповые различия в базовой лексике между тюркскими и монгольскими языками. Этот вывод Дж. Клосона сомнений не вызывает и опровергнут не был. Монгольские лингвисты (Монолжамц, Лувсанвандан) установили, что и фонетическая система монгольского языка сложилась в глубокой древности и не претерпела существенных изменений с XIII в., когда она была зафиксирована монголоязычными памятниками письменности. Отдельные морфологические единицы, характеризующие в целом всю морфологическую структуру монгольских языков, зафиксированы китайскими летописями; повествующими о предках монгольских кочевников. Так, например, ими зафиксирована сяньбийская глосса, обозначающая числительное «тридцать»

<sup>1</sup> Викторова Л. Л. Роль стереотипа культуры в этногенезе монголов. — В кн.: Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978, с. 5—14.

(γucin),<sup>2</sup> которое встречается и в XIII в., в первой монгольской хронике «Сокровенное сказание», и сохранилось неизменным до сих пор. Числительное «пять» -tab-un-tab зафиксировано у потомков сяньбийцев киданей, которые в раннем средневековье были вассалами тюрков, а в X—XI вв. владели всей Центральной Азией и частью Северного Китая. Этот народ создал свою письменность, имевшую силлабический строй, основанную на иероглифическом начертании слогов и формантов падежей и послелогов. Таким образом, есть все основания утверждать, что лексика и морфология монгольских языков (как и фонетика) имеют в своей основе очень древний пласт. При этом В. М. Неделяевым, анализировавшим формальную структуру киданьских текстов (камнеписных памятников), установлена их монгольская синтаксическая система.<sup>3</sup> Известно из данных китайских летописей, что кидани и сяньбийцы являются прямыми потомками племен дунху, упоминаемых в I тыс. до н. э. Эта группа родственных народов на протяжении многих столетий занимала территорию Восточной Монголии, Забайкалья, южной Маньчжурии и часть Северного Китая. Топонимические названия этого региона монголоязычны. Они относятся к древнейшему типу топонимов и отражают особенности местности. Особенно важно наблюдение Э. М. Мурзаева, который установил, что монгольские топонимы встречаются в местностях, где ныне монголы не обитают и где монгольская топонимика либо сосуществует с топонимом ныне живущего народа, либо замещается им, причем более новый топоним обычно является калькой с более древнего монгольского.<sup>4</sup> Западнее ареала распространения монгольских топонимов расположен ареал тюркский, перекрывающий частично еще более ранний ираноязычный. К востоку же монгольский ареал сменяется ареалом маньчжурским. Тип монгольских топонимов позволяет говорить о том, что они сложились в процессе освоения далекими предками современных монголов незаселенных пространств: об этом свидетельствуют топонимы типа Хара-ус-нур ('Озеро с прозрачной водой'),<sup>5</sup> Шара-усу ('Желтая вода'), Туул мурэн ('Таймень река') и т. п. В северных, лесных районах Монголии сохранились названия, не читаемые с монгольского, что говорит о сравнительно позднем заселении этих районов монголоязычными племенами, например, название р. Селенга — от тунгусского *сэлэ(нгэ)* — 'Железная'. Таким образом, подводя итоги данных по монгольским языкам, их лексике, фонетике, синтаксису, морфологии, сопоставленным с данными

<sup>2</sup> Монгольское прочтение глассы принадлежит П. Пельо и Л. Лигети (см.: Ли гети Л. Рец. на кн.: Сайн жеев Г. Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. Т. 1. М., 1953. — ВЯ, 1955, № 5, с. 137—138).

<sup>3</sup> Стариakov В. С., Надеяев В. М. Предварительное сообщение о дешифровке киданьской письменности. М., 1964.

<sup>4</sup> Мурзаев Э. М. Центральная Азия. — В кн.: Зарубежная Азия. М., 1966.

<sup>5</sup> В монгольском языке слово *хара* имеет значения: «черный», «северный» (в значении страны света) и «прозрачный» (т. е. бесцветный), когда говорят о жидкости, напр., *хар шол* 'бульон чистый, без заправки, прозрачный').

исторических источников и топонимики, можно с уверенностью сказать, что монгольские языки с очень древнего периода формировались самостоятельно и развивались параллельно с другими языками алтайской языковой семьи.

Различия между монгольскими и тюркскими языками наиболее четко прослеживаются в системе счета. Нами была проанализирована система счета по наиболее древним из сохранившихся памятников письменности, так как именно они позволяют по чрезвычайно показательной морфологической группе (числительным) выявить различия тюркской и монгольской систем. Не говоря уже о том, что соответствующие однотипные количественные понятия числительных первого десятка обозначаются разными лексемами в тюркских и монгольских языках, например: «один» — *нэгэн* (монг.) и *бир* (турк.), «пять» — соответственно *тавын* и *бэш*, даже «тридцать» — *гучин* и *отуз* и т. п., монгольские и тюркские числительные восходят к различным системам счета, что и нашло отражение в памятниках письменности средневековья. Так, например, в монгольской системе счета числительные второго десятка образуются путем прибавления единиц к первому десятку (*арван хоер* — «двенадцать»). В древнетюркских же памятниках отражена система счета, в которой числительное «двенадцать» образуется путем взятия двух из второго десятка (*ики игирми*). Системы счета у наследников Центральной Азии складывались начиная с самой далекой древности. Как и у многих других народов, традиционные системы счета образовывались по принципу: «Человек — мера всех вещей».

Уже в раннем палеолите (200—100 тыс. лет назад), судя по оставшимся на территории Монголии орудиям труда и бытовым предметам, население Монголии отлично умело соразмерять величину предмета с его назначением и широко тиражировать однотипные предметы с сохранением их пропорций. Пропорции же соответствовали мерам с помощью кисти руки. Это рано возникшие меры применяются и теперь в быту монголов. От них происходят и некоторые числительные центральноазиатских кочевников. Так, например, установлено, что числительное «пятьдесят», встречающееся в древнетюркских текстах, происходит от названия кисти руки (*елик*). Монголы используют для обмера и изготовления бытовых предметов в домашних условиях такие меры, как ширина пальцев, длина сустава, расстояние между раствором большого и указательного пальцев, локоть, размах рук; расстояния измерялись мерой, в основу которой было положено расстояние, на которое доносился звук голоса, или расстояние, которое мог проскальзать всадник без отдыха (около 25—30 км) и т. п. О применении уже в палеолите этого типа мер свидетельствуют и отпечатки кисти на памятниках палеолитического искусства Монголии. Охотничьи снаряжение, орудия для обработки охотничьей добычи и изготовления одежды из шкур животных во множестве находят археологи на территории МНР. Эти орудия соответствуют мерам, в основе которых — размеры кисти руки. Этот тип мер до сих пор

используется при изготовлении одежды, луков, стрел, полотнищ палаток, седел и т. п. При этом названия даже сходных мер отличаются в тюркском и монгольском языках, а сами меры отличаются (например, за основу берется раствор разных пальцев).<sup>6</sup> Таким образом, такая важная группа, как числительные, восходящая к древнейшим системам счета, различна у тюркских и монгольских народов.

Рассмотрим далее еще некоторые группы понятий, о которых нам известно, что они сложились еще в древнейший период, когда население Центральной Азии осваивало эту территорию и вело охотничье хозяйство, т. е. в палеолитической древности. Здесь в качестве реликтов этой древности следует рассмотреть целый пласт понятий, относящихся к охоте и охотничьему быту. В монгольском языке охота коллективная, загоном, называется *агнуур*, а охота на хищных диких животных — *гоороо*. Лишь для облавной охоты, требующей большого числа участников, в монгольском и тюркском языках имеется один термин — *ав/ава*. Очевидно, охотничье хозяйство предков монгольских и тюркских народов на территории Центральной Азии прошло несколько этапов: наиболее ранней была охота облавой, затем загоном (коллективные виды охот), лишь позднее, с началом применения лука и стрел, стал распространяться способ индивидуальной охоты. С развитием охотничьего хозяйства, с включением в объекты охоты более разнообразных видов пушных животных, стал развиваться и лексический состав соответствующих понятий. Наиболее развитой осталась охотничья терминология у тунгусских народов, для которых охота осталась основным видом хозяйственной деятельности еще в начале XX в. У тунгусов обычно понятия, связанные с охотой, вполне конкретны и имеют смысл «добыть зверя» (т. е. само понятие «охота» еще не абстрагировалось от конкретного действия). При этом в каждом случае речь идет о конкретном звере (соболе, лисице, олене). В зависимости от намеченного зверя меняются и термины, обозначающие действие. У алтайских народов, перешедших к другим типам хозяйства (земледелию, кочевому скотоводству), не сохранились столь дифференцированные, конкретные понятия, связанные с охотничьей стадией хозяйственной деятельности. Правда, в текстах летописей XIII—XIV вв. у монголов бытуют названия «соболевщики» или «белковщики» (*bulaγacın*, *keregүčin*), но они лишь определяют род занятий некоторой части древнемонгольских племен.

Проверка базовой лексики, связанной с охотничьим хозяйством, также показывает их внутргрупповое сходство и межгрупповые различия. При этом характерно, что названия крупных животных, которые были объектами коллективной охоты еще

<sup>6</sup> Подробнее о мерах см.: Викторова Л. Л. Монгольская одежда. — Сб. МАЭ, 1977, № 32, с. 172; Потапов Л. П. Материалы по этнографии тувинцев районов Монгун-Тайги и Кара-Холя. — Тр. ТКАЭ, 1960, с. 199; Дьяконова В. П. Материалы по одежде тувинцев. — Там же, с. 241.

в период палеолита, общи для тюркских и монгольских языков, например, *буга/бугу/бука* — 'бык', 'олень-самец', *ав/аваа* — 'облавная охота'.

Наличие этих видов животных, служивших основными объектами охоты в столь глубокой древности, подтверждается наскальными рисунками в пещерах МНР, а также другими археологическими находками. Названия некоторых наиболее древних типов метательного оружия, употреблявшихся еще в палеолите, также сходны в определенных группах алтайских языков. Так, например, в монгольском и тунгусских языках общее название копья — *jida*, тунг.-барг. *гida*, а в тюркских соответственно: Древнетюркский словарь (ДТС) — *sünü*, чаг. — *süryj*. Аналогично и название ножа: ДТС — *bičaq*, чаг. — *rıčaq*, монг. — *kituga*, негид., тунг.-барг. — *комо*. Но названия для появившегося в мезолите типа оружия дальнего боя — лука — различны в тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской группах языков: монг. — *нүм* (древн. форма — *пүтип*), чаг. — *yal*, ДТС — *я*, тунг. — *барг.-бер.*, негид. — *böyp*. Сопоставление данных археологии и языка позволяет говорить о том, что в палеолите, когда еще коллективная охота на крупного зверя была основой хозяйственной деятельности, сложились понятия, связанные с этим типом охоты. Они общи для тюркской и монгольской групп языков. Об их древности говорит и тот факт, что это, как правило, односlogовые слова, которые в алтайских языках были наиболее ранними. В понятиях, которые складывались в более позднее время, наблюдается уже большая дифференциация лексики, отражающая наличие ареалов, тесно связанных и взаимодействующих между собой. Намечается и большее разнообразие в понятиях, связанных с охотой, когда она из коллективной (или параллельно с нею) стала индивидуальной благодаря изобретению оружия дальнего действия.

Проведенное языковедами сопоставление слов основной лексики, связанной с понятиями о человеке, частях его тела, явлениях природы, окружающем мире, показывает полную внутригрупповую устойчивость и столь же разительное межгрупповое различие, т. е. свидетельствует о многовековом параллельном развитии этих трех групп языков. Так как указанные понятия формировались в процессе становления самого человека и освоения им территории Центральной Азии и прилегающих пространств, можно заключить, что период какой-то языковой общности относится к глубочайшей древности. Лексико-статистический анализ Дж. Клосона позволяет наметить возможный начальный этап формирования этого периода параллельного развития прототюркских, протомонгольских и прототунгусских языков. Исходя из того, что в монгольских языках за 700 лет заменился лишь 1% слов базовой лексики, можно узнать, за какой период должен был бы замениться весь ряд диагностических единиц в 100 слов:  $100/X = 1/700$ , т. е. за 70 000 лет. Таким образом, начальный период некоей аморфной алтайской языковой общности должен быть отнесен к среднему палеолиту на территории Центральной Азии. Из-

вестно, что она в то время была уже заселена группами бродячих охотников. Ими оставлены вещественные памятники в виде орудий труда и оружия из кремня, яшмы и других пород камня. Некоторые из них, модифицированные и позже выполненные в другом материале (ножи, скребки, наконечники копий и т. п.), дожили до наших дней. Они являются «живой стариной», для исследователя — реалиями глубокой древности.

Благодаря успехам многолетних работ советско-монгольских историко-культурных экспедиций (руководитель А. П. Окладников) достоверно установлено, что со времени заселения человеком Центральной Азии в нижнем палеолите на территории современной МНР непрерывно существовали и развивались, переходя от одного культурно-исторического этапа к другому, многочисленные коллективы первобытных охотников, позднее освоивших неолитическое земледелие, а затем перешедших к кочевому скотоводству, более рентабельному в суровых условиях этого региона. Таким образом, подсчет времени начального этапа формирования монгольского, тюркского и тунгусо-маньчжурского ареалов и их параллельное существование при взаимных контактах в маргинальных зонах не противоречат данным ни лингвистики, ни археологии, ни истории, ни этнографии, ни топонимики (о ней шла речь в начале).

Следует отметить, что, говоря об общности на начальном этапе формирования алтайских языков, автор настоящей статьи не имеет в виду единый язык для всего населения этой территории, позднее распавшийся на самостоятельные языки. Этот процесс нам представляется значительно более сложным. В первобытных общинах охотников среднего палеолита, ставших потомками более раннего населения, проникавшего, видимо, из соседних, более густо заселенных областей Средней Азии, Дальнего Востока и южных районов, не могло быть единого языка. Для этого у них не было единой широкой и развитой экономической базы, не могло быть и политического единства как необходимых предпосылок образования такого единого языка. Отсутствовали и средства достаточно постоянной коммуникации между разбросанными на дальние расстояния общинами. Известно, что для прокорма одной общине необходима охотничья территория во многие сотни квадратных километров. Поэтому исторически наиболее достоверной формой существованияprotoалтайских языков было в тот период состояние, названное С. П. Толстовым «лингвистической непрерывностью». Оно характерно тем, что каждая из живших на данной территории общин говорила на своем языке, в котором был ряд слов, употреблявшихся и их ближайшими соседями. При этом даже взаимопонимаемые слова могли в своем фонетическом оформлении частично отличаться по одному или более звукам (так, как и теперь различаются диалекты). По мере территориального удаления эти различия увеличивались и группы, разделенные большими расстояниями, уже не имели общего языка. Эта языковая ситуация была достаточно аморфной, но вместе с тем

тибкой и способной к развитию. По мере развития производства, его специализации, связанной с освоением природных богатств, расширением обмена, военными столкновениями, создавались культурно-исторические центры. Языки населения таких центров, объединявших более слабых соседей, становился нормативным и общепринятым. Он обогащался за счет языков соседей или привнесения новых понятий, выработанных более дальными народами, в процессе обмена, брачных связей и т. п.

Внутри ареала устойчивость выработанных понятий и их словесного выражения поддерживалась механизмами кровнородственных межпоколенных связей, жесткой системой социализации в определенной среде. В качестве примера таких устойчивых норм можно привести монгольскую ориентацию на плоскости: определяя часть света, монголы осмысляют ее как незамкнутое пространство и говорят *յуг*, т. е. «сторона света». В древнетюркских же памятниках четко зафиксировано отношение к направлению как к замкнутому пространству: древние тюрки пишут в одинаковой с монголами ситуации *tört buluç kor* — «четыре угла света». Монголы и родственные им народы поклонялись Солнцу в зените. Их юрта ориентировалась входом на юг. «Перед» монголы ассоциируют с понятием «юг», обозначая одним словом — *уръд*. Тюрки же поклонялись восходящему Солнцу и ассоциировали «перед» и «восток», также обозначая их одним названием: *ilgärgü*. Эти же представления о членении пространства нашли отражение и в планировке древних (и более поздних) городов и поселений. Так, например, в полигатической империи Хунну планировка городищ, расположенных в ареале расселения протомонгольских племен, соответствует понятию о странах света: они расположены стенами по странам света, прямоугольны. Одновременные с ними по датирующим признакам (керамика), но расположенные западнее городища (где были центры хуннской культуры) расположены углами по странам света, ярко отражая этнокультурный стереотип, устойчиво сохранявшийся веками. Эта неразрывная связь языка и этнокультурного стереотипа и их проявления во всех деталях повседневного быта создавали ту сверхстойкость к изменениям, что так характерна для тюркских и монгольских языков начиная с глубокой древности.

В. Я. БАБЕНКО

### УКРАИНЦЫ БАШКИРИИ КАК МАРГИНАЛЬНАЯ ГРУППА УКРАИНСКОГО ЭТНОСА

Украинцы Башкирии представляют значительную часть населения республики, занимая шестое место после русских, татар, башкир, чувашей и марийцев. По состоянию на 1979 г. украинцев в Башкирии насчитывается 75 571. Первые украинские переселенцы

на территории Башкирии появились в начале XVIII в. На протяжении XVIII—XIX вв. заселение украинцами земель Башкирии проходило очень медленно. Колонизация носила насильственный характер, переселение проводили по распоряжению властей. По материалам всеобщей переписи населения 1897 г., в Уфимской губ. насчитывалось 4996 украинцев.

После буржуазных реформ второй половины XIX в. переселение украинцев в Башкирию усиливается. Это связано с отменой крепостного права и переходом экономики на капиталистический путь развития. В центральных губерниях России, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике начинается быстрый процесс обезземеливания большой массы крестьян. Особенно быстро этот земельный голод сказался на центральных и северных губерниях Украины: Полтавской, Черниговской, Киевской и Подольской, которые породили основной поток переселенцев на новые земли, в частности в Башкирию. Переселение было вызвано также сохранением многочисленных остатков крепостнических отношений: отработки на помещиков, тяжелые выкупные платежи, помещичье землевладение. Особенно усилился переселенческий поток во время столыпинской аграрной реформы. Так, в 1912 г. в Уфимской губ. насчитывалось 56 923 украинских переселенца, т. е. украинское население за 15 лет увеличилось более чем в 11 раз.

Новый этап расселения украинцев в Башкирии начинается после Великого Октября. В Советскую эпоху освоение новых промышленных и аграрных районов на востоке страны вызвало новую волну миграции украинцев в Башкирию. Если в 1920 г. в республике проживало 67 122 украинских переселенца, то в 1939 г. — 92 289. Более компактно украинцы заселили южные и центральные районы республики, несколько менее компактно — юго-западные и юго-восточные районы, а северо-западные, северные, восточные районы не стали местами расселения украинцев. Во-первых, здесь сказалась, скорее всего, интенсивная колонизация этих районов русским населением; во-вторых, южные, юго-западные и центральные районы по своим природно-климатическим условиям были близки к родным местам переселенцев и благоприятствовали развитию сельского хозяйства, особенно земледелия. К тому же эти районы были менее населенными.

В послевоенное время численность украинцев стала уменьшаться. В 1959 г. в Башкирии насчитывалось 83 600 украинцев, в 1970 г. — 76 000, а в 1979 г. — 75 571. Это вызвано оттоком украинцев на Украину (так как главная причина переселения — малоземелье — в годы Советской власти была ликвидирована и в промышленно развивающихся районах страны), а также относительно быстрым процессом ассимиляции украинцев в Башкирии русским населением. Последнее особенно касается жителей городов и рабочих поселков, в сельской местности этот процесс идет слабее.

Сильной ассимиляции подверглись переселенцы с Украины, проживающие в Уфимском, Иглинском, Ермекеевском, Стерлитамакском (д. Дергачевка) и некоторых других районах и насе-

ленных пунктах. Видимо, здесь сказалась не только близость к городу, но и относительная изолированность их от основных районов расселения украинцев, или, как в Дергачевке, то, что основное население деревни — представители других национальностей.

Довольно интересен процесс как бы двойной ассимиляции украинцев в д. Бабенке Иглинского р-на. Оказавшись среди преимущественно белорусского населения деревни и окружающих населенных пунктов, они поддались сначала ассимиляции со стороны белорусов не только в области культуры, но и в плане национального самосознания, продолжавшейся до середины 40—50-х годов, а затем, в связи с ассимиляцией белорусов русскими, украинцы также подвергались этому процессу. Меньшее влияние испытали украинцы центральных и южных районов вследствие их компактного расселения.

Вопрос изучения материальной и духовной культуры украинских переселенцев интересовал этнографов и писателей еще в прошлом веке, но он до сих пор остается мало исследованным, хотя проблема очень актуальна для выяснения этнических процессов на территории Башкирии.

Первым описал быт украинских переселенцев в Башкирии Т. Г. Шевченко в повести «Близнецы». Проблемы несколько восполняют статьи Лукашевича-Бодрого,<sup>1</sup> О. Копыленко,<sup>2</sup> А. С. Бежковича,<sup>3</sup> также следует указать работу Г. Комиссарова.<sup>4</sup> Отдельные вопросы этнографии украинцев рассматриваются в публикациях автора этих строк.<sup>5</sup> Отрывочные сведения разбросаны по различным источникам.

При написании данной статьи использовались материалы архива Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского АН УССР, собранные во время войны украинскими фольклористами, писателями и языковедами, когда институт находился в эвакуации в г. Уфе. Также привлекались полевой материал, собранный нами в экспедиционных поездках в 1975—1980 гг., и личные наблюдения автора.

Наши наблюдения, опросы показали, что литературным украинским языком владеют немногие украинцы — те, кто закончил

<sup>1</sup> Лукашевич-Бодрый. Украинцы в Уфимском крае. — Уфимские губ. ведомости, 1896.

<sup>2</sup> Копыленко О. Українські переселенці в Башкириї. — Українська література, 1941, № 1—2.

<sup>3</sup> Бежкович А. С. Этнические особенности земледелия у народов Башкирии (XIX—XX вв.). — В кн.: Археология и этнография Башкирии. Т. 5. Уфа, 1973.

<sup>4</sup> Комиссаров Г. Население Башреспублики в историко-этнографическом отношении. — В кн.: Башкирский краеведческий сборник. Кн. 1. Уфа, 1928.

<sup>5</sup> Бабенко В. Я. 1) Весільний обряд українських переселенців в Башкириї. — Народна творчість та етнографія, 1978, № 4; 2) Сем'я і сімейні відносини українських переселенців в Башкириї. — В кн.: Всеосвітня конференція з питань етногр. і антропол. дослідження. 1978—1979 гг. Тез. докл. Уфа, 1980.

школу на Украине или освоил чтение и письмо на украинском языке самостоятельно. На производстве, собраниях украинским языком не пользуются, так как наряду с украинцами в колхозах и совхозах работают представители других национальностей. Так, в колхозе «Заря коммунизма» Стерлитамакского р-на трудятся представители восьми национальностей: украинцы, русские, немцы, башкиры и др., в колхозе «Чайка» этого же района — представители семи национальностей, поэтому языком межнационального общения является русский язык. Украинский язык сохраняется как средство общения в семье, но и в сфере семейных отношений он все более вытесняется русским. Русским языком в качестве второго или родного языка владеют 95.1% украинского населения, в то время как украинский язык называли родным 44.6%.<sup>6</sup> Дети школьного возраста редко владеют даже разговорным языком и общаются в семье на русском языке. Украинский языки знают те дети, в семьях которых разговаривают по-украински.

В меньшей степени на язык украинцев оказали влияние башкирский и татарский языки. В основном оно сводится к заимствованным из них названиям предметов, орудий труда, кушаний, перенятых у этих народов: *сабан*, *паштермак* (пятизубые деревянные вилы), *айран*, *салма*, *айда* («идем»), *малаи* («дети») и др. Влияние местного населения сказалось и на топонимике. Наряду с названиями населенных пунктов в память о тех местах, откуда приехали переселенцы, многие села носят типично тюркские названия: Чубукарап, Иртюбяк, Кульчум, Шайхали и т. д.

Несмотря на некоторую утрату украинской речи в общении, украинские поговорки, песни, сказки еще хранятся в народной памяти, оказывая определенное влияние на фольклор русских, белорусов и других народов, особенно в песенном жанре, а чувство национального самосознания украинцев Башкирии развито довольно высоко. Поддержанию национального самосознания способствуют контакты украинцев Башкирии с Украиной. В некоторых семьях приходилось видеть на украинском языке художественную литературу, песенники, грампластинки с украинскими народными и современными песнями. Этому также способствуют радиопередачи на украинском языке центрального и украинского радиовещания.

Большое значение в приобщении к национальной украинской культуре, искусству имеют гастроли украинских театральных и музыкальных коллективов, организуемые в Башкирии ежегодно. Так, только в 70-е годы гастролировали украинские театры из Ровно, Черновиц, Ужгорода, Днепропетровска, Кировограда, Донецка, Ворошиловграда, Сум, ансамбль «Подолянка». На сцене Башкирского государственного театра оперы и балета выступали А. Соловьяненко, Е. Мирошниченко, Д. Гнатюк и другие мастера

<sup>6</sup> Сведения даны СУ БАССР по состоянию на 1979 г.

украинской сцены. Ярким праздником явились дни украинской литературы в Башкирии в 1979 г.

Особую роль сыграло пребывание в годы Великой Отечественной войны в Башкирии Академии наук УССР, Киевского государственного академического театра оперы и балета, союзов писателей и композиторов УССР и других учреждений.

\* \* \*

Попав в новые условия, испытывая огромную нужду, разоряясь, переселенцы стали искать новые формы совместного проживания. Происходит образование товариществ, например в д. Нижний Кульчум Ильинской вол. Белебеевского у. образовалось Каменец-Подольское товарищество из переселенцев Подольской губ. Это приводит порою к возрождению некоторых архаических институтов. Как и на основной территории расселения украинского этноса, в XIX—начале XX в. основной формой первичной социальной ячейки была малая семья. В то же время на новой родине, особенно в Белебеевском у., вновь стали появляться неразделенные семейные коллектизы, которые существовали вплоть до коллективизации.

Неразделенная семья состояла из двух, трех, иногда четырех брачных пар двух-трех поколений. Численность таких семей достигала 18—24 человек. Во главе неразделенной семьи обычно стоял отец, если не было отца — старший брат. Были случаи, когда главой семьи становился второй или третий брат с большей хозяйственной сметкой.

Главные причины возрождения неразделенной семьи крылись в экономических условиях существования крестьянских хозяйств: низкий уровень развития сельского хозяйства, недостаток тягловой силы требовали большего вклада физического труда, а неразделенная семья имела большее количество рабочих рук, им легче было выполнять в срок сельскохозяйственные работы и сочетать их с другими ремеслами и отходническими промыслами. Второй причиной являлось малоземелье. Собрав деньги и прикупив земли, нередко неразделенная семья распадалась.

Внутрисемейный строй украинских переселенцев не отличался резко от семейного уклада у других восточнославянских народов, и прежде всего украинского. Внутрисемейные отношения строились на беспрекословном подчинении младших старшим. Сейчас — это отношения дружбы и уважения. Положение зятя «приймака» и снохи в семье бесправное. В «приймы» шли только мужчины из бедных семей, которые не могли самостоятельно завести хозяйство, они не пользовались никакими имущественными правами в семье жены. Положение снохи в доме мужа было особенно тяжелым: она не пользовалась никакими правами и находилась в полном подчинении у свекра и свекрови и других членов семьи, старших по возрасту. Самая тяжелая и грязная работа возлагалась на сноху. Разводов, по словам информаторов, не было.

Традиционного разделения труда придерживались главным образом зимой. В полевых работах принимали участие все члены семьи по полу и возрасту, только сев производил мужчина.

Браки украинских переселенцев в прошлом в основном были эндогамные (в пределах этноса). Брачные связи с башкирами и татарами не практиковались, были редки с русскими и белорусами; преимущественно они имели место в тех населенных пунктах, в которых украинцы проживали с русскими и белорусами, или в тех случаях, когда украинская деревня была относительно изолирована от других украинских сел и деревень. Сейчас довольно часто браки не только с русскими и белорусами, но и с чувашами, мордвой, татарами и башкирами. Ограничения при вступлении в брак существуют, если в брак вступают родственники по крови до седьмого колена, но были случаи, когда в брак вступали и более близкие родственники.

Свадебный обряд в основных чертах сохранился, но вместе с тем прослеживается определенное влияние русской обрядности. Особенно большие изменения в свадебном обряде произошли в последние годы — в сторону упрощения. Так, уже невесту не сажают на дежу, не расплетают косу и не покрывают голову платком. Дети, рожденные в смешанных браках, чаще записывают национальность по отцу.

Украинские переселенцы основывали поселения по 20—50 дворов вдоль речек и ручьев, а также вдоль трактов. По характеру эти поселения являлись деревнями, селами, реже хуторами. Планировка поселений уличная, одно- или двурядная. Жилищем для украинца-переселенца был дом (хата). Основным материалом для строительства жилища в юго-западных и северо-восточных лесных и лесостепных районах являлись мягкие породы дерева — липа, осина, сосна; нижние венцы рубились из дуба. Дома строили без фундамента, на дубовых стойках. С конца 20-х годов под влиянием местного населения под него стали подводить фундамент. Несмотря на наличие леса в силу традиции украинцы-переселенцы из степной зоны Украины строили плетневые мазанки и рубили дома в «заборник», а в степных районах Башкирии возводили жилища саманные, «валковые», заливные. Жилища из самана строились вплоть до середины 60-х годов. Сейчас дома повсеместно рубят из дерева, иногда строят кирпичные.

Дом ориентировали по солнцу и вдоль улицы, заботясь о том, чтобы в течение дня в доме был солнечный свет. Фасад дома выходил на улицу, однако в д. Константино-Александровке Стерлитамакского р-на на улицу была обращена глухая стена. Сейчас дома чаще строят перпендикулярно к улице, окнами на дорогу и солнечную сторону, в этой ориентировке прослеживается явно русское влияние.

До 40—50-х годов преобладают дома-комплексы, объединяющие под одной крышей жилые помещения и хозяйственные постройки; нередко в сарае или крытом дворе устраивали колодец. По словам информаторов, этот тип заимствован у немцев на

Украине и сохранился в Башкирии, не исключено и местное немецкое влияние, так как на юге республики и в Оренбуржье проживает значительное немецкое население. Если в деревнях Верхний Кульчум, Нижний Кульчум Ермекеевского р-на, с. Константино-Александровке Стерлитамакского р-на и некоторых других населенных пунктах сарай следовал в ряд с домом под одной крышей, то в с. Константиноградовке и Боголюбовке Стерлитамакского р-на сарай пристраивался к дому «глаголем» со стороны сеней. Из сеней дома и в первом и во втором случаях было два выхода: в сарай и на улицу. С 50-х—60-х годов сараи стали строить отдельно от жилищ, но и в этом случае в сенях было часто два выхода.

В основном жилища возводились двух- и трехкамерные. Планировка жилища сохранялась традиционно украинская; если сруб покупался у русских, башкир или татар, то планировка соответственно менялась. В пригородных селах традиционная планировка под влиянием городского жилища быстро утратилась. В настоящее время наблюдается тенденция к строительству много-камерного жилища. В д. Бабенка и пос. Подольском Иглинского р-на в планировке и внешнем виде жилища ярко прослеживается белорусский тип.

Сразу по переселении в домах полы по традиции устраивались земляные, но уже в 20—30-е годы при строительстве жилища полы стали настилать деревянные. В отдельных домах земляные полы просуществовали вплоть до 70-х годов.

Влияние башкир и татар на жилище украинских переселенцев сказалось в том, что в домах уже в 30-е годы начинают настилать дощатые крашеные потолки вместо плетневых и накатниковых обмазанных.

В тех домах, где живут пожилые люди, до сих пор сохраняются традиционные элементы интерьера жилища: нары (*полик*), отапливаемые кирпичные лежанки, вышивки. Бережно хранятся предметы быта, мебель, привезенные с Украины, с ними с трудом расстаются. «Це ще з України привезли», — говорят о них. Мебель в домах фабричного производства.

Повсеместно печи устраиваются комбинированные с плитой. В с. Константиноградовке, пос. Новониколаевке Стерлитамакского р-на по бокам печи свод выкладывается кирпичом в один ряд, вследствие чего тепло быстро распространяется по комнате. Плетневые трубы у печей с конца 1920-х годов заменялись кирпичными, но до середины 1970-х годов, по словам информаторов, еще можно было встретить изредка плетневые трубы.

Крыши дома соломой; железом и черепицей крыли редко. Под влиянием русских, белорусов, башкир в Иглинском р-не стали крыть с конца 20-х годов тесом, а с конца 30-х годов широко используют дранку.

Влияния местного населения и украинцев в архитектуре были двусторонними. В Иглинском и некоторых других районах украинцы перестали обмазывать дома снаружи, в то время как

местные жители начинают обмазывать и белить дома не только изнутри, но (в Ермекеевском, Белебеевском и других районах) и снаружи. Сейчас стены домов снаружи обшивают тесом.

Традиционная одежда у украинских переселенцев выходила из обихода уже по приезде, она служила праздничной одеждой. К середине 40-х годов она полностью вытесняется обще распространенной. Быстрее традиционный костюм был заменен у мужчин. Это отмечают в материалах, хранящихся в Киеве, и украинские этнографы-фольклористы, работавшие в Башкирии в 1941—1943 гг.<sup>7</sup> Одежда сейчас распространена фабричного производства или спитая по промышленным образцам.

Главную роль в питании играют продукты растительного происхождения, на втором месте стоит молочная пища, мясная в рационе занимает меньшее место. Украинцы в основном употребляли свинину, говядину, мясо домашней птицы, меньше баранину. Конину, козье мясо не ели. Сало и мясо засаливали в кадках, позже стали солить в ящиках, теперь — в банках. В д. Бабенке Иглинского р-на под влиянием белорусов для хранения сала используются специальные корзины. Мясо также коптили; *кендюх* (рубец), колбасы на лето заливали топленым жиром. Зимой перед запуском коровы в хлев молоко замораживали.

Длительное проживание в непосредственной близости с русскими, башкирами, татарами и другими народами внесло определенные изменения в пищу украинских переселенцев. Под влиянием русских украинцы стали готовить пельмени, беляши, котлеты, щи и другие блюда; если раньше грибы в пищу почти не употреблялись, за исключением шампиньонов и луговых опят, то теперь стали заготавливать их на зиму: солить, мариновать. Из грибов с мясом готовят пельмени. Украинцы стали готовить традиционные блюда башкир и татар — чак-чак, салму, употреблять такие напитки, как айран, кумыс.

До сих пор у украинцев широко распространены национальные блюда, которые в первой трети XX в. составляли основной ассортимент питания: борщ, вареники, колбаса, начиненная кровью и гречневой кашей, — *кров'яники*, *кендюх* и др. Некоторые традиционные украинские блюда вышли из употребления, например кулеш, галушки, лемишка.

На основе изложенного выше можно сделать вывод, что этническое развитие украинских переселенцев имеет следующие тенденции.

Сохраняются некоторые национальные традиции, хотя традиционные формы культуры украинцы Башкирии утрачивают интенсивнее по сравнению с украинцами на основной территории их проживания.

Происходит дальнейшее усиление влияния русского населения на украинцев в области материальной и духовной культуры, а также усвоение ими некоторых элементов культуры башкир, та-

<sup>7</sup> Подробнее см.: АИИФЭ АН УССР, ф. 12—2/4, л. 36.

тар, белорусов и других народов, населяющих Башкирию. Влияния эти двусторонни.

На образ жизни украинских переселенцев оказывает большое воздействие современная культура.

M. A. ЧЛЕНОВ, И. И. КРУПНИК

ДИНАМИКА АРЕАЛА  
АЗИАТСКИХ ЭСКИМОСОВ В XVIII—XIX вв.

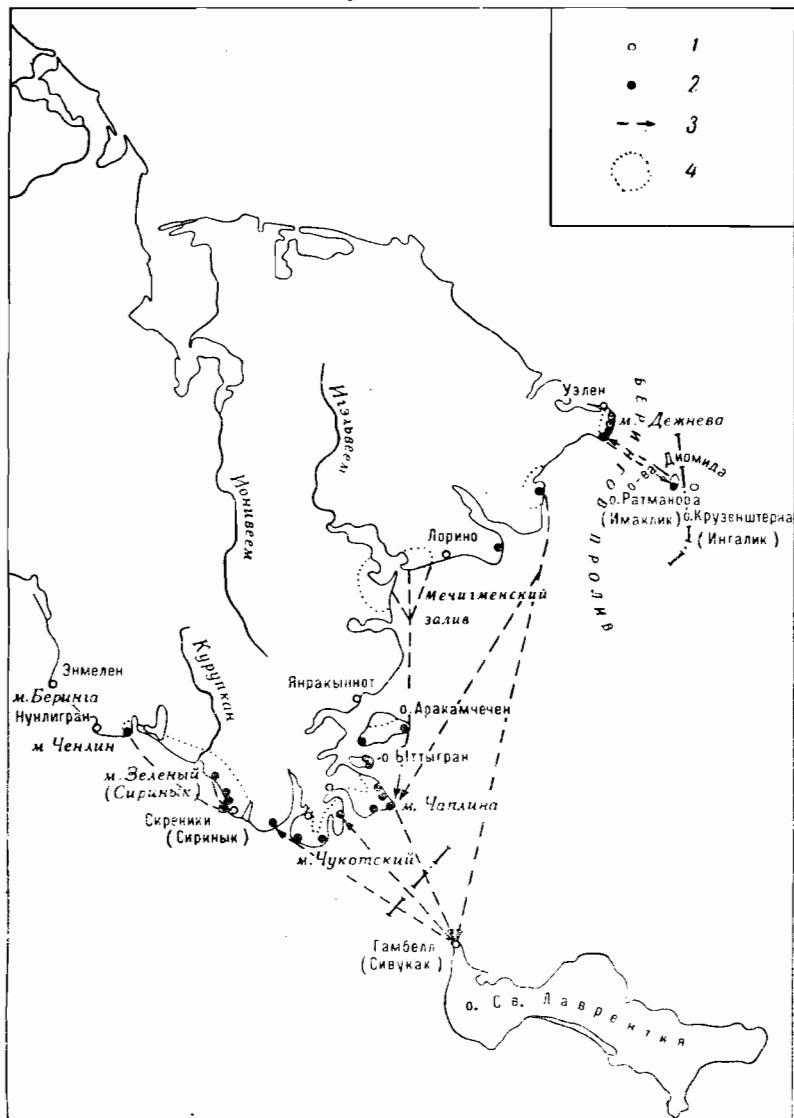
Первые документированные сведения об азиатских эскимосах, жителях побережья Чукотского полуострова, появляются лишь со второй половины XVII—начала XVIII в. Но вплоть до конца XIX в. ни один русский или иностранный нарративный источник не проводил четкого различия между эскимосами и чукчами, противопоставляя лишь «оленных чукчей» «сидящим чукчам». В число последних входили, очевидно, как эскимосы, так и приморские чукчи Чукотки.

Только тщательный анализ сведений XVII—XIX вв. дает возможность высказывать суждения об этнолингвистической принадлежности тех или иных групп берегового населения. Подробные результаты такого анализа мы предполагаем опубликовать в другой работе, здесь же используем источники иного рода. Однако можем сказать, что, по данным нарративных источников, в рассматриваемый в настоящей статье период, во всяком случае в конце XVIII—начале XIX в., на восточном побережье Чукотского полуострова азиатские эскимосы уже жили чересполосно с приморскими и даже оленными чукчами. Насколько можно судить, участок берега от бухты Лаврентия до Мечигменской губы, а скорее всего и южнее, был населен преимущественно чукотскоязычными группами. Вместе с тем есть сообщение о бытования эскимосского (чаплинского?) языка к северу от бухты Лаврентия до бухты Поутен, к которому следует отнести с вниманием, так как оно находит подтверждение в материалах полевых исследований авторов 1975—1979 гг.<sup>1</sup>

В конце XVIII—начале XIX в., т. е. в самый ранний период, для которого существуют достоверные источники, мы можем констатировать расселение азиатских эскимосов по крайней мере двумя разорванными ареалами: северный — от Уэлена до бухты Поутен, и южный — от пролива Сенявина до м. Ченлин (Санлык) (см. рисунок). Как видно, этот ареал лишь немногим отличается от границ расселения азиатских эскимосов в начале XX в.

Существенно уточняют и конкретизируют эту картину материалы, собранные авторами во время пяти экспедиций к азиатским

<sup>1</sup> Этнографические материалы Северо-Восточной географической экспедиции 1785—1795 гг. Магадан, 1978, с. 99—100.



Направление миграций азиатских эскимосов (XVII—XIX вв.)

1 — современные населенные пункты; 2 — заброшенные древние и традиционные поселения; 3 — направление миграций; 4 — предполагаемые ареалы расселения эскимосов в XVII—XIX вв.

эскимосам в период с 1971 по 1979 г. Эти материалы извлечены из многочисленных бесед с информантами старшего поколения, принадлежавшими в прошлом к различным племенным группам, а также из проанализированных опубликованных или хранящихся в различных архивах фольклорных текстов, включая записанные авторами.

Определенный теоретический интерес представляет вопрос возможности и способов датировки такого рода сведений. Нами он решался следующим образом. Если в рассказе информанта в связи с какими-либо прошлыми событиями упоминались имена конкретных людей, то мы стремились идентифицировать их по составленным нами сплошным генеалогическим таблицам, исчислить их возраст и соответственно приблизительно датировать те или иные события, произошедшие с ними. Как показывает опыт, память о событиях, в которых участвуют реальные люди, сохраняется у азиатских эскимосов приблизительно на протяжении ста лет (5—6 генеалогических поколений), т. е. самые отдаленные от нас во времени события, отчетливо сохранившиеся в памяти сегодняшних информантов, должны были происходить во второй половине XIX в. Если же рассказы о прошлом не сопряжены с действиями реальных людей или же люди, упоминаемые в них, находятся за пределами генеалогической памяти группы или вообще носят мифический облик, то повествуемые события следует относить к более раннему времени, очевидно, к XVIII—началу XIX в., а в некоторых случаях, возможно, и к предшествующему периоду. В целом же можно утверждать, что историческая память азиатских эскимосов, как, впрочем, и других северных народов, охватывает период примерно в 200—250 лет.

Основываясь на этих методологических предпосылках, мы пытались реконструировать детали расселения и миграций азиатских эскимосов на протяжении XVIII—XIX вв.

На территории самого северного азиатско-эскимосского племени нувукахмит<sup>2</sup> существовало (на м. Дежнева) по крайней мере четыре населенных пункта. С севера на юг это Мамрохпак (*Мамроҳпак*, чукотское адаптированное *Мэмрәпэн* (*Мамрепен* на картах XVIII в.), Уярак (*Уягак*),<sup>3</sup> Наукан (*Нувуқаң*, чукотское адаптированное *Нүүкән*, чаплинское *Нүүкәң*) и Нунак (*Нунаң*). Никаких преданий о жителях Уярака нам зафиксировать не удалось, из чего следует, что поселок был покинут явно не позже

<sup>2</sup> Племенное деление азиатских эскимосов дается здесь по статье: К р у п-ник И. И., Членов М. А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов. — СЭ, 1979, № 4.

<sup>3</sup> По поводу точного местоположения этого поселка существуют различные версии. Г. А. Меновщиков (М е н о в щ и к о в Г. А. Язык научанских эскимосов. Л., 1975, с. 489) локализует его между Уэленом и Науканом, т. е. к северу от Наукана. Т. С. Тейн, уроженец Наукана, пишет, что Уярак — эскимосское название мыса Пээк, расположенного к югу от Наукана (Т е и и Т. С. Эскимосское селение Наукан — историко-этнографический памятник. — В кн.: Памятники истории и культуры Магаданской области. Магадан, 1977, с. 26).

середины XIX в., скорее всего, раньше. Но свидетельством его существования является сохранившийся до наших дней внутри племенной общности науканцев клан *уягамит* (т. е. «яракцы»), живший в Наукане на северной, обращенной к м. Дежнева, стороне поселка. О Мамрохпаке можно судить в основном на основании фольклорных данных,<sup>4</sup> а также по некоторым очень смутным воспоминаниям современных науканцев. Известно несколько имен людей, якобы родившихся в Мамрохпаке, и память о самом поселке сохраняется гораздо более явственно, чем об Уяраке. Его оставление можно датировать примерно 50—60-ми годами XIX в. Наконец, еще больше воспоминаний сохранилось о Нунаке, самом южном из поселков, просуществовавшем, как можно полагать, до конца XIX в. На протяжении XIX в. из Нунака, очевидно, было также несколько волн миграций в Наукан, где нунакцы образовали ряд науканских кланов на южной стороне поселка. В конце XIX в. или, возможно, даже в первые годы XX в. последние жители Нунака, известные по именам и хорошо прослеживаемые по генеалогическим схемам, переселились частично в Наукан, где растворились в клане *майоээмит*, частично — на о. Имаклик (о. Ратманова) в группе островов Диомида в Беринговом проливе. Потомки этих последних, перебравшиеся в Наукан уже в 1930-е годы, образовали сохранившийся поныне отдельный маленький клан *нунаэмит*. Таким образом, как видно, северный ареал азиатских эскимосов последовательно сужался на протяжении XIX в., пока к рубежу XIX—XX вв. все представители племенной общности нувукахмит не оказались сосредоточенными в одном пос. Наукан, южнее м. Дежнева. Несмотря на это, впрочем, вся их бывшая племенная территория, т. е. территория выступа мыса Дежнева, хозяйственно эксплуатировавшаяся науканцами вплоть до их переселения из Науканы в 1958 г., признавалась, а частично признается и сейчас на уровне традиционного сознания «науканской землей».<sup>5</sup>

Гораздо сложнее выглядит динамика ареала южных групп азиатских эскимосов. Для крупнейшего из них, унгазигмит, или чаплинцев, можно реконструировать следующую картину. Самоназвание их происходит от пос. Унгазик на м. Чаплина, кото-

<sup>4</sup> Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М., 1974, с. 96—107, 603—604.

<sup>5</sup> Мы не рассматриваем здесь историю жителей о. Ратманова, которых все же следует относить к этнической общности не азиатских, а инуитоязычных эскимосов северо-западной Аляски. Динамика ареала их расселения до установления Советской власти на Чукотке становится понятной только в контексте этнических процессов на Аляске. В настоящее время группа ратмановских эскимосов прекратила свое существование, слившись частично с науканцами, частично с этнически близким населением о. Крузеиштерна (США), см.: *В и г с h E. 1) Eskimo Kinmen Changing Family Relationships in Northwest Alaska. St. Paul, 1975; 2) Traditional Eskimo Societies in Northwest Alaska. — In: SENRI Ethnological Studies. Alaska Native History and Culture, 1979, № 3, p. 70; К г а у с с M. E. Alaska Native Languages: Past, Present and Future. — Alaska Native Languages Center, Research Papers, Fairbanks, 1980, № 4, p. 106—107.*

рый, во всяком случае уже в XIX в., был центральным и крупнейшим поселением племени. Этническая территория унгасигмит простиралась от южного побережья о. Аракамчен на севере до входа в бухту Ткачен на юго-западе. В ее пределах существовало много поселков и стойбищ постоянного, сезонного и эпизодического характера. Некоторые находились на побережье самого м. Чаплина. Так, фольклорные тексты и воспоминания о происхождении отдельных чаплинских кланов называют на северной стороне этого мыса поселки Унгирамкыт (в 11—12 км на северо-запад от Унгасика) и Тыфляк (примерно посередине между Унгасиком и Унгирамкытом). Конкретных сведений о людях, населявших эти поселки на протяжении XIX в., у нас нет, поэтому нам остается лишь предположить, что не позже середины XIX в. ни Тыфляк, ни Унгирамкыт уже не существовали. Но память о них сохраняется, так как их до сих пор считают исконной территорией чаплинских кланов *акульдағыгыт* и *ляқағыт*. В нарративных источниках поселки эти не упоминаются, более того, все источники второй половины XIX в. рисуют Унгасик как очень крупный по масштабам Чукотки поселок с населением около 350—500 чел., т. е. самое крупное аборигенное поселение на Северо-Востоке Азии.<sup>6</sup>

Из этого можно сделать вывод, что развитие американского китобойного промысла и торговли начиная с 1850-х годов привело к переселению жителей мелких поселков м. Чаплина в Унгасик. Такая же судьба, очевидно, постигла небольшое стойбище Укигъярак (*Уқигъярак*) на южной стороне того же мыса, хозяевами которого в устной традиции считаются также *ляқағыт*.

Та же устная традиция сохранила воспоминания о миграции предков отдельных кланов или отдельных линиджей из более северных районов на племенную территорию унгасигмит. У клана армарамкыт существовало почти забытое сейчас параллельное название кайгагмит (*кайқағыт*), применявшееся ко всему клану или только к отдельным его линиджам. Армарамкыт считают, что их земля находилась к северу от бухты Лаврентия, где, южнее бухты Поутен, сохранился топоним Кайкак (чукотский адаптированный *Кэйкэй*),<sup>7</sup> несомненно эскимосского происхождения. Это предание выглядит вполне реальным, если вспомнить языковые границы конца XVIII в., отмеченные К. Мерком.<sup>8</sup> Поскольку в середине XIX в. эскимосоязычное население между бухтой Лаврентия и бухтой Поутен уже не фиксируется, становится возможным датировать переселение этой группы на юг концом XVIII—началом XIX в., что хорошо согласуется со стертостью устной традиции.

<sup>6</sup> Гондатти Н. Л. Поездка из села Марково на р. Анадыре в бухту Провидения. — В кн.: Зап. Приамурск. отд-ния РГО, 1898, т. IV, вып. 1, с. 15.

<sup>7</sup> Меновщик Г. А. Местные названия на карте Чукотки. Краткий топонимический словарь. Магадан, 1972, с. 104, 112.

<sup>8</sup> Этнографические материалы Северо-восточной географической экспедиции 1785—1795 гг. Магадан, 1978, с. 99—100.

В этот же период, видимо, исчезают и последние эскимосские группы, жившие ранее между прол. Сенявина и бухтой Лаврентия. Этот участок побережья, известный сейчас под названием Мечигмен, носил ранее эскимосское название *Масик*<sup>9</sup> и соответственно люди, жившие там, — *масигмит*. Чукчи, населяющие этот район теперь, помнят, что раньше все места в нем назывались по-эскимосски.<sup>10</sup> К *масигмит* возводят свое происхождение другой чаплинский клан — *сигунпагит*. История его переселения из Мечигмена не так проста и, видимо, длилась долго. Одна часть масигмит-сигунпагит влилась в состав племени унгазигмит и поселилась в самом Унгасике. Другая часть в течение XVIII—XIX вв. осваивала о. Йаттыгран в прол. Сенявина. Ее потомки сохранились в виде отдельной племенной группы нацакутагмит.<sup>11</sup> Наконец, третья часть, оставшись в Мечигмене, была ассимилирована и влилась в этнографическую группу береговых, или приморских, чукчей. На то, что значительная часть эскимосов меняла этническое самосознание и язык на чукотские, указывает то, что среди чукчей, причем не только среди береговых, но даже и среди оленных, до сих пор встречаются люди, помнящие, что их предки относили себя к группам с характерными эскимосскими названиями с локальным суффиксом *-мит*. Это, например, чукчи-лякамит в Уэлькале и среднем течении р. Анадырь, чукмит в Нууллугране и др.

Еще одной группой, вошедшей в состав унгазигмит и имевшей, очевидно, северное происхождение, был вымороочный сейчас клан *кигимит*, название которого происходит от эскимосского названия о. Аракамчечен — *Киги*. Конкретных воспоминаний о них не сохранилось, но еще в 1940 г. Г. А. Меновщикov зафиксировал представителей этого клана в Чаплино,<sup>12</sup> а Е. С. Рубцовой и нами записано несколько фольклорных сюжетов, в которых фигурируют люди-кигимит. Следует полагать, что их переселение с острова на м. Чаплина произошло никак не позднее середины XIX в., а скорее всего намного раньше.

К южному ареалу азиатских эскимосов несомненно относится и о. Св. Лаврентия. Миграции с этого острова на материк, как и в обратном направлении, безусловно происходили, хотя датировать их трудно. Анализ кланового состава населения пос. Сивуказ (Гамбелл) на северо-западной оконечности острова, обращенной к Чукотке, позволяет реконструировать несколько волн миграций с материка. Сейчас одним из наиболее крупных кланов в поселке являются уже упоминавшиеся нами армарамкыт, сохра-

<sup>9</sup> Меновщикov Г. А. Местные названия на карте Чукотки с. 124; Sliwook G. Sivuqam Ungipaghaatangi II. Anchorage, Univ. Alaska, 1979, р. 103, 111.

<sup>10</sup> Меновщикov Г. А. Местные названия на карте Чукотки, с. 27.

<sup>11</sup> Крупинки И. И., Членов М. А. Динамика этнолингвистической ситуации у азиатских эскимосов. — СЭ, 1979, № 4, с. 23.

<sup>12</sup> Меновщикov Г. А. О пережитках явлений родовой организации у азиатских эскимосов. — СЭ, 1962, № 6.

нившие четкие воспоминания о своем материиковом происхождении.<sup>13</sup> Внутри армарамкыт в Сивукаке до недавнего времени существовали субкланы *аватмит*, *лялькағмит* (*ляқағмит*?) и *ууазиғмит*, сами названия которых красноречиво свидетельствуют о месте жительства их предков. На материике, как известно, в отличие от о. Св. Лаврентия и армарамкыт, и ляқагмит входят в унгазигмит.<sup>14</sup> Объяснение этому может заключаться в разновременности появления этих групп на острове из различных исходных пунктов миграции. Если бы армарамкыт мигрировали на о. Св. Лаврентия, уже будучи составной частью племени унгазигмит, то они бы не отличались от представителей субклана унгазигмит, или по крайней мере слились бы с ним. Поскольку этого не произошло, остается предположить, что миграция армарамкыт с материика имела место раньше или независимо от их переселения в Унгазик, т. е. не позднее конца XVIII—начала XIX в. Скорее всего, это переселение шло из мест обитания кайкагмит-армарамкыт. Примерно тем же временем, может быть, чуть более поздним, можно датировать миграцию унгазигмит, забывших уже свою прежнюю клановую аффилиацию внутри своего племени. Ведь происходившие в начале XX в. хорошо фиксируемые на наших генеалогиях переселения ляқагмит на о. Св. Лаврентия не привели ни к утрате ими своего кланового самосознания, ни к растворению внутри группы унгазигмит.

Вообще генеалогические данные по второй половине XIX и XX в. указывают на весьма ограниченную спорадическую миграцию с материика на о. Св. Лаврентия, что ставит под сомнение распространенный в американской литературе тезис о том, что основной приток переселенцев из Азии хлынул на остров после голода 1878—1880 гг. Напротив, процесс этот был связан с этническими сдвигами на самом материике и происходил ранее, в конце XVIII—начале XIX в. Таким образом, параллельно с сокращением ареала собственно азиатских эскимосов на восточном побережье Чукотки происходило его расширение на северо-западную оконечность о. Св. Лаврентия, возможно, и на другие его части, уже ранее заселенные лингвистически близкими эскимосскими группами.<sup>15</sup> Примерно в то же время происходили и малоизвестные переселения отдельных островных групп в обратном направлении. Потомками их в середине XX в. были чукчи и эскимосы напупагмит и аткальхагмит.<sup>16</sup>

Ближайшим к унгазигмит с юга эскимосским племенем были кивагмит, или кивакцы. Уже к середине XIX в., а может быть и раньше, они были сосредоточены в маленьком пос. Кивак на край-

<sup>13</sup> Крупник И. И., Членов М. А. Динамика этнолингвистической ситуации. . . , с. 24.

<sup>14</sup> Там же, с. 22.

<sup>15</sup> Этнографические материалы Северо-восточной географической экспедиции 1785—1795 гг., с. 100.

<sup>16</sup> Крупник И. И., Членов М. А. Динамика этнолингвистической ситуации. . . , с. 23.

нем юго-восточном выступе Чукотского полуострова. Их племенная территория охватывала небольшой участок побережья от южного входа в бухту Ткачен на севере до м. Чукотского на юге и принципиально не изменялась в течение всего рассматриваемого периода. Кивагмит часто характеризуют и в литературе, и в быту как чукотско-эскимосских метисов или как смешанную чукотско-эскимосскую группу. Этот взгляд как будто подтверждается широким бытованием среди кивагмит как собственно чукотского языка, так и смешанного эскимосско-чукотского патуа. Анализируя причины подобного положения, мы попадаем в сложную и малоисследованную сферу чукотско-эскимосских взаимоотношений как в историческом, так и в синхронном аспектах. На этом полезно остановиться подробнее.

К сожалению, конкретных данных об этих взаимоотношениях очень мало, поэтому любые рассуждения на этот счет неизбежно должны принять умозрительный характер. Впрочем, такой же характер носит до сих пор и вся проблема этнических взаимосвязей на побережье Чукотки, в особенности вопрос формирования этнографической группы приморских чукчей.

Коренное население Чукотского полуострова в описываемый период допустимо разделить на следующие три группы: 1) кочевое население внутренней тундры, чукотскоязычное по всем известным источникам; 2) оседлое береговое население охотников на морского зверя, состоящее уже к началу рассматриваемого периода как из эскимосов, так и из чукчей, и сосредоточенное в сравнительно многолюдных поселках на побережье открытого моря; 3) разрозненные малочисленные полуоседлые группы, по преимуществу чукотскоязычные, практикующие смешанное хозяйство, сочетающее в себе в неразвитой форме элементы обеих предыдущих хозяйственных моделей, и расселенные по берегам полузакрытых бухт, лагун, фьордов и проливов без выхода на открытое морское побережье.<sup>17</sup> Как представляется, эта третья группа формировалась за счет оттока населения из первых двух, вызванного различными социальными и экологическими причинами. Единственно приемлемой для этой группы зоной являлись не осваиваемые ни кочевниками, ни оседлыми охотниками участки хинтерланда побережья. В силу промежуточного положения, невыгодного в экологическом плане, для представителей этой третьей группы было характерно постоянное стремление влиться тем или иным способом в состав более стабильных хозяйственных коллективов оленеводов или морских зверобоев. Стремление это, однако, далеко не всегда удавалось реализовать.

Именно эти относящиеся к промежуточному типу чукчи в большинстве случаев являлись соседями южных племен азиатских эс-

<sup>17</sup> Мы развиваем здесь модель, предложенную впервые В. В. Леонтьевым; см.: Леонтьев В. В. 1) Очерки истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Новосибирск, 1974, с. 138; 2) Хозяйство и культура народов Чукотки. Новосибирск. 1973, с. 78—83.

кимосов, в то время как кочевники-оленеводы, их партнеры по постоянному торговому обмену, жили от них на значительном удалении. Ближайшими к южным эскимосам были курупканская и колючинско-юнивеемская группы оленеводов.

Совершенно очевидно, что слабые, нестабильные, полуоседлые группы не могли оказывать ассимилирующего воздействия, хозяйственного, культурного и языкового, на сильные и устойчивые социумы открытого побережья или тундры, а, наоборот, должны были сами подвергаться их влиянию. Едва ли можно приписать им решающую роль в ассимиляции древних эскимосских поселков, таких как Уэлен, Яндагай, Нунлиграя и др., и превращении их в приморско-чукотские на протяжении всего лишь нескольких поколений. В то же время хозяйственно и культурно более развитые, чем промежуточные группы, чукчи-оленеводы вступали с эскимосами лишь в спорадический контакт и жили далеко от них. Кроме того, при смене хозяйствственно-культурного типа они неизбежно проходили названную промежуточную стадию. Таким образом, проблема сложения этнографической группы приморских чукчей продолжает оставаться пока неясной. Процесс этот следует отнести ко временам более давним, чем описываемый период, и, очевидно, объяснять воздействием каких-то совершенно иных социальных, этнических или экологических факторов, нежели те, которые мы можем проследить на протяжении последних двух-трех столетий.

В зоне фиордового побережья юго-востока Чукотского полуострова сложилась одна или несколько нестабильных полуоседлых групп с преобладанием чукотского языка. Область их расселения протянулась от материкового побережья прол. Сенявина в районе современного Янракыннота до оз. Имтук, охватывая тем самым вершины бухт Пенкигней, Аболешева, Ромулет, Ткачен, Провидения и озер-лагун Кивак и Имтук. Еще в XVIII в. представители этих групп предприняли по крайней мере две попытки к основанию более стабильных оседлых поселений. Одно из них — *Вурель*, или *Гугрэлен* (современные Урелики в бухте Провидения); другое — чукоткоязычный анклав, разорвавший эскимосский ареал в горловине фиордовой бухты Ткачен в районе бывшего пос. Чечен (эскимосский *Tasik*).

Обе эти попытки приобщиться к хозяйствственно-культурному типу окружающего эскимосского населения неизбежно привели к усилению эскимосского влияния на эти чукотские по происхождению группы. Жители Уреликов в середине XIX в. еще сохраняли чукотский облик и язык,<sup>18</sup> а к концу прошлого столетия оказались полностью ассимилированными эскимосами племени аватмит. Тасигмит, т. е. жители Чечена, смогли сохранить чукотский язык и самосознание вплоть до настоящего времени, но подверглись сильному эскимосскому влиянию, что напло отражение в рас-

<sup>18</sup> Hooper W. H. Ten months among the tents of the Tuski. London, 1853 (facsimile: New York, 1976), p. 20.

пространении чукотско-эскимосского патуа, проникновении эскимосского именника, восприятии многих черт эскимосской духовной культуры. Ближайшими их соседями были кивагмит, в свою очередь в результате длительного контакта с тасигмит, а также малочисленности, усваивавшие ряд чукотских черт. Этническое положение тасигмит неясно: в настоящее время эскимосы склонны рассматривать их как чукчей, а чукчи — как эскимосов. По смутным преданиям, в формировании чеченской группы могли принимать какое-то участие также группы эскимосов-переселенцев с о. Св. Лаврентия. Судьба той части обитателей фиордового побережья, которая осталась в стороне от оседлых поселений, сложилась иным образом. Эта сравнительно малочисленная чукотская группа, известная под эскимосским названием *нанупарагмит*, до середины XX в. сохранила хозяйственно-культурный тип третьей группы, не примкнув ни к оленеводам, ни к морским охотникам. Эскимосское влияние в их среде по сравнению с чукчами Чечена и Уреликов было незначительным. В настоящее время они в массе своей слились с янракынотской группой чукчей, и лишь несколько семей было ассимилировано эскимосами.

Наиболее стабильным южным эскимосским ареалом оставался на протяжении рассматриваемого периода на участке от м. Чукотского до пос. Сиреники (*Сигиник*). Территория между м. Чукотским и м. Лисовского принадлежала в прошлом достаточно крупному эскимосскому племени аватмит, весьма пострадавшему от голода в конце XIX в. Однако это не привело к разрыву эскимосского ареала в этом месте, подобно тому как это произошло в районе бухты Ткачен. Остатки аватмит сумели абсорбировать ряд иноплеменных элементов, в частности уже упоминавшихся уреликовских чукчей, отдельных представителей кивагмит, напакутагмит и пр.

Напротив, ареал самого западного из известных азиатско-эскимосских племен — сирениковцев, или *сигиныгмит*, испытал очень серьезные изменения, хорошо реконструируемые по данным устной традиции. Становится ясным, что в XIX в. и ранее сирениковцы и родственные им эскимосские группы осваивали территорию вплоть до м. Чеплин (эскимосский *Санлык*), к востоку от бухты Преображения. Устная традиция фиксирует между Сирениками и Нунилганом по крайней мере восемь некогда эскимосских поселков, причем сам характер преданий о них позволяет достаточно точно стратифицировать их по времени существования и угасания.

Так, для небольшого пос. Яцук (*Йақуқ*), в 6 км к северо-западу от Сиреников, фиксируются не только название его бывших жителей, но и их конкретные имена с привязкой к конкретным же событиям конца XIX—начала XX в. Для расположенных западнее поселков Кургу и Санлык известны названия их прежних обитателей — *кургузмит* и *санлыгмит*, предания о переселении их в Имтук и Сиреники, но без имен конкретных людей, совершивших эти переселения или хотя бы живших в поселках. Очевидно, эти миграции можно датировать второй половиной XIX в. и, очевидно, связывать с голодом 1880 г., о чем есть прямые упоминания в литера-

туре.<sup>19</sup> Наконец, для пос. Синрак (*Сингак*) сохранилось лишь название жителей — *синрагит*, но отсутствуют какие-либо четкие упоминания об их судьбе. Это дает возможность датировать исчезновение Синрака примерно концом XVIII—началом XIX в., поскольку о более поздних событиях мы имеем, как правило, не столь стертую информацию. Вместе с тем нарративные источники подтверждают существование этого поселка в начале XVIII в.<sup>20</sup> Имеющиеся в научной литературе гипотезы о расселении сирениковцев или каких-то других азиатско-эскимосских племен в XVIII в., вплоть до бухты Преображения или даже зал. Креста,<sup>21</sup> уже не получают подтверждения в устной традиции. Так что если это и было, то в самом начале XVIII в., а скорее всего раньше.

К 1890-м годам эскимосские обитатели Санлыка, Кургу и Якука, сильно пострадавшие от голода 1880 г., собрались за пределами своей племенной территории, в Имтуке и отчасти в Сирениках. Здесь возможности освоения ими районов к западу от Сиреников ограничились фактически Синраком, а все прочее побережье, вплоть до бухты Преображения, к концу XIX в. осталось либо незаселенным, либо эпизодически осваивалось курупканскими оленеводами-чукчами и их обедневшей полуседлой частью.

Такой представляется нам динамика ареала азиатских эскимосов до конца XIX в., когда их точное расселение было зафиксировано Н. Л. Гондатти в 1895 г., В. Г. Богоразом в 1901 г. и позднейшими исследователями. Рассмотрение этих материалов уже выходит за хронологические рамки настоящей статьи. Отметим лишь, что первая половина XX в. была временем столь же интенсивной изменчивости этого ареала, связанной с освоением эскимосами новых участков побережья в районе зал. Креста, на о. Врангеля и отчасти на островах Диомида и Св. Лаврентия.

Н. А. ТОМИЛОВ

## ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

Основными этническими тюркоязычными образованиями в равнинной части Западной Сибири в настоящее время являются сибирские татары, чулымские тюрки, казахи, пришлые поволжско-приуральские татары и их потомки. В данной работе внимание будет уделено лишь коренным группам сибирских татар (около 90 тыс.) и чулымских тюрков (около 1 тыс.). В последние десятиле-

<sup>19</sup> Bogoraz W. The Chukchee. New York; Leiden, 1904, p. 29.

<sup>20</sup> Кушнарев Е. Г. В поисках пролива. М.; Л., 1976, с. 94.

<sup>21</sup> Меновщик Г. А. Язык сирениковских эскимосов. М.; Л., 1964, с. 7—8; Этнографические материалы Северо-восточной географической экспедиции 1785—1795 гг., с. 99.

тия появилось немало статей и монографий по их этнической истории, хозяйству, культуре и быту — это общие работы З. Я. Бояршиновой, Б. О. Долгих и др.,<sup>1</sup> работы по сибирским татарам В. Б. Богомолова, Ф. Т. Валеева, Н. Ф. Емельянова и др.,<sup>2</sup> а по чулымским тюркам — исследования А. П. Дульзона, Э. Л. Львовой и др.<sup>3</sup>

В эти годы значительно возрос научный интерес лингвистов к языкам коренного тюркского населения Западно-Сибирской равнины — появились работы М. А. Абдрахманова, Г. Х. Ахатова, О. И. Гордеевой и др.<sup>4</sup> Многими из них были проведены значительные исследования по выделению этнолингвистических групп западносибирских тюрков.

<sup>1</sup> Б о я р ш и н о в а З. Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века. — ТТГУ, т. 112, 1950, с. 24—210; Д о л г и х Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960, с. 20—118.

<sup>2</sup> Б о г о м о л о в В. Б. Орнамент барабинских татар. — В кн.: Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978, с. 123—135; Б о г о м о л о в В. Б., Т о м и л о в Н. А. Характеристика орнамента томских татар. — В кн.: Из истории Сибири. Вып. 19. Томск, 1976, с. 196—213; В а л е е в Ф. Т. 1) К этнической истории тарских татар. — В кн.: Из истории Сибири. Вып. 16. Томск, 1975, с. 215—219; 2) Об этнокультурных связях западносибирских татар с другими народами во второй половине XIX—начале XX в. — В кн.: Этнокультурные явления в Западной Сибири. Томск, 1978, с. 150—158; Е м е л ь я н о в Н. Ф. Татары Томского края в феодальную эпоху. — В кн.: Этнокультурная история населения Западной Сибири. Томск, 1978, с. 73—87; Е р е м и н Г. И. Доисламские верования «заболотных татар» Западной Сибири. — В кн.: Вопросы истории СССР. М., МГУ, 1972, с. 409—439; С а т л ы к о в а Р. К. Хозяйственный уклад и семейный быт тарских татар. — В кн.: Проблемы истории СССР. Вып. V. М., МГУ, 1976, с. 102—114; Т и т о в а З. Д. Барабинские татары. — В кн.: Из истории Сибири. Вып. 19, с. 108—147; Т о м и л о в Н. А. 1) К истории головных уборов сибирских татар. — В кн.: Этнография народов Алтая и Западной Сибири, с. 176—198; 2) Современные этнические процессы среди сибирских татар. Томск, 1978, с. 208; Х р а м о в а В. Б. Западносибирские татары. — В кн.: Народы Сибири. М.; Л., 1956, с. 473—491, и др.

<sup>3</sup> Д у л ь з о н А. П. 1) Система счета времени чулымских татар. — КСИЭ, 1950, вып. X, с. 60—63; 2) Чулымские татары и их языки. — Учен. зап. ТГПИ, 1952, т. IX, с. 76—211; 3) Поздние археологические памятники Чулымы и проблема происхождения чулымских татар. — Там же, 1953, т. X; Л ь в о в а Э. Л. 1) Лыжи и нарты чулымских тюрков. — В кн.: Материалы по этнографии Сибири. Томск, 1972, с. 140—151; 2) К этнической истории чулымцев. — В кн.: Проблемы археологии и этнографии. Вып. 1. Л., 1977, с. 111—122, и др.

<sup>4</sup> А б д р а х м а н о в М. А. Особенности диалектно-языкового смешения в лексике томско-сибирских говоров. — В кн.: Некоторые вопросы древней истории Западной Сибири. Томск, 1959; А б д р а х м а н о в М. А., Г о р д е е в а О. И. Особенности речи томско-обских татар на русском языке в сопоставлении с их родным языком. — Учен. зап. ТГУ, 1971, № 74, вып. 2; А х а т о в Г. Х. Диалект западносибирских татар. Уфа, 1963; Д м и т р и е в а Л. В. Заметки по языку барабинцев. — В кн.: Вопросы грамматики и истории восточных языков. М.; Л., 1958; Д у л ь з о н А. П. Диалекты татар —aborigenов Томи. — Учен. зап. ТГПИ, 1956, т. XV; И с х а к о в а С. М. 1) Древнетюркские элементы в народно-разговорном языке западносибирских татар. — Сов. тюркология, 1973, № 6; 2) Языковые контакты западносибирских татар с алтайскими племенами. — Там же, 1975, № 5; Т у м а ш е в а Д. Г. 1) Язык сибирских татар. Казань, 1968; 2) Диалекты сибирских татар. Казань, 1977, и др.

Всестороннее изучение языка чулымских тюрков было предпринято крупнейшим сибирским лингвистом А. П. Дульzonом. Выдвинутые им положения о самостоятельности чулымско-турецкого языка, о выделении в нем нижнечулымского и среднечулымского диалектов, а в последних — и отдельных говоров прочно удерживаются в сибирском языкоизнании.<sup>5</sup> Н. А. Баскаков отнес язык чулымских тюрков (с наречими кюэрикским и кецикским) к хакасской подгруппе уйгуро-огузской группы восточнохунинской ветви тюркских языков.<sup>6</sup>

По вопросу о диалектном членении языка сибирских татар единства во взглядах лингвистов в настоящее время нет. Не исключено, что это связано частично с тем, что и у дореволюционных исследователей не было четкости в этом вопросе, а также с тем, что классификации разрабатывались на хронологически разные периоды.<sup>7</sup> Впервые диалектное членение сибирских татар было проведено во второй половине XIX в. В. В. Радловым. Он разделил материалы по их языку на 4 группы и соответственно этому выделил барабинских, тарских, тобольских и тюменских татар. Позднее барабинское наречие он отнес к восточной группе тюркских языков (к алтайским языкам), а языки остальных трех групп объединил в иртышское наречие, как непосредственно связанное с западной (кыпчакской) ветвью тюркских языков.<sup>8</sup> П. А. Словцов в XIX в. писал о томском, барабинском, тарском и тобольском наречиях.<sup>9</sup> В тот период по существу впервые стали говорить не о языках отдельных сибирско-татарских групп, а о наречиях сибирских татар. Соответственно этому от них были отграничены языки других тюркских групп и народностей Сибири, к которым применялся также термин «татары». И все же широкое употребление последнего этнонима относительно разных народов Сибири вносило путаницу в представление об этнолингвистическом составе тюркских групп и народностей Западной Сибири.

В этом плане значительная работа была проделана советскими учеными. Некоторые этнические группы тюрков Сибири, к которым применялся термин «татары», этнографами и лингвистами были отнесены к другим народам (алтайцам, шорцам, хакасам), в состав которых они фактически и входили. А. П. Дульзон в ряде статей показал, что чулымские тюрки не могут быть отнесены к сибир-

<sup>5</sup> Дульзон А. П. 1) Чулымские татары и их языки; 2) Диалекты и говоры тюрков Чулыма. — В кн.: Вопросы тюркологии. Вып. 5. Баку, 1973, и др.

<sup>6</sup> Баскаков Н. А. Тюркские языки. — В кн.: Языки народов ССР. Т. II. Тюркские языки. М., 1966, с. 12.

<sup>7</sup> Томилов Н. А. Вопросы этнического развития сибирских татар в дореволюционной и советской литературе. — В кн.: Этнокультурные явления в Западной Сибири, с. 131—149.

<sup>8</sup> Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. Т. 4. СПб., 1972; Radloff W. W. Phonetik der nördlichen Turksprachen. Leipzig, 1882, S. 286—287.

<sup>9</sup> Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. II. СПб., 1886, с. 69.

ским татарам,<sup>10</sup> они отличаются и по этнографическим материалам.<sup>11</sup> Что касается причулымских татар Нижнего Чулыма, то они генетически и исторически были тесно связаны с томскими татарами (главным образом эуштинцами), с одной стороны, и с селькупами — с другой. В этнокультурном отношении они также занимали промежуточное положение между этими этническими образованиями. В XIX—начале XX в. связи нижнечулымских тюрков с томскими татарами постепенно прервались, хотя и сейчас они сохранили самоназвание «татары».<sup>12</sup>

Относительно небольшой группы шегарских карагасов, включенных А. П. Дульзоном в состав обских татар томской группы,<sup>13</sup> Н. В. Лукиной и Г. И. Пелих выясниено, что фактически это была часть селькупов, поверхностно затронутых процессом тюркизации и затем «обрусовших».<sup>14</sup> Позднее Г. И. Пелих привела факты в обоснование выдвинутой ею гипотезы, что черты сходства между томскими и саянскими карагасами восходят ко времени их былой этнической общности и связываются с древним народом дубо. На последних этапах своей истории томские карагасы подверглись влиянию сначала татар, а потом русских.<sup>15</sup>

В состав сибирских татар включают сейчас те группы тюрков Западной Сибири, которые пользуются этнонимом «татары». В томе «Народы Сибири» выделены в качестве этнографических групп сибирских татар тюменские, тобольские, заболотные, тарские, барабинские и томские татары.<sup>16</sup> В работе М. А. Баскакова «Тюркские языки» приведен список следующих групп сибирских татар: туринские, тюменские, ишимские, ялуторовские, иртышские, тобольские, тарские татары, сибирские бухарцы, чатские, аринские, барабинские и томские татары.<sup>17</sup>

Во второй половине 1930-х годов было введено деление татарского языка на три крупных диалекта — западный (в основе — мишарский говор), средний (в основе — говор казанских татар), восточный (все говоры сибирских татар).<sup>18</sup> Некоторые лингвисты, отмечая значительные расхождения восточного диалекта с литературным татарским языком, ставили под сомнение его принадлеж-

<sup>10</sup> Дульzon A. П. 1) Чулымские татары и их язык; 2) Тюрки Чулыма и их отношение к хакасам. — Учен. зап. ХНИЯЛИ, 1959, вып. 7.

<sup>11</sup> Львова Э. Л. 1) Предварительный отчет по этнографической практике на р. Чулым летом 1969 года. — В кн.: Полевые работы 1969 года. Томск, 1969, с. 150—161; 2) Материалы по изучению шаманизма у коренного населения Среднего Чулыма. — В кн.: Некоторые вопросы истории Сибири. Томск, 1972, с. 160—171.

<sup>12</sup> Томилов Н. А. У татар Томской и Новосибирской областей. — В кн.: Полевые работы 1969 года. Томск, 1969, с. 106.

<sup>13</sup> Дульzon A. П. Диалекты татар —aborигенов Томи, с. 306—308.

<sup>14</sup> Лукина Н. В., Пелих Г. И. К вопросу о карагасах Томской области. — Тр. ТГУ, 1963, т. 165, с. 162—173.

<sup>15</sup> Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972, с. 238—257.

<sup>16</sup> Храмова В. В. Западносибирские татары, с. 473.

<sup>17</sup> Баскаков Н. А. Тюркские языки. М., 1960, с. 234.

<sup>18</sup> Жэлэй Л. Татар телендэгэ диалектлар. — Совет мэктэбэ, 1938, № 5, 6, 8.

ность к татарским диалектам вообще. Л. З. Залялетдинов, считая его отдельным восточным диалектом, включает в круг его носителей тюменских, тобольских, тарских, барабинских и томских татар.<sup>19</sup> При этом он полагает, что татарским диалектом язык сибирских татар был и до второй половины XIX в., т. е. до периода «... приобщения этого диалекта в общетатарскому языку».<sup>20</sup>

Г. Х. Ахатов делит язык сибирских татар на два диалекта: диалект западносибирских татар, на котором говорят тюменские, ялуторовские, тобольские и тарские татары, и диалект восточносибирских татар, т. е. «язык барабинцев, томских и прочих татар».<sup>21</sup> При этом в диалекте западносибирских татар он не выделяет говоры, считая, что татарские группы по существу являются лишь территориальными и в языковом отношении не отличаются друг от друга. Резкий поворот в направлении к сближению диалекта с литературным языком, по мнению Г. Х. Ахатова, наблюдается в Советскую эпоху.<sup>22</sup>

Исследования Д. Г. Тумашевой показали, что «восточный диалект» татарского языка не представляет собой единого целого. Ею выделены три крупных диалектных массива сибирских татар — тоболо-иртышский, барабинский и томский, характеризующихся общими и отличительными признаками. Наиболее компактным диалектом автор считает барабинский, томский диалект ею делится на два говора: эуштинско-чатский и калмакский, тоболо-иртышский — на пять говоров: тюменский, тобольский, заболотный, тевризский и тарский.<sup>23</sup> В составе тобольского говора Д. Г. Тумашева выделила восточно-тобольский подговор, а в составе эуштинско-чатского говора — орский подговор.<sup>24</sup> В соответствии с предложенной ею лингвистической классификацией она делит сибирских татар на следующие территориально-этнические группы: тоболо-иртышские (с локальными группами тюменских, тобольских, заболотных, тевризских и тарских татар), барабинские и томские татары.<sup>25</sup>

А. П. Дульзон выделяет западносибирских татар, включающих тобольских, тюменских, ишимских, тарских, туринских татар. На основании исследований Г. Х. Ахатова и Д. Г. Тумашевой А. П. Дульзон считает «... процесс „татаризации“ первоначального сибирского наречия иртышских татар... закончившимся», а его говоры относит к говорам татарского языка. Барабинские татары,

<sup>19</sup> Жэлэй Л. Татар диалектологиясе. Казан, 1947.

<sup>20</sup> Залялетдинов Л. З. Опорный диалект в образовании татарского языка. — В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку, 1968, с. 39.

<sup>21</sup> Ахатов Г. Х. Диалект западносибирских татар, с. 184.

<sup>22</sup> Там же, с. 25—26.

<sup>23</sup> Тумашева Д. Г. Язык сибирских татар, с. 68.

<sup>24</sup> Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар, с. 241.

<sup>25</sup> Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар в отношении к татарскому и другим тюркским языкам. Автореф. дис. М., 1969, с. 13—15.

по его мнению, говорят на особом диалекте, отличном от иртышских говоров и близким чуымско-туркскому языку. Хотя диалект барабинцев и подвергся интенсивной «татаризации», но процесс этот, как полагает А. П. Дульzon, не зашел здесь так далеко, чтобы рассматривать его в качестве говора татарского языка. Далее на восток от барабинских татар им выделяются чуымские и нижнетомские тюрки. Последних он подразделяет на эуштинцев, чатов и калмыков.<sup>26</sup>

Перейдя к вопросу о совмещении этнографических показателей с лингвистическими классификациями, отметим прежде всего, что различия между поволжскими и сибирскими татарами в этнокультурной области до революции были весьма значительны, сохраняются они в определенной степени и сейчас.<sup>27</sup> В традиционно-бытовой сфере материальной культуры они проявлялись в местных формах жилищ — землянках, полуzemлянках, плетневых мазанках, бревенчатых юртах, летних чумах, шалаших, в видах чувалов и использовании в юртах открытых очагов, в местных видах хозяйственных строений — загонов для скота, земляных построек, в разбросанности их в усадьбе и др. Отличными от одежд поволжских татар являются сибирско-татарские спицовые из шкурок нагрудники, меховые камзолы, налобные повязки, женские рубахи *кинек*, штаны *чамбар*, мужские штаны из овчины, местного типа шуба, безрукавка *сырмак*, шапки меховые и войлочные *бурек*, короткая обувь *чарык* и др.

Традиционный комплекс средств передвижения многих групп сибирских татар характеризуется прежде всего разнообразными типами лыж (подволок и голицы) и лодок (колодообразных и островершинных долблевых). Различие в пище наблюдается в большем значении рыбных блюд, мясных изделий из добытой дичи, продуктов собирательства, а также в рецептуре. Исследование хозяйства разных групп сибирских татар приводит к выводу о большом значении у них в прошлом охоты и рыболовства, а кое-где — и о доминировании их в хозяйственной системе.

Немало своеобразного выявлено также в родильном, свадебном и погребальном обрядах, в особых видах могильных камер и надмогильных сооружений, в народных празднествах, общественных обрядах, народных знаниях сибирских татар. Выделяются сложные комплексы орнаментов, большая часть которых не совпадает с таковыми у поволжских татар, своеобразные фольклорные сюжеты.

Конечно, в настоящее время в связи с трансформацией хозяйственных занятий, влиянием индустриализации быта на культуру, широким распространением общесоветских форм культуры

<sup>26</sup> Дульзон А. П. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири. — В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971, с. 198—205.

<sup>27</sup> Томилов Н. А. Современные этнические процессы среди сибирских татар, с. 40—42, 96—99.

и быта, наконец, взаимовлиянием сибирских и расселившихся в Западной Сибири поволжских татар в их культуре распространились многие общие и сходные черты.

Консолидация тоболо-пртышских татар привела, по мнению лингвистов, к образованию в их среде наддиалектного койн<sup>28</sup> и, по данным этнографии, общих культурно-бытовых черт. В советский период завершилось формирование группы томских татар. Различными группами татар в эти годы были полностью ассимилированы сибирские бухарцы — потомки выходцев из Средней Азии и Казахстана (узбеков, таджиков, казахов).

Сравнение предметов и явлений культуры и быта групп сибирских татар говорит об их значительной общности или близости, что проявляется, в частности, и в близости и сходстве определенных групп терминов в лексике. Это могло быть следствием как общих этногенетических судеб и вхождения в их состав некоторых одинаковых этнических компонентов, так и процессов консолидации в единую этническую общность, развивавшихся среди тюрков лесостепной полосы Западной Сибири на протяжении длительного времени. Выявляются также особенности и отличия этнокультурного облика отдельных групп друг от друга — особенно это заметно в разных видах традиционных жилищ, лыж, лодок, в пище, в орнаментике, фольклоре, меньше — в одежде, утвари, народных знаниях, свадебных обрядах. Эти отличия, с одной стороны, являются свидетельством незавершенности консолидации, а с другой — позволяют поставить вопрос о сложности их этногенеза и в целом этногенетических процессов на территории юга Западной Сибири.

Дальнейшее этническое развитие сибирских татар будет проходить, видимо, по-прежнему в рамках отдельных территориально-этнических групп.

При совмещении этнокультурных явлений с этнолингвистическими подразделениями тюрков Западно-Сибирской равнины в целом получается синхронная картина. Но уже и сейчас налицо отдельные несовпадения. В историко-этнографическом плане томские татары состояли из калмаков, яушты, томских чатов, обских чатов, обских и шегарских карагасов, или татар. Последние ассимилированы русскими полностью, говоры их остались неизученными. По этнокультурным характеристикам они занимали промежуточное место между селькупами и яуштой.

Барабинские татары оказываются в этнокультурном плане значительно сложнее, чем в этнолингвистическом. Выявленные культурные различия позволяют выделить у них по крайней мере не менее двух групп, а может быть, и более. Собранные данные по тугумным образованиям (группам родственных семей), их локализации и брачным связям обнаруживают несколько таких этнотERRиториальных узлов. Да и данные архивов XVII в., обработанные Б. О. Долгих, говорят о нескольких тюркоязычных группах в Ба-

<sup>28</sup> Тумашева Д. Г. Диалекты сибирских татар, с. 275—276.

рабинской и Кулундинской степях.<sup>29</sup> По данным наших записей генеалогий родословных (ими охвачено около 75% генеалогических линий всех барабинских татар) на основании изучения имеющихся там сведений о браках дореволюционного времени,<sup>30</sup> нами выделены три эндогамные группы барабинцев: 1) барабинско-чановская; 2) каргатско-убинская; 3) кыштовско-устытаркская. Желательно было бы углубить изучение диалекта этой группы сибирских татар, тем более, что сами его носители указывают на различия в лексике отдельных аулов.

Из тюменской группы в этнокультурном отношении выделяются ялуторовские татары, да и в общем-то еще недавно писали о ялуторовском говоре.<sup>31</sup> У ялуторовцев нами выявлены своеобразные виды колодообразных (и, видимо, очень древних) лодок, лыж-голицы, отдельных блюд в пище, свои особые сюжеты в фольклоре, свои комплексы орнаментов. Исторически нам удалось проследить формирование этой подгруппы тюменских татар. В целом оно проходило, на наш взгляд, довольно поздно — начальный этап его относится ко второй половине или даже к концу XVI—началу XVII в. Ялуторовские татары сложились в основном из трех этнических компонентов — башкир, тюменских и тобольских татар. Данные 4 и 5 ревизий населения 1782 г. и 1795 г. позволили выявить на основании брачных связей их относительно прочную эндогамность (в среднем 70% эндогамных браков или 83% состоявших в таких браках),<sup>32</sup> характерную для локальных подразделений этнографических групп.<sup>33</sup>

По данным исторических документов, для дореволюционного периода выделяются туринские татары, в этническом плане сложившиеся, по нашему мнению, в результате смешения тюменских татар и манси. Видимо, следует их считать подгруппой тюменских татар. В настоящее время они полностью слились с русским населением.

Архивные и наши генеалогические данные подтверждают выделение из состава тобольских татар в самостоятельную группу золотых или, как правильнее, на наш взгляд, было бы их назвать, ясколбинских татар. В последней четверти XVIII в. эндогамность их составляла 93.8% находящихся во внутригрупповых браках.<sup>34</sup> В составе же самих тобольских татар нами выявлены следующие подразделения: 1) надцинско-аремзянская группа;

<sup>29</sup> Д о л г и х Б. О. Родовой и племенной состав..., с. 51—53.

<sup>30</sup> При сборе и обработке материалов была применена разработанная В. И. Васильевым методика составления первичных семейно-генеалогических схем. См.: В а с и л ь е в В. И. Проблемы этногенеза и этнической истории народов Севера (на самодийских материалах). — СЭ, 1977, № 4, с. 15—16.

<sup>31</sup> Народы Сибири, с. 473—474.

<sup>32</sup> ТФ ГАТО, ф. 154, оп. 8, д. 4, л. 983—994, 1099—1137; д. 26, л. 1—55; д. 212, л. 1—146.

<sup>33</sup> С о к о л о в а З. П. Выявление этнических ареалов (на материале хантов и манси). — В кн.: Ареальные исследования в языкоизнании и этнографии. Краткие сообщения. Л., 1978, с. 41—42.

<sup>34</sup> ТФ ГАТО, ф. 154, оп. 8, д. 4, л. 983—994, 1173—1211; д. 212, л. 1—148.

- 2) искро-тобольская, или центрально-тобольская; 3) бабасанская;  
4) иштыско-токузская, или вагайско-уватская.

В тоболо-иртышской группировке не совсем ясен также вопрос о возможности выделения в этнокультурном и этноисторическом плане тевризских татар из тарской группы. По нашим материалам, здесь выделяются три эндогамные группы тарских татар: 1) коурдаакско-саргатская; 2) туралинская; 3) аялынская. По межгрупповым бракам две последние группы тяготеют друг к другу и к барабинским татарам, а коурдаакско-саргатская группа — к иштыско-токузской группе тобольских татар. Если уж выделять из состава тарских татар какую-то самостоятельную, независимую от них группу, так это коурдаакско-саргатскую. Полностью с так называемыми тевризскими татарами она не совпадает, так как гораздо шире и включает в себя не только коренных сибирских татар Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской обл., но и, если можно так выразиться, татар карагайского узла Вагайского р-на Тюменской обл.

В последние годы силами этнографов Омского университета проводятся записи генеалогий среди народов Западной Сибири. По разным группам сибирских татар этот сбор родословных в основном завершен. Фактически создан новый, чрезвычайно емкий в пространственно-временном отношении историко-этнографический источник. Обработка этих материалов безусловно поможет уточнить этническую дифференциацию тюркоязычных групп Западно-Сибирской равнины, а также решить ряд вопросов их этнической истории и этногенеза.

#### Л. А. ПОКРОВСКАЯ

### ОБ ИСТОРИКО-ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛЕКТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА

Диалектные различия в гагаузском языке были впервые замечены в конце XIX в. этнографом В. А. Мошковым. По его наблюдениям, наибольшая разница в говорах бессарабских гагаузов существовала между г. Комрат и его окрестностями и с. Этулия.<sup>1</sup> В 1903 г. Мошков совершил научную поездку на Балканский полуостров, во время которой побывал в некоторых турецких и гагаузских селах северо-восточной Болгарии. Он отметил, что болгары различают две группы гагаузов, из которых одну называют «болгарскими», а другую — «същенскими» (настоящими), «хасыл-гагаузами» или «приморскими».<sup>2</sup> Такое разделение «задунай-

<sup>1</sup> См. в кн.: Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым. Ч. Х. Наречия бессарабских гагаузов. Тексты собраны и переведены В. Мошковым. СПб., 1904, с. XXX.

<sup>2</sup> М о ш к о в В. А. Турецкие племена на Балканском полуострове. — Изв. РГО, 1904, т. XI, с. 426.

ских» гагаузов на две группы, по данным Мошкова, объяснялось тем, что во времена турецкого господства в Болгарии происходила постоянная борьба между болгарами и греками за ассимиляцию гагаузов — маленького тюркоязычного народа, исповедовавшего христианство. В результате этой борьбы восточная часть гагаузов (делиорманская) попала под влияние болгар, а западная, приморская, — под влияние греков. Болгарское влияние на гагаузов оказалось более сильным и глубоким, чем греческое, и поэтому «греческие», или «приморские», гагаузы в большей степени, чем «болгарские», сохранили самобытность и назывались также «настоящими». Мошков установил, что во время массового переселения гагаузов (и части болгар) в Бессарабию в начале XIX в. туда эмигрировали, спасаясь от турецкого ига, в основном «болгарские» и меньше — «греческие» гагаузы, вследствие чего гагаузское население Ново-Пазарской и Добричской околий в Дели-Ормане сильно поредело.<sup>3</sup> Однако осталось неизвестным, как распределились две названные группы гагаузов на новых местах, в Буджакских степях Бессарабии, так как в имеющейся литературе о «задунайских переселенцах» сведений об этом не имеется. Вероятнее всего, прежнее деление гагаузов на две обособленные группы, утратив свое значение в новых условиях, постепенно исчезло. Однако прежние различия между двумя группами гагаузов, по нашим наблюдениям, сохранили свои следы, в частности в диалектных различиях современного гагаузского языка. Мы предполагаем, что между «болгарскими» и «настоящими» гагаузами существовали не только этнические и культурно-исторические различия,<sup>4</sup> но и языковые.

Обследование гагаузских говоров Молдавии и Украины показало, что они составляют две группы: 1) чадыр-лунгско-комратскую, охватывающую большинство гагаузских сел; 2) вулканептскую, включающую в себя гагаузские говоры южных районов Молдавии и Украины. Чадыр-лунгско-комратская группа говоров оказалась значительно больше «славянанизированной», чем вулканештская группа, которая по своим фонетическим, лексическим и отчасти морфологическим признакам стоит ближе к западным говорам турецкого языка. В 1959 г. на V Всесоюзном диалектологическом совещании в Кишиневе мной впервые было высказано предположение, что носители ведущей, чадыр-лунгско-комратской группы говоров являются потомками «болгарских» гагаузов, а носители вулканептской группы говоров относились в прошлом к «настоящим», или «греческим» гагаузам.<sup>5</sup> В дальнейшем было установлено, что гагаузские говоры составляют два диалекта,

<sup>3</sup> Там же, с. 429.

<sup>4</sup> Губогло М. Н. Малые тюркоязычные народы Балканского полуострова (к вопросу о происхождении гагаузов). Автореф. дис. М., 1967.

<sup>5</sup> Покровская Л. А. О применении понятий «язык» и «диалект» к гагаузскому языку. — Лимба ши литература молдовеняскэ, 1961, № 3, с. 39.

названные условно центральным (чадыр-лунгско-комратским) и южным (вулканештским). В ряде сел существуют также смешанные говоры, включающие в себя черты обоих названных диалектов.<sup>6</sup> Были также более детально изучены косвенные данные в пользу предположения о том, что «болгарские» и «греческие» гагаузы говорили на разных диалектах, которые в какой-то степени сохранились в языке современных гагаузов.<sup>7</sup> Однако данная гипотеза могла быть окончательно подтверждена (или опровергнута) только путем сопоставления диалектных признаков гагаузского языка Молдавии и Украины с соответствующими данными гагаузских говоров Болгарии.

В 1966 г. мне представилась возможность побывать в гагаузском с. Винница (б. Кестрич) близ Варны и сделать необходимые записи. Говор этого села, как я и предполагала, оказался весьма близким к вулканештскому говору гагаузов Молдавии, который, вероятно, принадлежал ранее «настоящим», «приморским» гагаузам. Кстати, жители с. Винница считают себя «настоящими» гагаузами: «Биз халис гагауз», — сообщила мне 67-летняя Тудора Колева Николова, от которой я записала языковой материал в этом селе.

В говоре с. Винница (Кестрич) наблюдаются следующие характерные черты южного (вулканештского) диалекта буджакских гагаузов. В области фонетики — наличие гласного *e* в конечной позиции и в аффиксах под ударением. В центральном диалекте гласному *e* в этих позициях соответствует гласный *ä* (широкий, переднего ряда): в афф. место. п. *иште* 'на работе' (в центр. диалекте *иштä*), *евде* 'дома' (*евдä*), в афф. дат. п. *ише* 'на работу' (*ишä*), в инф. *гитмее* 'идти' (*гитмää*), в афф. прош. вр. *билмезди* 'не знал' (*билмäэди*), неопред. вр. *ишлердилäр* 'работали' (*ишлärдилäр*).

В области морфологии — усеченная форма настоящего времени глагола, образовавшаяся путем элизии конечного сонанта *r* в аффиксе настоящего времени *-ыер* / *-еер*. Форма настоящего времени имеет в говоре с. Винница два варианта: на долгое *-ee* и на *-ye* / *ie*: 1) *йаше(r)* 'живет', *топле(r)лар* 'собирают', *гидеем* 'ухожу', *гиде(r)лар* 'уходят', *ишле(r)* 'работает', *анне(r)* 'понимает'; 2) *билие(r)* 'знает', *отурыйе(r)* 'сидит', *гелием* 'прихожу', *севине(r)* 'радуется' и т. д. Вариант формы настоящего времени на *-ye* / *-ie* характерен для языка старшего поколения носителей вулканештского говора, а среднее и молодое поколение употребляет еще более краткую форму — на *-ый* / *-ий*: *алый* 'берет', *верий* 'дает' и т. п. Такая же форма настоящего времени зафиксирована в с. Винница польским тюркологом Вл. Зайончковским: *verijiz* 'даем', *verilije* 'дается', *kesilije* 'режется', *sajilije* 'считается'. Наряду

<sup>6</sup> Покровская Л. А. Общая характеристика диалектной системы гагаузского языка. — В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков. Фрузия, 1968.

<sup>7</sup> Подробнее см.: Покровская Л. А. О происхождении диалектов гагаузского языка. — В кн.: Вопросы диалектологии тюркских языков. Баку, 1966.

с этой диалектной формой на -је в тексте, записанном Зайончковским, встречается литературная турецкая форма настоящего времени на -јор: *verijor* 'дает', *kese jorlar* 'режут' и т. п., иногда с выпадением сонанта г: *istejosun* 'хочешь', *sevejosun* 'любишь' (по-видимому, информант старался показать свое знание турецкого литературного языка, на котором в 50-е годы обучалось тюркоязычное население Болгарии).

В отношении лексики в говоре с. Винница можно отметить некоторые отличия от говоров южного диалекта буджакских гагаузов, например: в с. Винница употребляется арабское слово *сene* 'год' (*если сene илери* 'пятьдесят лет назад'), в то время как буджакские гагаузы пользуются лишь турецким словом *йыл* 'год'. Значение «разговаривать» передается глаголом *конушмаа* (*шинди хепси булгаржа конущее* 'теперь все говорят по-болгарски'), ср. тур. *konuşmak* в том же значении. В языке буджакских гагаузов глагол *конушмаа* означает 'пировать', 'гулять' (напр., «гулять» на свадьбе), а значение 'говорить', 'разговаривать' передается составным глаголом *лаф етмää* (с именной частью *лаф* 'слово' иранского происхождения). В говоре с. Винница нами также зафиксировано слово *мани* 'бабушка', характерное для южного диалекта буджакских гагаузов и не употребляющееся в центральном диалекте.

Таким образом, данные говора с. Винница Варненской околии подтвердили наше предположение о том, что говоры южного диалекта буджакских гагаузов весьма близки к говорам «настоящих», или «приморских» гагаузов. Следовательно, носители южных говоров являются потомками переселенцев из районов Варны, Балчика, Каварны. Действительно, в пос. Вулканешты Молдавской ССР жители целого квартала носят фамилию Каварналы, т. е. «уроженцы г. Каварна». Для окончательного подтверждения верности нашего вывода о том, что диалектное членение гагаузского языка отражает прежнее их деление на две группы, необходимо сопоставить гагаузские говоры центрального диалекта с говорами «болгарских» гагаузов Дели-Ормана. Если эти говоры, как предполагается, близки друг к другу, то на основании диалектных данных можно будет утверждать, что носители центрального (чадыр-лунгско-комратского) диалекта относились в прошлом к «болгарским» гагаузам.

Таким образом, лингвистические данные могут служить здесь косвенными показателями историко-этнографических процессов и в свою очередь находят объяснение с помощью исторических сведений о носителях исследуемого языка — гагаузах. Интересно было бы получить подтверждение наших выводов, сделанных на основании диалектных данных, также историко-этнографическими исследованиями о гагаузах Молдавии и Украины.

## ЭТНИЧЕСКИЕ МИКРОРАЙОНЫ НА НИЖНЕМ АМУРЕ

Характер расселения на Нижнем Амуре малых народностей в значительной степени определял складывавшиеся между ними взаимоотношения, их культурные контакты, возникновение между ними смешанных браков, — в конечном итоге все эти факторы оказывали влияние на этногенетические и этнические процессы.

Территория долины Нижнего Амура, где живут нивхи, ульчи, нанайцы, отчасти негидальцы, весьма своеобразна: Амур здесь течет почти 900 км, из них селения нанайцев растянулись примерно на 600 км, ульчей — около 120, нивхов — примерно 180 км. В районе нанайского ареала в Амур впадают реки Уссури, Анюй, Хунгари, Горин, протоки оз. Болонь. По этим притокам и протокам на Амур спускались эвенки, орохи, удэгейцы, однако две последние народности были очень малочисленны и их «выходы» оказали на этнический состав нанайцев незначительное влияние.

В местах расселения амурских нивхов в Амур владает р. Амгунь, выходят протоки оз. Орель; по этим водоемам на Амур спускались эвенки, негидальцы, якуты; сравнительно близко от амурских нивхов расположен о. Сахалин, — через устье Амура к нивхам приходили переселенцы с острова орохи, айны. В места расселения ульчей в Амур впадали протоки озер Удыль и Кизи, по которым на Амур выходили издавна эвенки, негидальцы, орохи, айны и орохи с Сахалина.

По самому Амуру совершились небольшие по масштабам, но постоянные передвижения рыбаков и охотников, менявших места своего жительства по разным причинам: в результате наводнений, эпидемий, голода, в поисках лучших промысловых мест. Передвижения вниз по течению были наиболее доступны, а промысловые угодья, расположенные вниз по течению, богаты. Подобные передвижения наблюдали Л. Шренк и Р. Маак, о них свидетельствуют многочисленные родовые легенды, распространенные у всех народностей Нижнего Амура, а также архивные документы.

Детальные исследования нивхского, ульчского, нанайского ареалов показали, что они являлись в XIX в. этнически неоднородными. В 1850-е годы было обнаружено, что в нивхских селениях жили ульчи и негидальцы (селения Тыр, Чильви, Каберацбах, Мхыль и др.).<sup>1</sup> Л. Я. Штернберг, произведя перепись в амурских нивхских селениях, зафиксировал живших среди нивхов негидальцев (в селениях Кальма, Хок, Дэ, Тыр, Тауро, Чильба и др.), айнов (в селениях Мхыль, Тэбах, Ахча и др.), ороков, ульчей, нанайцев.<sup>2</sup> Материалы Штернберга были подтверждены более позд-

<sup>1</sup> Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Т. 1. СПб., 1883, с. 16; Архив ВГО, ф. 56, оп. 1, № 4.

<sup>2</sup> Штернберг Л. Я. Гиляки, гольды, орохи, негидальцы. Хабаровск, 1933, с. 286—289.

ними исследованиями по тем же вопросам, относящимися к концу XIX—началу XX в.<sup>3</sup> По переписи 1897 г. на Амуре в малонаселенных селениях нивхов проживало более 160 нанайцев.

Этнически неоднородным был и ареал ульчей: в 1850-е, 1870—1880-е годы в некоторых ульчских селениях жили нивхи,<sup>4</sup> в других — негидальцы, орочи, айны, нанайцы, ороки.<sup>5</sup> Таким образом, каждое селение ульчей, как и амурских нивхов, представляло собой сложное образование, где жили представители различных родов основной народности, а также иных народностей.

Гораздо более однородным был этнический ареал амурских нанайцев. Правда, на границе расселения с ульчами в ряде селений жили семьи, относящиеся к обеим народностям. Тут же жили ороческие семьи (селения Анган, Больба, Очи, Кэути и др.). В местах соприкосновения с безоленными эвенками (реки Тунгуска, Амгуна) нанайцы жили с ними в общих селениях, тут имели место браки между ними.

Этнически смешанные ареалы на Нижнем Амуре возникли очень давно. В XVII в. землепроходцы все население, жившее по течению ниже с. Джай, называли «гиляками», однако имеются материалы, позволяющие считать, что среди нивхов в то время жили тунгусоязычные народы. О том, что в XVII в. среди нивхов жили ульчи, нанайцы, негидальцы, свидетельствуют имена «гиляков», приводившиеся землепроходцами.

Известно, что нивхские имена отличаются определенными чертами, резко выделяющими их от имен соседних народностей: для них характерно стечание согласных, окончание мужских имен на суффиксы -гун, -кан, -дан, -тун, -дун, -лун, -ван.<sup>6</sup> Имена «гиляков», живших по Амуру ниже оз. Кизи, привозивших в 1644 и 1655 гг. ясак, а также имена «аманатов» — Чакун, Кататр, Чернин, Плевгуй — можно признать нивхскими, но такие, как Нуунуга, Сунега, Сельдюга, Кетюта, имеют суффикс, характерный для имен ульчей и нанайцев (напр. ульчские: Кенега, Пага, Пуранга, Хеченга, Дюньга,<sup>7</sup> нанайские: Насинга, Муринга, Делюнга, Киксунга, Месинга).<sup>8</sup> В фонде нивхских имен суффикс -га отсутствует.

Более того, ряд имен «гиляков» XVII в. переводится с ульчского, нанайского, негидальского; для этих имен характерна и гармония гласных (имена XVII в.).<sup>9</sup> Напр., имя Омисонгко: по-ульчски и по-

<sup>3</sup> Смоляк А. В. Родовой состав нивхов в XIX—начале XX в. — В кн.: Социальная организация и культура народов Севера. М., 1974, с. 206—210.

<sup>4</sup> Шренк Л. И. Об инородцах...; Смоляк А. В. Этнические процессы у народов Нижнего Амура. М., 1975, с. 14, 29.

<sup>5</sup> Смоляк А. В. Состав, расселение и происхождение ульчских родов. — М., 1963.

<sup>6</sup> Панилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. 1. М.; Л., 1962; Остапа Г. А., Гоитмажер П. Я. Личные имена нивхов. — В кн.: Филология народов Дальнего Востока. Владивосток, 1977.

<sup>7</sup> ЦГА РСФСР, ДВ, ф. 731, оп. 1, № 400 (материалы 1910 г.).

<sup>8</sup> ЦГИА СССР (Ленинград), ф. 1290, оп. 11, № 1894.

<sup>9</sup> Долгих Б. О. Родовой и племенной состав Сибири в XVII в. — ТИЭ, 1960, т. 55, с. 599.

нанайски оми означает «душа ребенка», сонгко — «плакать»; имя Нунуга по-ульчски и по-нанайски можно объяснить как «шестой» — нюнгун; Паталаг — «девушка», Балий — «слепой». Три имени «гиляков» представляют собой этнонимы, которыми нивхи называли своих тунгусоязычных соседей (Килима, Рыган, Негда), что также весьма показательно. Характерно, что для приведенных выше пяти имен «гиляков», имеющих перевод с ульчского или национального, никаких соответствий в «Нивхско-русском словаре» (М., 1970) нет. Следовательно, можно говорить о том, что в XVII в. в нивхских селениях Нижнего Амура жили «гиляки» с ульчскими и нанайскими именами, т. е. ульчи, нанайцы, возможно и негидальцы. Таким образом, этнический состав нивхских селений в XVII в., как и в XIX в., был неоднородным, землепроходцы же всех называли гиляками, независимо от действительной этнической принадлежности. В XVII в. среди нивхских селений было известно сел. Тахта.<sup>10</sup> С нивхского этот топоним не переводится, а по-ульчски и по-нанайски означает «амбар на сваях»; по-видимому, это селение было создано среди нивхских ульчами или нанайцами. По данным землепроходцев, на устье Амура жили в XVII в. «килорцы»;<sup>11</sup> этнонимом килор тунгусоязычные народы Нижнего Амура называют эвенков, следовательно, и они жили в то время среди нивхов. Эвенки селились близ нивхов в середине XIX в. в южной части Охотского побережья, нивхи вступали с ними в браки (у известного переводчика Позвейна мать была эвенкской). В 1840-е годы нивхи Амурского лимана хорошо владели эвенкским языком.<sup>12</sup> Все это подтверждает существование теснейших связей нивхов с соседними тунгусоязычными народами, о чем свидетельствуют и языковые данные.<sup>13</sup> Формирование амурского диалекта нивхов происходило в течение длительного периода в процессе теснейших взаимосвязей нивхов с тунгусоязычными народами. Можно думать, что контакты нивхов с этими народами, жившими в нивхских селениях в XIX и XVII вв., относятся к значительно более ранним временам. Это подтверждается и данными Л. Я. Штернберга о происхождении нивхских родов. Исследователь писал, что существующие нивхские роды в большинстве своем являются новообразованиями не старше 5–8 поколений, что исконные их роды вымирали почти все, а основателями подавляющей части современных родов (данные Л. Я. Штернберга 1896 и 1910 гг.) явились представители соседних тунгусоязычных племен. Такое утверждение Штернберг подтвердил конкретными данными о происхождении нивхских родов.<sup>14</sup> В сложном конгломерате, который представляло каждое нивхское селение, за-

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Фишер Е. Сибирская история. СПб., 1774, с. 382.

<sup>12</sup> Тихонев И. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании. Ч. II. М., 1863, с. 64.

<sup>13</sup> Крайнович Е. А. Гиляцко-тунгусо-маньчжурские параллели. — В кн.: Докл. и сообщ. Ин-та языкоznания. Вып. VIII. М., 1955.

<sup>14</sup> Штернберг Л. Я. Гиляки..., с. 20, 21, 286, 292, 399.

ключались смешанные в национальном отношении браки, возникали новые роды, основателями которых были иностранные. Все эти данные коррелируют и с антропологическими данными Л. Шренка, подтверждаемыми современными антропологами, — о большой сложности антропологического типа нивхов.<sup>15</sup>

Чрезвычайная этническая сложность состава амурских селений, в которых жили нивхи, по-видимому, явилась причиной распространенности здесь этнонима «гиляки». Русская администрация в 1860-е годы в многочисленных архивных документах упоминает и о негидальцах, и о мангунах, живших наряду с нивхами в Уссурийской окруже от Николаевска вверх до оз. Кизи; однако позднее, в 1890—1900 гг., а также в начале XX в. все коренные жители этих мест называются только «гиляками». Известно, что на ошибочность такой атрибуции всех жителей данного региона указывали Л. И. Шренк и С. К. Патканов. Но иначе местные русские и не могли рассматривать коренное население, если учесть, что, как свидетельствуют материалы Л. Штернберга, в каждом селении на Амуре, помимо нивхов, жили негидальцы, айны, ульчи и т. п. и между ними заключалось множество смешанных браков.<sup>16</sup> Естественно, что, как писал А. М. Золотарев, в данном микрорайоне распространялся и ульчско-негидальский разговорный язык, язык общения всех пестрых по происхождению элементов. Для нивхов овладение этими языками облегчалось тем, что в подавляющем большинстве у каждого из них родственниками были ульчи, нанайцы, негидальцы (в том или ином колене — тетки или дяди, двоюродные братья, родственники жен и т. п.).

Этноним «гиляки» в конце XIX—начале XX в. стал восприниматься русским населением как «туземцы», безотносительно к подлинной этнической принадлежности человека (это имело место и в XVII в., как было показано выше). Как свидетельствуют многочисленные архивные материалы, ульчи, негидальцы в начале XX в. в документах, обращенных к русским властям, называли себя гиляками (т. е. так, как те их называли в свою очередь). То же отметил В. Маргаритов и у орочей.<sup>17</sup> По этим причинам к литературе конца XIX—начала XX в., в которой употребляется этот этноним, следует относиться с большой осторожностью. С. Патканов при публикации материалов переписи 1897 г. получил переписные листы, в которых все жители амурских селений, от устья Амура почти до селения Карги, назывались «гиляками» (нивхи, негидальцы, ульчи, низовые нанайцы). Ему пришлось для определения подлинной этнической принадлежности каждого человека привлекать данные о его языке, родовой принадлежности и др.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Вопросы антропологии, 1977, вып. 55.

<sup>16</sup> Штернберг Л. Я. Гиляки..., с. 286—294.

<sup>17</sup> Маргаритов В. П. Об орочах Императорской гавани. СПб., 1888, с. 3—5.

<sup>18</sup> Патканов С. К. Опыт географии и статистики тунгусских племен Сибири. — Зап. РГО по отд-нию этнографии, 1906, т. XXXI, ч. II, с. 143.

Но сами коренные жители пользовались самоназваниями. При переселениях различных этнических элементов в ту или иную новую этническую среду, как правило, заключались на местах смешанные браки. У детей, рожденных от таких браков, с раннего детства возникало сознание принадлежности к тому этническому большинству, которое жило в данном регионе. Дети переселенцев овладевали языками окружающего населения. Характерным являлось также стремление к быстрейшему слиянию с окружающим населением в отношении языка, культуры — в этом были заинтересованы в первую очередь лица, вновь поселившиеся на данной территории. В результате в большинстве случаев при контактах коренных жителей с различными этническими элементами, селившимися между ними, потомство последних уже во втором-третьем поколении отождествляло себя с тем этническим большинством, среди которого оно жило. Это можно было бы проиллюстрировать на примерах нивхских родов Хатхил, Тапкал, Ходжер и др.<sup>19</sup> На интенсивность этих ассимилятивных процессов влияли различные факторы: состав проживающего в данном микрорайоне смешанного в этническом отношении населения, распространенность смешанных браков, численность группы, переместившейся в инонациональную среду, и т. п. В результате возникало интересное явление, о котором писал еще Л. Штернберг: если жившие на Амуре среди нивхов негидальцы вступали в брак с жившими тут же айнами, родившиеся от этого брака дети, владевшие нивхским языком и вступавшие в браки с нивхскими женщинами, относились уже к нивхскому роду негидальско-айнского происхождения. Такие же примеры Штернберг наблюдал и при браках айнов и нанайцев.<sup>20</sup>

О сложном происхождении ульчей писали А. М. Золотарев и Н. К. Каргер, показавшие роды ульчей, имевшие нанайское, негидальское, нивхское, орочское, орокское, айнское происхождение. И в районе расселения ульчей состав каждого селения, как и у нивхов, был сложным по родовому, а также по этническому составу. Если состав амурских селений был исследован сравнительно тщательно, то этого нельзя сказать о селениях, лежавших в стороне от основного течения реки. Между тем, например, по протоке Удыльского озера и на самом этом озере сложилось своеобразное, сложное по составу население, несколько обособленное от жителей Амура. Исконными тут были, по-видимому, роды эвенкийского происхождения Дункэ Ӧгдымсели и Хатхил, у которых, однако, не сохранилось воспоминаний об оленеводческом прошлом. Места, расположенные у оз. Удыль, были очень богаты рыбой и зверем, другими таежными ценностями. Родовые легенды свидетельствуют о том, что тут жили некоторое время нанайцы (например, род

<sup>19</sup> Смоляк А. В. 1) Состав, расселение и происхождение ульчских родов; 2) Родовой состав нивхов в XIX—начале XX в. — В кн.: Социальная организация и культура народов Севера. М., 1974.

<sup>20</sup> Штернберг Л. Я. Гиляки. . . , с. 286—292.

Дигор и др.). Но прочно обосновались в этих местах негидальцы родов Аимка и Нясихагил; негидальцы Удан породнились здесь с выходцами из удэгейцев Уды (Пильдунча). Поселились в этих богатых местах также нацайцы рода Онинка — здесь они стали ульчским родом Дятала. В 1850-е годы на протоке оз. Удыль уже существовало ульчское селение Кольчом, в котором, по свидетельству Н. К. Бощняка,<sup>21</sup> как и в расположенных по этой протоке других селениях, жили оседлые рыбаки-собаководы. Согласно архивным материалам, масштабы собаководства у местных жителей в 1894 г. были такими же, как и у ульчей — жителей Амура,<sup>22</sup> оленей же здесь не держали.

Таким образом, здесь, на небольшой территории в некотором удалении от Амура, жили потомки звенков, негидальцев, удэгейцев, нацайцев, ульчей.

Различные по происхождению элементы приходили в эти места не одновременно; процессы ассимиляции протекали весьма неравномерно. Одним пришельцам приходилось при поселении вступать в конфликты с теми или иными элементами (имеется в виду конфликт Черуль с Дятала, другие нам неизвестны), заключать родственные союзы с другими пришельцами, либо со старожилами. Негидальские по происхождению роды с самого начала вели в этих местах жизнь собаководов; даже на р. Бичи, где они жили после Амгуни, у них отсутствовали олени. Однако связи со своими сородичами негидальцы поддерживали, чего нельзя сказать о Дятала и Уды (нацайского и удэгейского происхождения). Из чрезвычайно пестрых по языкам и культуре элементов в процессе длительных контактов постепенно сложилось своеобразное культурное и языковое единство, чему в значительной степени способствовали смешанные браки. Конечно, культура жителей этого микрорайона очень близка к ульчской. Несмотря на то что тут живут потомки нацайцев и удэгейцев, всем им общи такие элементы погребальных и поминальных обрядов, как содержание собаки — «вместилища души» умершего, медвежьи праздники-поминки по умершему, куль близнецовых, аналогичный ульчскому. Имеются и различия: не все жители микрорайона Удыль совершили обряды жертвоприношения небу; ульчи Амура подчеркивают, что в украшениях женских халатов у ульчей Кольчома и близлежащих селений имеются различия. Обнаруживаются некоторые своеобразные особенности и в технике охотниччьего промысла у жителей этого микрорайона. Но культура обитателей микрорайона оз. Удыль представляет собою определенное единство, несмотря на чрезвычайно неоднородное происхождение отдельных элементов, образующих этнический состав местного населения. Всем жителям ареала присуще и языковое единство, в целом несколько отличающееся от ульчского амурского. Жители амурских селений — ульчи подчер-

<sup>21</sup> Бощняк Н. К. Путешествия в Приамурском крае. — Морской сборник, 1859, № 1—2.

<sup>22</sup> ЦГА РСФСР, ДВ, ф. 1, оп. 1, № 1389.

кивают некоторые лексические и фонетические особенности удыльской группы. Они (ульчи Амура) называют жителей селений на Удыле «орочами», что совершенно неоправданно, с нашей точки зрения: мы орочами считаем жителей притоков оз. Кизи, переселенцев с р. Тумнин в далеком прошлом. На самом деле на оз. Удыль не было ни одного орочского рода. У жителей удыльской группы самоназвание такое же, как и у всех ульчей-нани, но более всего были распространены родовые названия.

Своеобразные этнические микрорайоны складывались и в таких местах, как пограничный нанайско-ульчский район (селения от устья р. Горин до оз. Кизи по Амуру — Кульгу, Нюнгню, Ади, Дырен, Писуй, Симасы, Кавунда, Карги, Ыри, Кэвари, Сидахи, Пульса, Дарахта, Больба и др.), а также район р. Горин. В пограничном ульчско-нанайском микрорайоне в ряде селений жили совместно в течение длительных периодов ульчи и нанайцы. В 1897 г. здесь при переписи были зафиксированы местные роды, отсутствующие на основных территориях расселения ульчей и нанайцев, — Брал, Чайсал, Конинча, Дяринча и некоторые другие, а кроме того, нанайские — Гаил, Гейкер, Бельды, Ходжер, Делор (ветвь Заксор), ульчские — Авали, Килор, Сулаки, Губату. Тут же жили ороческие роды Пунади, Сенкиан, Моуданча и др. В с. Карги постепенно оседали эвенки, кочевавшие по р. Карги и Тумнин, однако, хотя в этом селении жили и нанайцы, обе эти народности почти не смешивались. Ороши же из данного микрорайона продвинулись вниз по Амуру, и в пограничном районе остались только ульчи и нанайцы. Проживая совместно в общих селениях, обе эти народности со сходными языками смешивались, вступали в браки. Здесь сложилась своеобразная культура, в которой прослеживаются черты как ульчской, так и нанайской культур (например, обычай проведения медвежьего праздника ульчского типа с содержанием зверя в неволе); нанайские черты в материальной культуре и в обычаях — более тесно общались с ульчами, жившими ниже по течению, с ними же заключалось более всего браков. Это в значительной степени способствовало тому, что сложившийся тут говор у всех местных жителей (в том числе у Бельды, Ходжер и др.) был близок к ульчскому, а не к нанайскому языку. Самоназвание у жителей данного микрорайона было такое же, как и у ульчей-нани. Заключавшиеся внутри данного микрорайона браки, как и другие контакты, в значительной степени способствовали тому, что представители всех проживающих в этих местах родов сплотились в определенное культурное и языковое единство.

Особый этнический микрорайон сложился на р. Горин. Эта река — приток Амура — была населена рыбаками и охотниками с древнейших времен (как свидетельствуют данные археологии), однако, судя по преданиям современных жителей, они связывают свое родство с Самар, пришедшими в эти места с р. Кур. Позднее на р. Горин появлялись и другие группы поселенцев, привлекаемые необыкновенными рыбными богатствами этих мест. Но пришедшие первыми Самар принимали всех их с условием, что они войдут в их

род. Это им было нужно для усиления, укрепления своих «позиций» (как говорят теперь старики). Современные самар-нанайцы насчитывают несколько ветвей в своем составе, не родственных между собой, так что еще в XIX в. между членами разных ветвей были возможны взаимные браки. В состав Самар вошли разные группы эвенков, негидальцы, отдельные элементы, случайно заходившие с Амура. Каждая ветвь хорошо помнит свое происхождение. Несмотря на длительное совместное проживание, даже внутри этой группы выделялись особые говорные особенности, например говор Самар, живших в сел. Нгаан. Жители по р. Горин жили сравнительно обособленно, однако связи с населением Амура поддерживались, в том числе и брачные. Частыми были также браки с эвенками, бродившими в районе оз. Эврон, а также жившими на Амгуни. П. Шмидт считал, что язык горинских жителей является самостоятельным, самагирским. Детальное изучение культуры жителей по р. Горин показывает, что она имела явные черты, отличавшие ее от культуры нанайцев Амура. Это особенно проявлялось в охотничьем и рыболовном промыслах (что отчасти можно объяснить особенностями экологических условий), но можно говорить и об отличиях в одежде (особенно в обычаях украшения халатов), в потребительных и поминальных обрядах. Отметим характерную черту, отсутствующую в других этнических микрорайонах: нанайцы рода Самар стремились включить в свой род по возможности больше различных по происхождению элементов. У нанайцев складывались и другие численно очень крупные роды, по они возникали иначе (напр., Бельды, Ходжер, Киле),<sup>23</sup> хотя тенденция к объединению с пришельцами была свойственна и всем другим народностям на Нижнем Амуре. В усилении своего рода были заинтересованы члены всех нивхских, ульчских, нанайских родов, поэтому всегда радушно принимали их к себе в род, в селение.<sup>24</sup> Легенда о том, как жители амурского селения зацепляли крючком проплававший мимо плот с людьми и просили их поселиться в их селении, была распространена у нивхов, ульчей, нанайцев. Жить в суровых северных условиях было очень трудно, нивхи, ульчи, нанайцы были очень малочисленны, им всем было свойственно стремление к объединениям: крупным коллективам было легче противостоять многообразным трудностям, связанным с природными и социальными условиями. Но формы объединений и связей были различны: включение инородных элементов в состав рода, объединение родов (типа дохá), просто соседские связи, связи по родству, браку и т. п. В возникновении этнических микрорайонов на Нижнем Амуре отразились основные черты формирования проживающих здесь малых народов.

---

<sup>23</sup> Смоляк А. В. Этнические процессы..., с. 115—120.

<sup>24</sup> О нивахах см.: Штернберг Л. Я. Гиляки..., с. 20, 21, 111.

**ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР  
(К ИСТОРИИ НЕНЕЦКО-КОМИ-РУССКИХ  
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ)**

Исторически область расселения европейских ненцев включает (в границах современного административного деления) Ненецкий автономный округ, Мезенский р-н Архангельской обл. и территории, подчиненные Печорскому, Интинскому и Воркутинскому горсоветам на севере Коми АССР. В настоящее время здесь наряду с ненцами проживают коми и русские, причем в ряде сельсоветов округа, не говоря уж о территориях, находящихся за его пределами, они составляют преобладающую или значительную в численном отношении группу населения. По данным переписи 1970 г., в Ненецком округе насчитывалось 25 225 русских, 5359 коми и 5851 ненец. Если принять во внимание, что более половины всех русских приходится на долю городского населения (г. Нарьян-Мар, пос. Амдерма), то все равно их удельный вес в национальном составе округа преобладает. Русские составляют большинство среди коренного населения низовьев Печоры (в трех сельских советах из пяти: Великовисочном, Пустозерском и Тельвисочном), а также в ряде сельсоветов западной части округа (Пешский, Шойгинский на Канине). Основной этнический массив коми сосредоточен в пределах Большеземельской тундры (Хорей-Верский, Хоседа-Хардский, Юшарский сельсоветы) и в Пустозерском сельсовете (низовья Печоры).

Судя по литературным и архивным источникам, контакты европейских ненцев с коми и русскими активно развивались уже в XVIII—XIX столетиях, когда с резким возрастанием числа домашних оленей во владении отдельных семей оленеводство становится превалирующей отраслью почти у всех этнических групп тундровой зоны Европейского Севера. Однако в различных частях этнической территории расселения европейских ненцев эти контакты проявлялись неодинаково с точки зрения как языкового, так и культурно-бытового взаимовлияния.

На востоке ареала, в Большеземельской тундре, уже в середине XIX в. основные олени паства и само ноголовье переходят из владения ненцев к ижемским коми. Как писал В. Н. Латкин, еще «в конце минувшего столетия они (коми-ижемцы, — В. В.) едва ли имели 10 000 своих оленей, тогда как самоеды Большеземельской тундры владели многочисленными стадами, число которых простипалось до 150 000 голов. . Но с того времени, как в тундре начали усиливаться ижемцы, стада самоедов постепенно стали уменьшаться. В настоящее время (середина XIX в., — В. В.) у самоедов считают не более 30 000 оленей, а у ижемцев около 124 000, а может быть, и гораздо больше».<sup>1</sup> При этом особенно

<sup>1</sup> Латкин В. Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 гг. Ч. 1. СПб., 1853, с. 106.

важно подчеркнуть, что, начав заниматься оленеводством, коми-ижемцы изменили его направленность и, по выражению С. В. Керцелли, вывели эту отрасль «из стадии первобытно-натурального хозяйства на путь торгово-промышленный».<sup>2</sup> По словам В. Иславина, коми-ижемцы «извлекают из олена на продажу: мясо, сало, замшу, теплую одежду, рукавицы, рога и языки».<sup>3</sup> Особенно доходной статьей было производство замши. Уже в 40-е годы XIX в. на замшевых заводах Ижемской вол. ежегодно перерабатывалось до 40 000 оленых шкур.<sup>4</sup>

Существенные изменения внесли коми-ижемцы и в технику ведения оленеводства. Они ввели круглогодичное окарауливание стад. Движение своих стад на север, к морскому побережью, коми-оленеводы начинали после таяния снегов. Они шли по сохранившейся прошлогодней траве, благодаря чему к местам летовок олени приходили хорошо упитанными и меньше страдали от гнуса и овода.<sup>5</sup>

К концу XIX в. коми-ижемцам и русским в Большеземельской тундре принадлежало 229,3 тыс. оленей (из 276,3 тыс. голов). Доля ненцев всех трех административных ведомств этой тундры (Пустозерского, Ижемского и Усть-Цилемского) составляла всего 47 тыс. голов.<sup>6</sup> Одновременно и параллельно с ростом числа семей коми-ижемцев, связавших свою хозяйственную деятельность с оленеводством, шел процесс увеличения числа оседлых ненецких семей. Лишившись в силу неблагоприятных погодных условий (гололед) или эпизоотий (сибирская язва, ящур) оленей, ненцы были вынуждены заниматься пастухами к коми или более обеспеченным сородичам, либо порывали с оленеводством и поселялись вблизи церковных приходов и селений и начинали жить оседло.

В середине XIX в. роль своеобразного центра оседлости для «самоедов» Большеземельской тундры играло селение Колва. К концу 40-х годов в Колвинском приходе насчитывалось уже 12 деревянных домиков, которые заселяли «самоеды», «... особенно, — пишет Вениамин, — женатые на зырянках».<sup>7</sup> К 1852 г. число оседлых ненецких семей, живших при Колвинской церкви,<sup>8</sup> достигло 15. Перепись 1897 г. учла в Колве уже 55 «самоедских» хозяйств в количестве 354 чел. (164 мужчины и 190 женщин).<sup>9</sup>

Если иметь в виду этническую сторону выхода коми-ижемцев в тундру, то ее характеризует в первую очередь заимствование

<sup>2</sup> Керцелли С. В. Архангельские тундры. — Изв. Арханг. о-ва изучения Русского Севера, 1929, с. 2.

<sup>3</sup> Иславин Вл. Самоеды в домашнем и общественном быту. СПб., 1847, с. 71.

<sup>4</sup> Там же, с. 72.

<sup>5</sup> Бабушкин А. И. Большеземельская тундра. Сыктывкар, 1930, с. 82.

<sup>6</sup> Вениамин (архимандрит). Самоеды мезенские. — Вестн. РГО, 1855, кн. III, с. 72.

<sup>7</sup> Там же, с. 73, примечание.

<sup>8</sup> ЦГИА (Ленинград), ф. 1290, оп. 11, д. 33.

<sup>9</sup> Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958, с. 143—144, 219, 249.

основных элементов ненецкой оленеводческой культуры: типа нарт и упряжи, разборного конического жилища-чума, промысловой одежды и обуви (малица, совик, женская парка-ягушка, меховые чулки, пимы и т. д.).<sup>10</sup> Заметное влияние ощущается и в изобразительном искусстве коми-ижемцев (особенно в области орнаментики), а также в фольклоре.<sup>11</sup> Но, восприняв у ненцев культурный комплекс, связанный с оленеводством, коми-ижемцы во многом его развили и усовершенствовали. Это относится, например, к чуму, большему по количеству шестов, а следовательно, и по полезной жилой площади, к окраске досок пола-лат, разнообразию домашней утвари, новым элементам одежды — мужской (*ной мальча* или *ной сок*), скроенной из сукна по образцу малицы или совика, и женской меховой (*кузь пас*), отличающейся от ненецкой ягушки разнообразием украшений и некоторыми деталями покроя и т. п. Со своей стороны, именно под влиянием коми-ижемцев оседлые ненецкие семьи начали заниматься домашним животноводством и огородничеством. По данным, относящимся к 1910-м годам, колвинские «самоеды» содержали свыше 400 голов крупного рогатого скота, или до 7 голов на хозяйство, а живущие в бассейне р. Сыня — до 30 голов на хозяйство.<sup>12</sup>

Благодаря бракам, хозяйственному и культурному общению с коми среди части ненцев Большеземельской тундры стал распространяться ижемский диалект языка коми. И. Лепехин еще в конце XVIII в. писал о «самоедах» Ижемского ведомства, что они «по-зырянски почти все разумеют».<sup>13</sup> То же самое сообщает В. Иславин, который писал об ижемских ненцах, что они «до того уже привыкли к зырянскому языку, что говорят между собой не иначе, как по-зырянски, а родной язык свой почти и забыли».<sup>14</sup> Особенно интенсивно переходили на язык коми оседлые ненцы Колвы, о которых В. Н. Латкин в середине XIX столетия писал, что они все знают зырянский язык.<sup>15</sup> К началу нашего столетия поглощение коми языком «самоедского» у колвинских ненцев было почти полным. Как пишет врач Н. Н. Мамадышский, «из 50 обследованных дворов с. Колвы оказалось только два домохозяина-старики, вполне владеющих самоедским языком, и 7 домохозяев-самоедов дали следующие ответы о своем родном языке: „знаю плохо“, „знаю слабо“, „знаю только отдельные слова“. Причем все это — старое поколение Колвы и только домохозяева. Семейные же и более молодое поколение совсем не знают своего родного языка. В 41 дворе совершенно не знают самоедский язык».<sup>16</sup>

<sup>10</sup> Лашук Л. П. Очерк по этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958, с. 110—111.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Изв. Арханг. о-ва изучения Русского Севера, 1910, с. 107.

<sup>13</sup> Лепехин И. Дневные записки путешествия... Ч. IV. СПб., 1805, с. 247.

<sup>14</sup> Иславин Вл. Самоеды..., с. 107.

<sup>15</sup> Латкин В. Н. Дневник..., с. 89.

<sup>16</sup> Мамадышский Н. Н. Усинский край. Архангельск, 1910, с. 64.

Среди русских старожилов Европейского Севера — мезенцев, пустозеров, усть-цилемов — также было немало семей, владевших оленями, хотя крупные хозяева, такие, как усть-цилемский крестьянин Филипп Носов, стадо которого приближалось к 1000 голов, встречались сравнительно редко. В отличие от коми-ижемцев большинство русских сами оленеводством не занимались, а поручали выпас своих стад «самоедам» за вознаграждение деньгами, питанием, одеждой, или же хозяева брали на себя выплату ясака.<sup>17</sup> По данным, которые приводит тот же автор, в 1844 г. у 59 крестьян-оленеводов пяти волостей Мезенского уезда находилось в работниках 275 «самоедов» обоего пола, не считая детей.<sup>18</sup>

Утратив оленей, многие ненцы поселялись в русских селениях и нередко женились на русских. В. Н. Латкин еще в середине прошлого века писал, что «самоеды нередко женятся на русских, но русские не берут самоедок».<sup>19</sup> Вторую часть этого утверждения, следует, однако, взять под сомнение. Как свидетельствуют материалы церковных метрических книг, например, Канинского прихода,<sup>20</sup> относящиеся, правда, к более позднему времени, в 80—90-е годы XIX в. в этом приходе были зарегистрированы браки мещанина с. Мгла Протопопова и канинской «самоедской» девицы Ниоровой, крестьянина Целоградского прихода Листова и Канинской тундры девицы Шангиной и др. — всего 4.

По своему образу жизни оседлые ненцы не отличались от русских крестьян.<sup>21</sup> Да и среди той части канинских и тиманских ненцев, которая жила в работниках у русских хозяев, распространились многие элементы русской культуры. Еще И. Лепехин писал, что мужчины нередко летом вместо малицы «носят рубахи холстяные и суконные из русской сермяги».<sup>22</sup> В. Иславин добавлял в отношении тех же ненецких групп, что они подпоясывают эти рубахи широкими кожаными поясами, украшенными медными пуговицами и бляхами.<sup>23</sup> Он же отмечал развившееся у ненцев под русским влиянием пристрастие к сладостям, изделиям из муки (ячменным лепешкам) и молока (в особенности коровьему маслу), чаю.<sup>24</sup> В то же время многие авторы прошлого и начала нашего столетия указывали, что зимний тип одежды мезенских и пустозерских крестьян полностью заимствован у ненцев. «Все русское население Мезенского уезда, — пишет Л. Н. Гейденрейх, — от мала до велика одето в оленьи шкуры в виде малиц, совиков, ша-

<sup>17</sup> Иславин Вл. Самоеды..., с. 60—61.

<sup>18</sup> Там же, с. 58—59.

<sup>19</sup> Латкин В. Н. Дневник..., с. 94.

<sup>20</sup> Архив Ненецкого окружного загса, Метрические книги Канинского прихода, 1880—1891 (браки).

<sup>21</sup> Иславин Вл. Самоеды..., с. 30; Едемский М. Б. Канин. — Изв. РГО, 1931, т. 65, вып. 2—3, с. 242.

<sup>22</sup> Лепехин И. Дневные записки путешествия..., с. 236.

<sup>23</sup> Иславин Вл. Самоеды..., с. 30.

<sup>24</sup> Там же, с. 37—38.

пок, пимов и т. д. Спальной принадлежностью мезенского крестьянина, кроме перин, служит оленья шкура».<sup>25</sup>

Для того чтобы составить представление об интенсивности языковых контактов между «самоедами» и русскими, приведу сообщение И. Лепехина, относящееся ко второй половине XVIII в., который писал: «Самоеды Канинской и Тиманской земли, не исключительно все, а многие из женского полу, нарочито говорят по-российски».<sup>26</sup> Авторы середины XIX столетия также отмечали достаточно широкое знание русского языка представителями канинских и в особенности тиманских «самоедов». По словам В. Иславина, некоторые из них не только «совершенно чисто говорят по-русски, иногда даже и между собою, но и приняли все оттенки русского характера».<sup>27</sup> Это подтверждает и исследователь конца XIX в. Г. И. Танфильев, писавший, что они «все поголовно прекрасно говорят по-русски, а некоторые из них усвоили себе русские привычки, знают русские песни и даже недурно играют на гармонике».<sup>28</sup> Как считал известный советский лингвист Г. Н. Прокофьев, именно под воздействием русского языка тиманско-малоземельский говор европейских ненцев утратил такую характерную особенность, как двойственное число.<sup>29</sup> И тем не менее, если в восточной части Большеземельской тундры культурно-бытовые контакты европейских ненцев с коми-ижемцами, закрепляемые браками между представителями обеих этнических групп, уже в дореволюционное время имели своим результатом полную утрату родного языка частью ненецкого населения (в первую очередь оседлой группой колвинцев), то на западе региона эти процессы носили иной характер. Обрусение коснулось лишь отдельных выходцев из канинских и тиманских ненцев, оседавших в русских селениях по рекам Печора, Пеша и речному комплексу Чешской губы. Основная масса канинских и тиманских оленеводов постоянно, особенно в зимнее время, соприкасавшаяся с русскими, наряду с отдельными культурными чертами и навыками усвоила (в той или иной степени) русский язык, но далеко не для всех ненцев он являлся вторым языком общения, которым они владели свободно.

Современная этнолингвистическая ситуация во многом отражает историческую дисинхронность развития межэтнических и языковых контактов на территории прошлого расселения европейских ненцев.

Материалы, собранные ненецким отрядом Северной экспедиции Института этнографии АН СССР во время работы на Европейском Севере в 1972—1974 гг., позволяют наметить несколько ареалов,

<sup>25</sup> Гейденрейх Л. Н. Канинские самоеды. — Сов. Север, 1930, № 5, с. 80.

<sup>26</sup> Лепехин И. Дневные записки путешествия. . . . , с. 228.

<sup>27</sup> Иславин Вл. Самоеды. . . . , с. 108.

<sup>28</sup> Танфильев Г. И. По тундрам тиманских самоедов летом 1892 г. СПб., 1893, с. 27.

<sup>29</sup> Прокофьев Г. Н. Wadei wada («Новое слово»). М., 1932.

в формировании которых наглядно отразилась картина этнического и языкового развития европейских ненцев на протяжении трех последних столетий.

Первый из выделенных ареалов включает южную часть Большеземельской тундры, бассейн Печоры (от г. Печора вниз по реке до с. Щелья-юр) в границах территории, находящейся в ведении Печорского и Интинского горсоветов Коми АССР. В пределах этого ареала имеются два крупных ненецких этнических массива (в Колвинском и Усть-Усинском сельсоветах) и значительное число небольших групп ненецких семей, живущих в окружении коми (Щельябожский, Мутно-Материковский, Кипиевский сельсоветы и др.). Ненецкие семьи данного ареала в подавляющем своем большинстве — потомки «самоедов» Ижемского и Усть-Цилемского ведомств, еще в предреволюционные годы испытавших сильное языковое и культурное влияние коми-ижемцев; многие принадлежат к коренным фамилиям колвинских «самоедов». По своей материальной культуре они не отличаются от коми: держат коров, овец и прочий домашний скот, имеют хорошо возделанные огороды. С северными ненцами представителей самодийского населения этого ареала связывает только сознание былой принадлежности к этому этносу, некоторые черты монголоидности в антропологическом облике и специфические, отличные от коми фамилии. В отдельных случаях зафиксирована даже утрата этнического самосознания. Родной язык для всех современных носителей ненецких фамилий данного ареала — ижемский диалект языка коми. Ненецкий язык утрачен, как правило, на уровне прошлого и даже третьего по глубине хронологии поколения.

Второй ареал охватывает центральную часть Большеземельской тундры в границах Ненецкого автономного округа (Хоседа-Хардский, Хорей-Верский, Юшарский, Карский сельсоветы). В каждом из названных сельсоветов совместно живут ненцы и коми. Ненецкие семьи данного ареала исторически представляют собою потомков «самоедов» Пустозерского ведомства. Немало в их числе также выходцев из Ижемского и Усть-Цилемского ведомств, а также позднейших переселенцев из Колвы (особенно в Хорей-Верском и Хоседа-Хардском сельсоветах). В Карском сельсовете проживает некоторое число семей, главы которых в разное время перекочевали в Европейскую тундру из-за Урала. В отличие от южнобольшемельского ареала большинство самодийских семей в похозяйственных книгах сельсоветов записаны не коми, а ненцами. Часть населения этого ареала сохранила традиционный хозяйственный уклад и занята на работе в оленеводстве. Тем не менее родной язык ненцами данного ареала практически утрачен. В поселках они объясняются между собой преимущественно на ижемском диалекте языка коми, а по-ненецки говорят (и то далеко не все) только в тундре.

Третий этнолингвистический ареал Большеземельской тундры можно считать чисто ненецким, хотя в центре сельсовета, с границами которого он совпадает (пос. Красное в низовьях Печоры,

Приморско-Куйский сельсовет), проживает и немало семей коми. Тем не менее именно северная часть Большеземельской тундры (пос. Черное, Варандей) ныне является единственным регионом Европейского Севера, где сохраняется большеземельский говор, положенный в основу ненецкого литературного языка.

Особый (четвертый) ареал составляют малоземельские ненцы Нельмин-Носовского сельсовета на Нижней Печоре. Здесь со средоточена компактная (146 семей) ненецкая группа, сохраняется своеобразный (малоземельский) говор ненецкого языка и традиционная материальная культура.

С бассейном Печоры территориально связаны еще два ненецких этнолингвистических ареала (пятый и шестой): южномалоземельский и цилемский. В первом из них (Пустозерский сельсовет, колхоз Нарьян-ты) наряду с ненцами (43 семьи) значительную группу составляют коми (46 семей). Тем не менее число смешанных браков между представителями обоих названных этносов относительно невелико (из 37 зарегистрированных ненецких браков по мужской линии). С нашей точки зрения, такое положение объясняется тем, что коми в низовьях Печоры являются сравнительно недавними поселенцами. И все же коми язык наряду с русским постепенно начинает приобретать межэтнический статут. Многие местные ненцы уже сейчас свободно говорят по-коми, хотя встречаются и такие семьи, где этого языка не знают.

Цилемский этнолингвистический ареал фактически подразделяется на два самостоятельных подареала: Печорский (пос. Среднее Бугаево), в котором преобладают ненецкие семьи, принадлежащие в прошлом к Усть-Цилемскому административному ведомству, и Верхне-Цилемский, или Номбургский, где представлены в основном выходцы из Малоземельской и Тиманской тундр. Все самодийские семьи ареала — это обруseвшие ненцы, среди которых в прошлом было немало старообрядцев. Родной язык и элементы традиционной культуры ими утрачены полностью еще при жизни прошлого поколения и даже ранее.

В обширный (седьмой) ареал, охватывающий тундру и лесотундру к западу от Печоры, мы включаем ненцев Канинского, Тиманского и Омского сельсоветов. В большинстве своем все ненецкие семьи, проживающие в пределах очерченного ареала, сохраняют родной язык и традиционную материальную культуру. Исключение составляют несколько семей Тиманского сельсовета, для которых родным языком является русский или коми. В целом же все ненцы Канино-Тимана хорошо владеют русским языком, который для них является вторым языком общения.

Наконец, еще два небольших в численном отношении самодийских ареала (восьмой и девятый) можно выделить в Мезенском районе. По основным этнолингвистическим характеристикам ненцы этих ареалов могут быть сопоставлены с цилемскими ненцами: полная утрата родного языка при сохранении представления о былой этнической принадлежности, оседлый образ жизни, исчезновение основных элементов традиционной культуры и т. д.

Географически первый из названных ареалов расположен в северной части Мезенского района и охватывает местность, прилегающую к Зимнему берегу (Долгощельский, Койдинский, Ручьевский, Соенский сельсоветы). В этническом отношении ненецкие семьи этого ареала в большинстве своем представляют собою канино-тиманцев. Второй ненецкий ареал Мезенского района охватывает территорию бассейна р. Пеза. Среди местных ненецких семей встречаются как канино-тиманские, так и большеземельские фамилии. К этому ареалу по всем вышеперечисленным признакам может быть отнесена и небольшая группа ненцев, проживающая в Лешуконском р-не Архангельской обл.

Исторические судьбы различных частей ненецкого этноса даже в пределах только одного локального региона его расселения складывались неодинаково. Длительные контакты с коми и русскими наложили отпечаток на формирование большинства выделенных нами современных этнолингвистических ареалов европейских ненцев и во многом определили их культурно-бытовую специфику.

## Н. Н. КАЗАНСКИЙ

### ФОРМИРОВАНИЕ ПАМФИЛИЙСКОГО ДИАЛЕКТА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Памфилия — одна из областей Малой Азии, растянувшаяся по побережью нынешнего залива Анталья (в глубь материка граница ее уходит не более чем на 25 км). У античных авторов упомянуты полисы этой страны: Аспенд, Селга, Силлейон, Сиды и Перга.<sup>1</sup>

До начала XIX в. этими сведениями, да еще указанием на то, что вместе с киликийцами жители Памфилии занимались пиратством, знания об этой стране исчерпывались едва ли не полностью. Было известно еще упоминание в Анабасисе Арриана (*Arrian, Anab., I, 24, 6*) о непонятной для греков речи жителей Сид. Вообще притаившаяся вдали от торговых путей, не принимавшая почти никакого участия в культурной жизни греческого мира Памфилия так и не привлекла бы внимания ученых, если бы в начале XIX в. на развалинах Силлеяона не была обнаружена довольно большая надпись.<sup>2</sup> Через полстолетия после ее публикации уже было доказано, что написана она на весьма своеобразном диалекте древнегреческого языка. Была проделана необходимая работа, связанная с датировкой шрифта, установлена дата памятника — начало IV в. до н. э. Язык этой надписи сильно отличается от всех прочих диалектов греческого языка, и причины этого явления кроются

<sup>1</sup> Ruge W. *Pamphylia*. — Pauly's Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Bd 36, 2. Stuttgart, 1949, S. 354—407.

<sup>2</sup> Последнее издание надписи см. в книге Cl. Le dialecte grec de Pamphylie. Paris, 1976, № 3. Там же указаны предыдущие издания.

в географическом положении и истории Памфилии, к настоящему моменту до некоторой степени реконструированной.

Хеттские тексты II тыс. до н. э. из Богазкейского архива показали, что почти вся территория Малой Азии во II тыс. до н. э. входила в орбиту хеттского влияния.<sup>3</sup> Государство хеттов не было однородным по этническому составу и языку. С точки зрения языка в его состав, кроме многих других, для нас неизвестных народов, входили хетты (неситы), палайцы и лувийцы. Лувийцы заселяли территории ближе к южному побережью Малой Азии. На юго-востоке Малой Азии, как это стало известно после открытия Х. Боссера,<sup>4</sup> был распространен язык, близкородственный лувийскому, памятники которого, записанные иероглифическим слоговым письмом, проливают некоторый свет на древнейшую историю Памфилии. Но прямых сведений о Памфилии в этих текстах нет. Более того, раскопки, правда, к настоящему времени совершенно недостаточные,<sup>5</sup> не дают никаких следов присутствия крито-микенцев на этой территории в отличие от соседней Киликии. Поэтому мы обратимся к мифам о началах Памфилии и к попыткам соотнесения этих мифов с текстами из Кара-Тепе в Киликии, что было сделано, в частности, Б. В. Казанским,<sup>6</sup> интерпретацию которого мы приведем полностью: «По традиции, идущей от лидийского историка Ксанфа, Мопс, сын Ракия и жрицы Манто (что значит «пророчица»), был основателем известного прорицалища в Колофона (Лидия), соперником (победителем в состязании) Калханта, прорицателя ахейского войска под Троей в „Илиаде“; он свергает также лидийского царя. Затем, за год до троянской войны (по традиции в 1180 г. до н. э.), он переходит (вместе с Амфилохом, основателем города Посидония) в Памфилию, где женится на Памфиле (олицетворение местного населения), дочери Кадера (в имени которого Барнетт угадал древнее название Крита: библейское Kaphtor, вавилонское Kaptara, египетское Keftiw, т. е. олицетворение поселенцев с Крита микенской эпохи). Мопс основал здесь город Аспенд и Фаселис, отсюда последовал далее на восток, по южному побережью Малой Азии, и основал в Киликии Маллос и Тарс, а затем продвинулся по сирийскому побережью до Аскалона в Финикии. Этот путь соответствует движению „морских племен“ на Египет до и после 1200 г. до н. э. и хронологически совпадает с ним».

Билингва из Кара-Тепе говорит о царях, принадлежащих к дому Мукса. Имя последнего было отождествлено с засвидетель-

<sup>3</sup> Goetze A. Kleinasien. 2. Aufl. München, 1957.

<sup>4</sup> Дунаевская И. М. Язык хеттских иероглифов. М., 1969. Там же указана литература.

<sup>5</sup> Mansel A. M. 1) Ausgrabungen in Pamphylien in den Jahren 1946—1955. — Archäol. Anzeiger, 1956, N. 1—2, S. 34; 2) Bericht über die Ausgrabungen und Untersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1957—1972. — Ibid., 1975, N. 1—2, S. 49—96.

<sup>6</sup> Казанский Б. В. Историческое значение хеттского (иероглифического) и финикийского текстов надписей Кара-Тепе. — В кн.: Древний мир. М., 1962, с. 274 сл.

ствованным в текстах линейного письма В Mo-*o*-so-*jo* (gen.), далее с именем, упомянутым в письме хеттского царя Арнуванда IV к Маддуваду,<sup>7</sup> — Mukšaš и, наконец, с героями приведенной выше легенды.

Аситавад, от лица которого составлен иероглифический текст, называет себя царем дануна (имя, отождествленное П. Кречмером<sup>8</sup> с данайцами). Среди прочих деяний он упоминает о расширении территории государства и об основании города, который он назвал своим именем. По предположению Барнетта,<sup>9</sup> название этого города следует отождествить с Аспендом греческих текстов. Подробное обоснование этому мы находим у Э. Лароша,<sup>10</sup> объяснившего переход As(i)tawa <ns> da → \*Astwend- (ΕΣΤΦΕΔΙΓΣ надписей) → \*Askwend- → "Ασπενδος как произошедший в рамках ликийского языка (приблизительно VII в. до н. э.), для которого рядом примеров засвидетельствовано развитие группы -tv- > -kv-. Исторические и археологические данные, таким образом, заставляют считать для Аспенда исходной датой середину VIII в. до н. э., чему не противоречат и лингвистические наблюдения. Согласно греческой традиции, город был колонизирован выходцами из Аргоса, но на протяжении всей истории сохранял некоторые негреческие черты. Монеты начиная с V в. имеют легенду ΕΣΤΦΕΔΙΓΣ с характерным для ликийского переходом начального *A*- в *E*. Греческая традиция дает, однако, название "Ασπενδος или Ασπένδιος. Можно было бы предполагать, что в момент заимствования этого имени греками уже произошел переход -tw- > -kw-, следующая ступень развития -kw- > -p- объяснима уже в рамках истории греческого языка, тем более что интересующий нас переход, вероятно, происходил параллельно с последним из переходов, упразднивших лабиовелярные в греческом языке.<sup>11</sup>

Влияние со стороны носителей этого языка прослеживается также в переходе интервокального -d- в -r- (*Φιραρά* < \*Φιραδχъ; *Λυκομιτέρας* < *Люкомитидхъ* и пр.). Типология звуковых изменений показывает, что ротацизм интервокального -d- связан с наличием в фонологической системе межзубного спиранта δ.<sup>12</sup> Но и помимо типологических параллелей некоторые факты памфилийской графики свидетельствуют о спирантном характере фонемы, реализации которой на письме отражались при помощи дельты.

В истории греческого языка известны случаи исчезновения \*-n-: это случай упрощения группы -ns-, что свойственно большей

<sup>7</sup> Goette A. Madduwattaš. — Mitt. der Vorderasiatisch-Aegyptischen Gesselsch., 32. Jahrgang 1. Leipzig, 1928, S. 38.

<sup>8</sup> Kretschmer P. Die Danawer (Danuna) und die neuen kilikischen Funde. — Anzeiger philol.-hist. Klasse der Österreich. Akad. Wissensch., 1949, Bd X, S. 186 folg.

<sup>9</sup> Baggett R. D. Mopsos. — J. Hellenic Studies, 1953, vol. 73, p. 140 sq.

<sup>10</sup> La Roche E. Comparaison du Louvite et du Lycien. — Bul. Soc. ling., Paris, 1967, vol. 62, p. 48.

<sup>11</sup> Lejeune M. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Paris, 1972.

<sup>12</sup> Себренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 125, 149.

части греческих диалектов.<sup>13</sup> В аркадском диалекте после превращения *-g-* в *-j-* стоящее перед ним *-n-* перестало обозначаться на письме (*ἐπιθιάνη* < *ἐπιθιγάνη*, где произошло развитие *n* → *nj* → *j*).<sup>14</sup> Также спирантный характер имела, судя по всему, фонема */d/* и в языке лувийских иероглифов, например окончание ablativa *-di* передается как *-rī*, сущин от глагола с корнем \*ed отражается как *a-gina* и пр.<sup>15</sup> Явление ротации интервокального *-d-* в памфилийском, другим греческим диалектам неизвестное, было объяснено В. Дресслером<sup>16</sup> влиянием со стороны лувийского иероглифического языка.

Город Перга древнее Аспенда. Р. Дюссо<sup>17</sup> отождествил этот топоним с *Pi-ik-ga-ia* в уже упоминавшемся письме Арнуванда IV к Маддуваду. Крупный местный культ богини, соотнесенной греками с Артемидой, но иногда по традиции называвшейся ИАНАУЧА ПРЕПА, изображения которой на монетах напоминают о заимствованном хеттами у хурритов культе Шаушги (Иштари вооруженной), наталкивает на мысль о первоначально негреческом населении этого города. Древнейшей формой этого топонима, вероятно, нужно считать форму *\*Pergaia*,<sup>18</sup> изменившуюся в ПРЕПА, пройдя стадию метатезы *-eg-* в *-ge-* и спирантизации интервокального *-g-* в позиции *-ega-*, что неизвестно другим греческим диалектам за пределами Памфилии, но засвидетельствовано в лувийском клинописном языке, тексты которого датируются концом II в. до н. э. (напр., *tiiami* ← *\*tegami*, ср. хетт. *tekān* «земля»).<sup>19</sup> Это изменение затронуло и греческую лексику. Этимологически прозрачное имя *Μεγάλης* в надписях передается как *Mēlālēs*. Переход *-ega-* в *-eja-*, как видно из примера с топонимом Перга, произшел позже, чем метатеза *-eg-* в *-ge-*, представленная в памфилийском диалекте достаточно широко. Кл. Брикс провел любопытную параллель с передачей в греческом языке ликийского названия *Tērmili* как *Τερμίλας*, что позволяет датировать метатезу примерно VIII—VII вв. до н. э.<sup>20</sup> Надо полагать, что влияние на спирантизацию интервокального *-g-* не прекратилось с развитием лувийского языка сперва в ликийский *B*, давший в свою очередь ликийский *A*.

О происхождении другого топонима — Силлейона, или Силлия, нельзя сказать ничего определенного. Надпись, самая боль-

<sup>13</sup> Lejeune M. Phonétique . . . , p. 128—132.

<sup>14</sup> Buck C. D. The Greek dialects. Chicago, 1955, p. 59.

<sup>15</sup> Дунаевская И. М. Язык хеттских иероглифов. М., 1969, с. 79.

<sup>16</sup> Dressler W. Pamphylyisch -d- zu -r-. Ein weiter Substrateinfluss? — Arch. Orientálny, 1965, vol. 33, p. 183—189.

<sup>17</sup> Dussaud R. Prélydiens, Hittites et Schéens. Paris, 1953, p. 61, n. 4.

<sup>18</sup> Подробнее см.: Казанский Н. Н. Перга. — В кн.: Лингвистические исследования 1978. Синтаксис и морфология языков различных типов. М., 1978, с. 84—87.

<sup>19</sup> Сопоставил О. Семерены (Semeugen O. An Agreement between Pamphylian and Luvian. — In: Studi Micenei ed Egeo-Anatolici XXVI, Roma, 1965, p. 129).

<sup>20</sup> Брикс Cl. Le dialecte grec de Pamphylie, p. 62.

шая в памфлийском корпусе, дает форму этникона, подкрепленную монетными легендами Σελγιος. Колебания в передаче этого топонима удивительны. Брикс считает данный топоним анатолийским и приводит два доказательства, ни одно из которых не может, на наш взгляд, иметь решающего значения: колебание е/и в корне, свойственное хеттскому языку, имеет еще вариант с -и- (**Σόλλεον**), для хеттского невозможный; суффикс -iwa- в хеттском языке не засвидетельствован.<sup>21</sup> Такая цепочка звуков имеется в хеттских именах, из которых лишь единицы этимологизируются. Также неблагополучно обстоит дело и с названием Селги (на монетных легендах — единственном местном источнике — читается ΕΣΛΕΓΙΥΣ/ΣΤΑΣΓΙΥΣ) и Сид, где найдены две, правда сильно разрушенные, билингвы вотивного содержания, датируемые II в. до н. э. Сидетская часть, насколько ее удалось прочитать, интерпретируется в рамках анатолийских языков, как это показал Г. Нойманн.<sup>22</sup>

Прежде чем закончить сводку фактов о началах Памфилии, обратимся к карте. Сейчас, когда доказано, что ликийский язык является непосредственным потомком лувийского, и найдены тексты, говорящие о присутствии в Киликии носителей языка, близкого к лувийскому, географические данные приобретают особую ценность. Ликия (Lukka хеттских текстов и Ru-ki-ja текстов линейного письма *B*), вероятно, непрерывно находилась в руках анатолийцев. Уже давно сделанное сопоставление имен Лиции и Ликаонии (*Λύκια* и *Λυκαονία*) сейчас принято почти всеми. Таким образом, карта этого района чрезвычайно напоминает положение Локриды в материковой Греции, разделенной вторжением дорийцев на три государства, между которыми поместились Дорида и Фокида: Локриду Озольскую, Локриду Эпикнемидскую и Локриду Опунтскую. Помимо соотнесения названий Лиции и Ликаонии, сходство подтверждается существованием трех Киликий. Сама карта говорит в пользу того, что греческое население здесь появилось позднее, разобравшись более или менее единое население лувийского происхождения. Не вызывает также сомнений, что греческая колонизация шла с моря.

По сравнению со сведениями исторического и мифологического характера изобразительное искусство не дает почти никакого материала. Интересно лишь изображение сфинкса на монетах из Перги, явно лишенного каких бы то ни было зловещих черт, добавленных, как известно, уже греческим воображением к анатолийскому мотиву.<sup>23</sup> Можно, таким образом, полагать, что традиция представлений о сфинксе в Памфилии мало отличалась от анатолийской. Интереснее монеты из Селги и Аспенда, на которых изображены два борца, удивительным образом напоминающие, по нашему

<sup>21</sup> Ibid., p. 165—166.

<sup>22</sup> Neumann G. Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit. Wiesbaden, 1961, S. 43.

<sup>23</sup> Dessenne A. Le Sphinx. Etude iconographique. Paris, 1957.

наблюдению, «борцов» из могилы Авгуро в Тарквиинах, всем известной этруской фрески. Это сопоставление заставляет вспомнить о том, что ту территорию, которую к исходу II тыс. до н. э. занимали лувийцы, до их прихода заселяли племена, язык которых, судя по всему, не был индоевропейским. Пожалуй, единственная черта, обязанная своим появлением влиянию «малоазийского», или, как еще принято называть, «азиатического» субстрата, — это явление афтерезы в именах типа *Αθαναδόρος/Θαναδόρος*, этимология первой части которых неизвестна. П. Кречмер связывал это явление с хатским языком,<sup>24</sup> единственным языком древней Анатолии, в котором префиксы имели словоизменительное значение, но это объяснение сейчас оставлено, так как не поддается осмыслению.<sup>25</sup>

Таким образом, можно выделить фонетические изоглоссы, объединяющие памфилийский диалект с лувийским клинописным языком и с его непосредственным продолжением. Характерно, что эти изоглоссы связаны со спирантизацией смычных, которая много столетий спустя произошла во всех областях распространения греческого языка. Памфилийский диалект, как видно из сказанного выше, испытал влияние со стороны анатолийских языков в тех звеньях своей системы, в которых такое изменение позднее совершилось имманентно.

Изучение внешних связей памфилийского диалекта еще только началось. Значительно большая работа проделана в области установления генетических связей памфилийского диалекта, хотя результаты, достигнутые в этой области, нельзя признать исчерпывающими.

Самое частое определение, применяемое к памфилийскому диалекту, — «смешанный» диалект.<sup>26</sup> Такое определение опирается на традицию, связанную в конечном счете с названием и самоназвианием памфилийцев. Не вызывает сомнений, что сами памфилийцы воспринимали свое название как греческое: что-то вроде «собрания всех фил». Такие представления о первоначально смешанном населении государства обычны (ср., например, предания об основании Рима). Но с точки зрения словообразования имя выглядит странно. Вполне правдоподобно поэтому предположение, согласно которому, *Πάμφυλος* — греческая переделка какого-то местного названия.<sup>27</sup>

После того как были определены черты развития диалекта, обязанные своим происхождением влиянию со стороны анатолийских языков, необходимо проследить связи памфилийского диалекта с другими, греческими же диалектами. Легенда о Мопсе

<sup>24</sup> Kretschmer P. Zur ältesten Sprachgeschichte Kleinasiens. — Glotta, 1933, Bd 21, S. 86—90.

<sup>25</sup> Furneau E. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. Paris, 1972, S. 368.

<sup>26</sup> В этом определении сходятся почти все исследователи. См., напр.: Buck C. D. The Greek dialects, p. 5; Thumb A., Kiekers A. Handbuch der griechischen Dialekte. Göttingen, 1939, S. 47—48.

<sup>27</sup> Täubler E. Pamphylien. — Glotta, 1927, Bd 15, S. 146—150.

заставляет в первую очередь обратиться к данным аркадского, кипрского и крито-микенского диалектов, несомненно представляющих собой реликт древнейшей волны греческого переселения. Среди изоглосс, признанных всеми исследователями, укажем на следующие:<sup>28</sup> 1) нейтрализация *e/i* перед назальным (аркадский, кипрский); 2) нейтрализация *o/u* в исходе слова (аркадский, кипрский); 3) глайд после *i* и *u* в гиаите (микенский, аркадский); 4) ослабление конечного назального (кипрский); 5) суффикс *infinitivi activi* атематических основ *-νας* (аркадский, кипрский); 6) дательный падеж в функции ablative (аркадский, кипрский; возможно, микенский); 7) употребление частицы *ντ*, которая могла принадлежать к ахейскому фонду; 8) наличие слов *ΔιFία*, *Ιάναφα*, *ἰσFέξε* (микенский, аркадский, кипрский). Сюда же следует добавить употребление *τ* вместо *θ*: *ἀτρόποις* *Πυτζίω*, которые А. Ронкони сблизил с написаниями памятников центрального Крита,<sup>29</sup> где дорийское влияние было слабее, чем на побережье, что позволило сохраниться ряду архаизмов, относящихся к ахейскому слову. Кроме того, следует обратить внимание на предлог *ὑπάρ*, имеющий параллели в крито-микенском диалекте (*ι-ρα-ρακι-ρι-ja* = *ὑπάρ-άχρια*)<sup>30</sup> и *-περτί* <*\*πρετί*,ср. гомеровское *προτί*. Огласовка - *ε-* последнего слова параллелей не имеет.

Последовательное употребление окончаний *dativi pluralis -οισι*, *-αισι* не может рассматриваться как существенная для классификации черта: в результате происшедшего во всех греческих диалектах синкретизма дательного и инструментального падежей<sup>31</sup> появилась возможность выбора между формами *-οισι* / *-οις*, *αις* / *αισι*, реализация которого происходила уже в рамках отдельного диалекта.

Окончание дательного падежа множественного числа имен существительных третьего склонения *-εσσι* представляет собой инновацию (переосмыслено из *-es-*, относящегося к основам на *-os/-es* и окончания *-si*), наиболее полно отраженную в эолийском диалекте. Неожиданное для памфилийской графики обозначение гемминированной согласной могло бы свидетельствовать о позднем (около IV в. до н. э.) заимствовании. Остается неясной изоглосса, объединяющая памфилийский диалект с лесбосским и дорийским диалектом Родоса — окончание 3-го лица императива во множественном числе *-δθ*, *-σδθ* (соответственно из *νιον* и *-σνον*) при обычном для других диалектов *-ντών*, *-σθών*.

Также остается неясным вопрос об отсутствии палatalизации конечной группы *-ti*. Это архаическая черта дорийских диалек-

<sup>28</sup> Brixhe Cl. Le dialecte grec de Pamphylie, p. 145—146, 150.

<sup>29</sup> Ronconi A. Il dialetto della Pamfilia. — Studi italiani di filologia classica, 1930, vol. 8, p. 25—37.

<sup>30</sup> Thum A., Scheger A. Handbuch der griechischen Dialekte. Bd 2, Heidelberg, 1959, S. 360.

<sup>31</sup> Троинский И. М. Дательный падеж множественного числа основ на *-ο-* в греческом языке. — В кн.: Проблемы сравнительной филологии. М.; Л., 1964, с. 94—103.

тов — памфилийский мог либо вернуться к непалатализованным формам под влиянием дорийских диалектов — согласно греческой традиции, в VIII в. до н. э. Аспенд и Селга были повторно колонизованы дорийцами (Strabo, XIV, 570, 667), а Сиды — эолийцами, либо просто сохранить общий с дорийскими диалектами архаизм.

Особого внимания заслуживает имя Дивии ( $\Delta\!Fία$ ), известное также в крито-микенском пантеоне (di-wi-ja). За пределами Памфилии в греческих областях I тыс. до н. э. Дивия как самостоятельное божество засвидетельствована только в Сикионе и Флиунте (Strabo, 382). У Гомера это имя превратилось в устойчивый эпитет, применимый не только к божествам, но также и к людям.<sup>32</sup>

Культ Аполлона, о котором свидетельствует силлайонская надпись, где упомянуты имена Дивии и «Владычицы Перги», должен находить самые близкие параллели на Кипре, если судить по форме имени: памф. 'Απέλλου — кипр. 'Απείλων.

Многие диалектные явления могут быть объяснены из позднейшей истории Памфилии. Вместе с другими греческими областями Памфилия стала частью Персидской державы и впоследствии была завоевана войсками Александра Македонского. С этого момента начинается проникновение кoine и диалектные особенности постепенно стираются. Процесс этот заканчивается в эпоху римского владычества.

Приведенные данные показывают генетическую общность с аркадо-кипрской группой древнегреческих диалектов, носители которых принадлежат к древнейшей волне греческого переселения. Все они в I тыс. н. э. отнесены на периферию греческого ареала. Территория, заселенная памфилийцами, прежде входила, как это яствует из исторических данных, в лувийский ареал. Совпадение маргинаций этих двух ареалов привело к формированию Памфилии как особой области со своим диалектом и, возможно, со своим этническим составом.

Л. Ф. АРТЮХ, Т. В. КОСМИНА

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО  
АРЕАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УКРАИНЦЕВ  
КОНЦА XIX—НАЧАЛА XX В.

В целях определения этнографического районирования Украины, выявления специфики традиционно-бытовой культуры населения плодотворным представляется сравнительный анализ отдельных ее видов. Нами предпринята попытка картографирования декоративных элементов народного жилища одной из историко-этнографических зон Украины — Подолии (по современному политico-административному делению УССР она соответст-

<sup>32</sup> Brixhe Cl. Le dialecte grec de Pamphylie, p. 139.

вует территории Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей и северным районам Одесской обл.). Подолия является одним из исторически сложившихся этнографических районов с устойчивым комплексом традиционно-бытовой культуры.<sup>1</sup> Занимая юго-западную часть украинской лесостепи, земли Подолии издавна заселены восточнославянскими племенами — уличами и тиверцами. Этот пограничный со степью район в течение многих веков был ареной борьбы славян с кочевыми народами. В разные исторические периоды коренному украинскому населению Подолии пришлось испытать на себе гнет иностранных поработителей: феодалов Литвы, Польши, Турции, Австро-Венгрии. Заселение опустошенного бесконечными войнами края происходило в основном за счет коренного населения, возвращавшегося в родные места, а также за счет украинцев, спасавшихся от феодального гнета и бежавших из северо-западных (Волынь, Полесье) и западных (Галиция) районов Правобережной Украины.<sup>2</sup> В течение XV—XVIII вв. тут появляются также компактные группы поселений русского и польского населения, а в пограничной с Молдавией поднестровской зоне — молдавские.<sup>3</sup>

Специфика исторической судьбы подолян, расположение территории обусловили своеобразие этнической структуры, которая в конце XIX—начале XX в. характеризовалась абсолютным преобладанием украинского населения и наличием ряда компактных поселений русских, поляков и молдаван. Таким образом, этот историко-этнографический район Украины представляет несомненный интерес для этнографических исследований. Однако ис-

<sup>1</sup> Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Т. 7, вып. 2. СПб., 1877; Волков Ф. Этнографические особенности украинского народа. — В кн.: Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2. Пгр., 1916; Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Л., 1928; Юрченко П. Г. Народное жилище Украины. М., 1941; Стельмах Г. Ю. Етнографічне районування України кінця XIX—початку ХХ ст. — Наук. зап. Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, Київ, 1958, т. 4; Коцміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець XIX—XX ст. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1980.

<sup>2</sup> Крикун М. Г. Втічі на Поділля в першій половині XVIII ст. — Вісник Львівськ. ун-ту ім. І. Франка. Сер. іст., 1965, вып. 3, с. 61—63; Перковський А. Л. Етнічна, соціальна структура населення Правобережної України у XVIII ст. — Іст. джерела та їх використання. Київ, 1969, вип. 4, с. 200—208; Маркина В. Ф. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. Киев, 1961, с. 30—37; Кабузан В. М., Махнова Г. П. Численность и удельный вес украинского населения на территории СССР в 1795—1959 гг. — История СССР, 1965, № 1, с. 29—37.

<sup>3</sup> Маркина В. А. Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII—60-е годы XVIII ст. Киев, 1971, с. 153; Науленко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975, с. 27—28; Дружинина Е. И. 1) Северное Причерноморье в 1775—1800 гг. М., 1959, с. 131—132; 2) Южная Украина 1800—1825 гг. М., 1970, с. 74; Чижиков Л. Н. Об этнических процессах в восточных районах Украины. — СЭ, 1968, № 1, с. 18—19; Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX веке. Кишинев, 1979.

тория формирования традиционно-бытовой культуры населения Подолии, сравнительный анализ своеобразия ее этнических традиций, их локальное варьирование остаются еще пока не достаточно изученными. Региональное этническое своеобразие отдельных видов культуры подолян в конце XIX—начале XX в., как известно, было отмечено в работах как дореволюционных, так и советских исследователей. И в наше время традиционная культура населения этого района Украины продолжает обнаруживать устойчивость регионального этнического своеобразия.

Однако, естественно, не все аспекты и виды материальной культуры были охвачены ареальными этнографическими исследованиями. Достаточно скромен опыт ареального изучения «пограничных» форм культуры, которые занимают «промежуточное» положение между материальной и духовной формами традиционно-бытовой народной культуры. К ним, в частности, относятся различные виды народного искусства.

Декоративное оформление народного жилища как составная часть народной художественной традиции в последнее время привлекает внимание не только искусствоведов и архитекторов, но и этнографов.<sup>4</sup> Однако приемы архитектурного декора пока еще не стали предметом картографического исследования.

Источниками для картографирования послужили полевые исследования авторов;<sup>5</sup> материалы, собранные Этнографической комиссией Всеукраинской Академии наук в 1920-е годы и другие материалы фондов Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР;<sup>6</sup> материалы Государственного музея этнографии народов СССР (Ленинград),<sup>7</sup> Музея украинского декоративно-прикладного искусства УССР (Киев),<sup>8</sup> исторических и краеведческих музеев (Каменец-Подольск, Винница, Хмельницкий, Тернополь).

За единицу картографирования принят дореволюционный уезд, апробированный в этом качестве в связи с подготовкой атласа «Русские» и ряда региональных историко-этнографических атласов.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Анализ работ по этнографическому изучению русского народного искусства, в том числе и архитектурного декора, см.: Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. М., 1981, с. 14—20.

<sup>5</sup> Фонды Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР (далее: Фонды ИИФЭ), ф. 14-5.

<sup>6</sup> Фонды ИИФЭ, ф. 1—7, ед. хр. 440, 685—691, 700—737, 155, 299а; ф. 14-9, ед. хр. 110—118.

<sup>7</sup> Фонды ГМЭ, ф. 2, оп. 2; ф. 2883, оп. 68—88, коллекции рисунков настенной живописи на кальках, № 2581, 4255, 4279, 4322, 4355, 4480; материалы фототеки ГМЭ.

<sup>8</sup> Фонды Музея украинского народного декоративно-прикладного искусства, кол. Н. Барчиковской; материалы фототеки Музея.

<sup>9</sup> См.: Рабинович М. Г. К методике этнографического картографирования. — В кн.: Проблемы картографирования в языкоизнании и этнографии. Л., 1974, с. 65.

Картографической основой послужила часть бланковки, которая была подготовлена для Регионального историко-этнографического атласа Украины, Белоруссии и Молдавии (составители В. И. Нгулко, Н. К. Гаврилюк). По западным районам Подолии (современная Тернопольская обл.) ряд мелких уездов с однотипными явлениями культуры были нами объединены в одну картографическую единицу (рис. 1).<sup>10</sup>

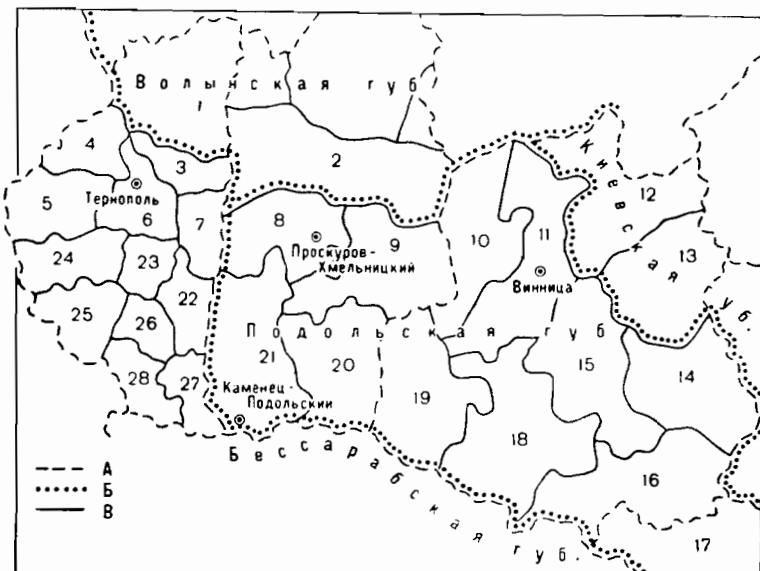


Рис. 1. Административно-территориальное деление исследуемой территории.

*A* — границы современных областей; *B* — границы губерний; *V* — границы уездов; уезды: 1 — Кременецкий, 2 — Староконстантиновский, 3 — Збаражский, 4 — Зборовский, 5 — Бережанский, 6 — Тернопольский, 7 — Скалатский, 8 — Проскуровский, 9 — Летичевский, 10 — Литинский, 11 — Винницкий, 12 — Бердичевский, 13 — Липовецкий, 14 — Гайсинский, 15 — Брацлавский, 16 — Ольгопольский, 17 — Балтский, 18 — Ямпольский, 19 — Могилевский, 20 — Ново-Ушицкий, 21 — Каменец-Подольский, 22 — Гусятинский, 23 — Теребовлянский, 24 — Подгаецкий, 25 — Бучацкий, 26 — Чертковский, 27 — Борщевский, 28 — Залещицкий.

В силу значительных трудностей в определении количественных характеристик картиграфируемых сюжетов, которые относятся к «пограничным» формам культуры, на картах представлено лишь бытование явлений без указания частотных характеристик выделенных вариантов.

Среди приемов внешнего украшения отдельных частей традиционного жилого комплекса для сравнительного картографического ареального анализа нами выбраны приемы декорирования основных элементов (стены и крыша) жилого дома. В системе общих принципов декоративного оформления сельского жилища

<sup>10</sup> Косміна Т. В. Сільське житло Поділля, с. 7.

для каждой историко-этнографической зоны Украины конца XIX—начала XX в. обнаруживаются достаточно ярко и черты типологического своеобразия, которые обуславливаются вариантными различиями декоративных приемов и средств их исполнения, соответствующих архитектурно-конструктивным особенностям (планировке и стройматериалам) каждого из зональных типов.

Так, например, в широкой лесостепной полосе основными типологическими архитектурно-конструктивными признаками жилища украинцев являлись трехкамерная планировка жилого дома двух типов (хата—сени—хата и хата—сени—комора), каркасная техника возведения стен с последующей их обмазкой глиной и побелкой и четырехскатные крыши, покрытые соломой. Соответственно этому бытовали два основных приема внешней отделки стен жилого дома, которые выражались в одноцветной (белой) либо двухцветной (белая и цвет натуральной глины) раскраске фасадных стен. Двухцветная раскраска свойственна для второго типа планировки (хата—сени—комора), тогда как одноцветная применялась в оформлении жилища обоих типов планировки. На фоне этих двух приемов внешней отделки, являющихся традиционными для украинского жилища в целом, подольский зональный тип выделяется наличием развитых приемов полихромного его оформления. При двухцветной раскраске контрастность цветового решения усиливалась цветовыми (различные оттенки цветных глин) полосами (*підводки*, *смужки*, *смужечки*, *въюнчики*, *кривульки*, *крапки*), которыми оформлялись стыки (*шви*) разноцветных площадей стены. Этот прием, как показал картографический материал, повсеместно распространен на территории Подолии и выходит за ее пределы в юго-восточном направлении, захватывая область распространения центрально-днепровского и южного типов украинского жилища.

Одноцветные побеленные стены в подольском жилище центральных и юго-западных районов становились фоном для размещения живописных (полихромных) монументальных росписей. Преимущественно росписью оформлялись верхняя часть фасадной стены (*піддашок*, *фриз*), оконные и дверные проемы, углы стен и нижняя часть стены, и часть, примыкающая к завалинке (*призьба*). Активность традиций художественного декорирования полихромными росписями подольского жилища проявилась в том, что при появлении новых архитектурно-конструктивных элементов в жилище (выносные карнизы в связи с переходом на конструкции многобалочного потолка при опоре стропил в выносы потолочных балок; пильястры под влиянием городской архитектуры и т. п.) они получили традиционно-декоративную трактовку.

В пределах зонального подольского типа жилища степень насыщенности полихромными декоративными элементами увеличилась с северо-востока к юго-западу.

Приемы художественной отделки жилища декоративными росписями имеют аналогии в декоративном оформлении жилища

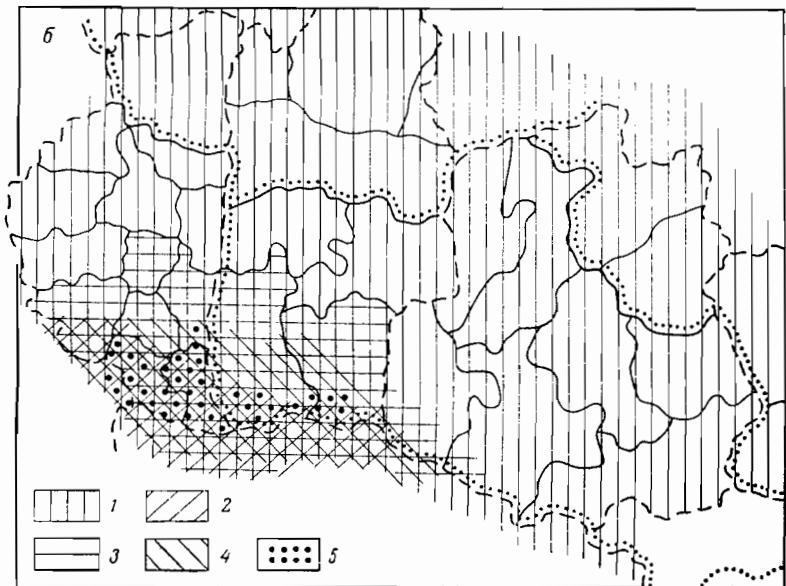
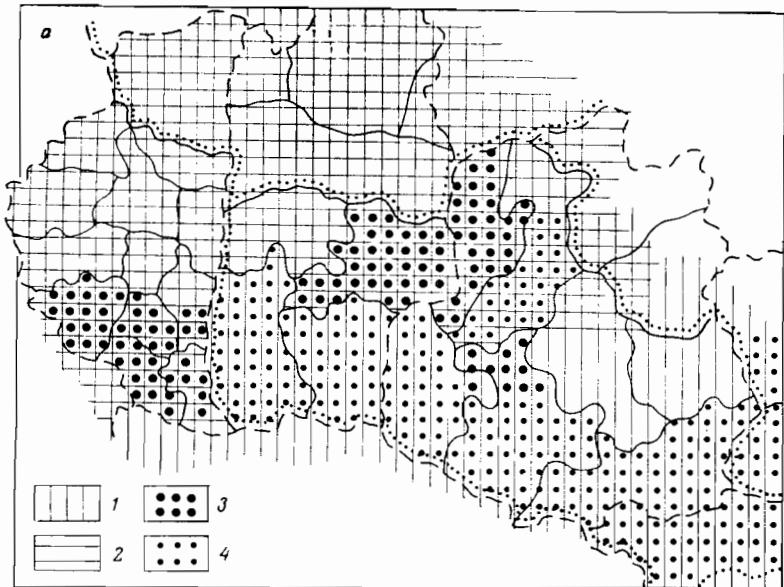


Рис. 2. Приемы декорирования жилого дома.

*a* — раскраска стен: 1 — одноцветная («побелка»); 2 — двухцветная; 3 — оформление цветными глинями стыков разноцветных площадей; 4 — полихромная роспись; *б* — укладка соломенной крыши; 1 — гладкие скаты и одинарные уступы по углам, 2 — гладкие скаты и двойные-тройные уступы по углам, 3 — двойные уступы по нижнему краю скатов и одинарные по углам, 4 — одинарные уступы по скатам и по углам, 5 — одинарные уступы по скатам и двойные-тройные по углам.

западных и южных славян, молдаван и венгров.<sup>11</sup> На рис. 2, а представлены основные варианты картографируемого явления от наиболее скромных простых подводок и приемов побелки только жилой части дома в комбинации с подводками отдельных частей жилого дома (сени, комора, призьба) цветными глинами до полихромных сюжетных декоративных монументальных росписей.

Наибольшей вариатностью приемов декоративной отделки выделяется зона Поднестровья. В декоре тут использовались не только полихромные подводки, но и достаточно разнообразные приемы настенной полихромной живописи. Живописные композиции в виде разнообразных вариантов цветовых и сюжетно-композиционных сочетаний располагались на строго установленных народной традицией местах: карниз, над дверью, вокруг окон, угловые пилasters, над завалинкой.

Аналогичная тенденция обнаруживается при анализе способов декора соломенной крыши жилого дома. Как известно, для жилища правобережной части украинской лесостепи, в частности и Подолии, типична укладка соломы связанными спонниками и выкладывание уступов по углам четырехскатной крыши с высоким развитым гребнем под козликами, тогда как для русского и белорусского жилого дома был наиболее типичен способ укладки разостланной соломой.

В пределах зонального подольского типа жилища обнаружились разнообразные приемы декорирования соломенной крыши жилого дома.

На рис. 2 представлены основные варианты декоративного оформления: от наиболее скромно оформленных крыш северо-восточных районов, когда уступами выкладывались лишь углы крыши, до максимально насыщенной пластической декорировкой уступами всех четырех скатов, имеющих, кроме того, сдвоенные либо даже строенные ряды уступов по углам крыши (рис. 2, б). Максимальной пластической насыщенностью отличается жилище крайних юго-западных районов Подолии и жилище населения зоны Поднестровья. Таким образом, картографирование отдельных декоративных элементов народного жилища, как и других этнографических особенностей традиционного народного жилища Подолии (планировка, конструктивные особенности, типы застройки двора и др.),<sup>12</sup> выделило ряд его вариантов в пределах зонального типа — северо-восточный, центральный и юго-западный, в котором наиболее ярко очертилась зона Поднестровья.

Предварительный сравнительный анализ современного состояния целого ряда рассмотренных нами явлений материальной культуры<sup>13</sup> с представленными материалами конца XIX—начала

<sup>11</sup> Там же, с. 153, 157, 166.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> В частности, нами были картированы формы свадебного хлеба и разновидностей печенья, используемого на свадьбе. Эти карты подтвердили совпадение ареалов вариантов различий в северных, центральных и юго-западных районах Подолии.

XX в. обнаруживает расширение территориальных границ исследуемой историко-этнографической области, увеличение переходных зон со смешанными зональными признаками и ареалов бытования эстетически более колоритных, поливариантных и многофункциональных культурно-бытовых стереотипов.

На фоне общих закономерностей развития традиционной материальной культуры достаточно ярко проявляется специфика отдельных ее видов. Так, жилище, будучи в значительной степени опосредовано материально-технической базой, более подвержено модификации. Однако в предпочтительном использовании определенных стройматериалов и особенно в системе выбора средств художественной выразительности убедительно обнаруживается современное функционирование сложившихся в прошлом зональных художественных стереотипов традиционной материальной культуры. Для декоративного решения современного индивидуального сельского жилого дома определяющим остается его полихромность, которая осуществляется в настоящее время в современных стройматериалах: цветными бетонами, керамической плиткой, мраморной крышкой и т. п. При этом ареал юго-западного варианта значительно продвинулся на север, захватив почти все центральные районы зоны.

## II. ИЗОГЛОССЫ И ИЗОПРАГМЫ

Н. И. ТОЛСТОЙ

### О ПРЕДМЕТЕ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ЕЕ РОЛИ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И ЭТНОСА

В предшествующих двух сборниках, посвященных проблемам картографирования и ареальных исследований,<sup>1</sup> моим коллегам и мне представлялось важным и нужным обосновать и подчеркнуть общность задач и методов при картографическом и ареалогическом подходе в языковедении и этнографии, т. е. в двух весьма близких и родственных, но все же различных и самостоятельных дисциплинах. Сама по себе эта методологическая и прагматическая направленность, сопоставление изоглосс и изопрагм (изодокс), наложение лингвистических и этнографических ареалов, осознание общности судьбы носителей языковых и этнографических особенностей и т. п. не новы в науке. Комплексный подход был присущ филологии и этнографии XIX—начала XX в., в пору еще достаточно диффузного состояния многих гуманитарных дисциплин. Новым, пожалуй, следует признать ощущение системности и иерархии фактов, выявление типов лингвистических и этнологических ландшафтов, разграничение и взаимосвязь методов типологического и сравнительно-исторического анализа, способы исторической интерпретации ландшафтов, ареалов, изоглосс и изопрагм (изодокс), а тем самым — и способы реконструкции лингвистического и этнографического состояния прежних эпох.

Ареальная лингвистика и ареальная этнография нуждаются в некотором пересмотре (но никак не в коренной ломке!) всего последовательного ряда научных разысканий — от составления программ-вопросников, методики сбора полевого материала и его первичной научной обработки до описательно-типологических и этногенетических разысканий на основе вновь собранных, архивных и ранее введенных в исследовательский оборот фактов. Совершенствование «верхних» ступеней или ярусов научного

<sup>1</sup> Проблемы картографирования в языкоznании и этнографии. Л., 1974; Ареальные исследования в языкоznании и этнографии. Л., 1977.

анализа невозможно без аналогичного прогресса во всех предшествующих «средних» и «нижних» ярусах.

Однако в связи с этим практика научной работы последнего времени все настойчивее приводит нас к мысли о том, что для лингвистов и, вероятно, для этнографов недостаточно констатаций методологического и прагматического параллелизма в их научных дисциплинах, недостаточно временных или длительных соприкосновений в тех или иных дисциплинарных пограничных областях. Должна существовать отдельная, в некотором смысле автономная по отношению к языкоzнанию и к народоведению дисциплина, внутренне единая и гомогенная — этнолингвистика. Этнолингвистика не есть простой гибрид языковедения и этнологии или смесь отдельных элементов (факторологических и методологических) того и другого. Бурно развивающиеся и оправдывающие во многом свое современное существование социолингвистика, психолингвистика, математическая лингвистика и т. п. не оказались внутренне противоречивыми и конгломератными дисциплинами, во-первых, и дисциплинами, далеко выходящими за границы лингвистики или даже порывающими связь с ней, во-вторых. Они лишь четко определили аспект, в котором формируется и функционирует язык или в котором он изучается.

Этнолингвистика есть раздел языкоzнания или — шире — направление в языкоzнании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции. Во всех разысканиях подобного рода язык как средство общения и как одна из важнейших форм этнической (племенной, народной, национальной) культуры, как средство ее определения и поэтического выражения оказывается в доминантной позиции. Он всегда остается основным предметом исследования вне зависимости от того, какая субстанция (языковая или неязыковая) и какая функция (коммуникативная, обрядовая, мифологическая и т. п.) подвергается анализу.

Если же говорить о лингвистических методах, применяемых в этнолингвистике, а также в ряде других наук, в том числе и в этнографии, то во многих случаях они называются «лингвистическими» главным образом или лишь потому, что они впервые или ярче всего были применены в науке о языке или даже в каком-то из ее разделов. Это относится к понятиям, в общем не зависящим от природы объекта, к понятиям оппозиции, нейтрализации, дифференциального признака и т. д. и т. п., которые появились в фонологии, затем проникли в другие разделы лингвистики, а позже вышли за ее пределы. По сути дела это все относится не к чисто лингвистическому, а к логическому или семиотическому аппарату, и в этом и ценность этой методики для лингвистики, так как она не изолирует науку о языке, а вводит ее в более широкий круг научных дисциплин. Это еще в начале нашего века очень хорошо понимал Ф. де Соссюр, когда писал: «Для нас

же проблемы лингвистики — это прежде всего проблемы семиологические, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл лишь в свете этого основного положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка; а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма существенными (например, функционирование органов речи), следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они служат только для выделения языка из совокупности семиологических систем. Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычая и т. п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой науки».<sup>2</sup>

Швейцарский лингвист, таким образом, видел лингвистику (не экспериментально-физическую и т. п.) и этнографию (не обращенную исключительно к материальной культуре) объединенными в рамках семиологии — «науки, изучающей жизнь знаков в рамках жизни общества». Оставляя, однако, в стороне вопрос о том, что является предметом семиологии и как его следует понимать в наше время, отметим, что многие семиологические (или даже структурно-логические) положения, широко применяемые в лингвистике, в том числе и в лингвистической географии и ареалогии, еще мало внедрены или вовсе неизвестны в этнологии. В этом на данном этапе науки можно видеть авангардную роль языковедческой методологии и методики и значение этнолингвистики для всех дисциплин, изучающих этнос, в первую очередь духовную культуру этноса в разных ее проявлениях.

Нужно сказать, что сам термин «этнолингвистика» и этнолингвистический подход к языку не новы. Историки языкоznания справедливо обнаруживают некоторые этнолингвистические идеи еще у И. Г. Гердера (XVIII в.) и не менее знаменитого В. Гумбольдта (нач. XIX в.), но этнолингвистика как направление и как определенный подход к языку сквозь призму его духовной культуры возникла в первой трети XX в. и была связана с именами этнографа Ф. Боаса и языковеда и этнографа Э. Сэпира, изучавших языки, лишенные письменной традиции, языки и культуру американских индейцев. Для Э. Сэпира было характерно утверждение, что «речь есть чисто историческое наследие коллектива, продукт длительного социального употребления. Она многообразна, как и всякая творческая деятельность, быть может, не столь осознанная, но все же не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных народов».<sup>3</sup>

Исходя из этого, Э. Сэпир делал по меньшей мере два вывода: язык нельзя признать «чисто условной системой звуковых симво-

<sup>2</sup> Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. — В кн.: Соссюр Ф. Труды по языкоznанию. М., 1977, с. 54.

<sup>3</sup> Сэпир Э. Язык. М.; Л., 1934, с. 6.

лов»; различия в языках и диалектах «при переходе нашем от одной социальной группы к другой никакими рамками не ограничены». Эти выводы в полной мере приложимы к верованиям, обычаям, искусству и т. п., для которых также применимо понятие диалекта и подобных феноменов, перечисляемых нами ниже.

Как известно, идеи Э. Сэпира и Ф. Боаса два десятилетия спустя продолжил и развил их соотечественник Б. Уорф. Он добавил к ряду «язык — литература» еще звено «норма поведения»<sup>4</sup> иставил во многих случаях особый акцент на этом звене, в то время как для нас, как будет видно из дальнейшего изложения, по целому ряду принципиальных соображений существеннее обратить внимание на более гомогенный ряд — «язык, религия, верования, обычай, искусство». Именно этот ряд важен для этнолингвистических разысканий в историческом, диахроническом аспекте, для реконструкции древних соотношений языка и этноса, языка и народной культуры, ибо народная культура столь же диалектна и является не менее ярким показателем этноса и этнических образований, чем язык.

Э. Сэпир и Б. Уорф придали этнолингвистике тот характер, который она в общем языкоznании сохраняет по сей день. Этнолингвистические идеи и методы применяются почти исключительно к языкам и социумам с бесписьменной традицией или к современным языковым процессам и социумам без оглядки на их историческое развитие. Общезыковедческая и синхронно-лингвистическая направленность в значительной мере ограничивают возможности разработки и применения этнолингвистической методики в научных исследованиях и делают саму этнолингвистику периферийной, факультативной дисциплиной в языкоznании. Обращение этнолингвистики к историческим, историко-генетическим проблемам и задачам, к диахроническому плану исследований может придать ей статус цельнооформленной, внутренне непротиворечивой и неодноплановой дисциплины, которая будет способна повлиять на развитие сравнительно-исторических штудий во многих областях, в том числе и в индоевропеистике и балто-славистике. В этом случае можно будет перейти от уже проводившихся отдельных частных опытов к планомерной, методологически и методически организованной серии работ. В XIX в. сравнительно-историческое индоевропейское языкоzнание возникло и начало развиваться параллельно со сравнительной мифологией. Это было плодотворно и в методологическом, и в фактологическом аспектах. В дальнейшем произошло разделение, перешедшее в разрыв, который теперь может быть преодолен лишь на принципиально новых основах.

Такие основы четко определились лишь к середине XX в., когда лингвогеография и ареалогия в лингвистике и этнологии зарекомендовали себя не только как дисциплины, превосходно

<sup>4</sup> Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960, с. 135—168.

систематизирующие факты (не говоря уже о требовании их мас-сowego и планомерного сбора), но и как научное направление, способное предоставить сравнительно-историческим и историко-генетическим исследователям дополнительные фактологические, методологические и теоретические ресурсы. Выработалось понятие лингвистического ландшафта, и возникла возможность историче-ского прочтения карт, ареалов, взаимоотношения ареалов, типов ареалов, типов диалектных зон, архаических, инновационных, контактных и т. п. Это «историческое прочтение» во многих случаях дает большую информацию об истории явления, системы или ареала (затем диалекта, языка и т. п.), чем факты, засвидетельствованные в исторических или языковых памятниках. В тех же случаях, когда памятников письменности нет или их мало, эта ин-формация оказывается к тому же единственной.

Столь значительная «историческая информативность» лингви-стического диалектного ландшафта (равно как и ландшафта мифологического или ландшафта этнокультурного) объясняется в первую очередь фактом неравномерного развития отдельных систем, отдельных уровней системы и даже отдельных элементов системы. При этом едва ли не важнейшим моментом этого положения является следующий: неравномерность развития системы и ее отдельных звеньев наблюдается во всех системах, и прежде всего в близкородственных (они и дают основание для такого заключения), т. е. восходящих к одному языку или прадиа-лекту, к одной общей исходной системе. Эта неравномерность наблюдалась, как отмечалось, не только в пределах системы (в отдельных ее уровнях, звеньях, элементах), т. е. во внутри-структурном аспекте, но и в разных ландшафтно-диалектных зонах и микрозонах, что и создает чрезвычайное богатство типов и вариантов в самых крупных языковых и этнических зонах, скажем, на территории современной Славии, Румынии, Финно-Угрии и т. п.

Примеры подобной неравномерности столь многочисленны, а некоторые из них столь известны, что, вероятно, нет нужды их воспроизводить. Лишь для самой общей характеристики явле-ния можно напомнить о ситуации с простыми прошедшими временами в славянских языках. Утрата простых прошедших времен пережита славянскими языками и диалектами неравномерно. Если современные восточнославянские языки их исключили из своей глагольно-временной системы целиком и по тому же пути пошли все западнославянские, кроме лужицких, формально упрощивших простые прошедшее время и подчинивших их видовой глагольной корреляции, то южнославянские — болгарский и ма-кедонский — их сохранили полностью, укрепив их позиции раз-витой системой прошедших времен, в то время как сербскохор-ватский, особенно в ряде своих диалектов, пошел по пути их посте-пенного вытеснения, а словенский фактически уже закончил этот путь. Отдельные чакавские и словенские диалекты еще недавно фиксировали ряд форм простых прошедших времен, демонстрирую-

щих переходную стадию. И поныне по сербскохорватским и болгарским диалектам ситуация намного сложнее той, что крайне схематично и упрощено изложена нами выше. Безусловно, процесс утраты простых времен можно наблюдать по славянским памятникам письменности, и такие наблюдения имеются, однако принципиально важно для лингвистики создать картину эволюционного процесса по диалектам и по памятникам отдельно, так как многое может быть не отражено в памятниках (правда, следует считаться и с обратным положением), или в памятниках могут отражаться «искусственные» моменты развития, нормирования книжного языка и т. п. Наконец, возможна ситуация, о которой говорилось выше. История отдельных языков, лишенных своей письменной фиксации (среди славянских, например, словацкий или отчасти словенский), прослеживается по данным диалектологии или устанавливается несколько предположительно на основании аналогичных процессов в истории близкородственных языков. Интересную картину могут дать реликты двойственного числа в славянских диалектах, полнее всего представленные в лужицком и словенском. Притом словенские диалекты, как показывают известная книга и атлас Л. Теньера,<sup>5</sup> достаточно полно демонстрируют последовательность эволюции двойственного числа, свойственной в прошлом другим славянским языкам.<sup>6</sup> Не менее ценные диалектные свидетельства, касающиеся эволюции славянского именного склонения (например, словенск. *kri* 'кровь', великорусск. *свекры* 'свекровь' и т. п.).

Весьма благодатное поле для этнолингвистических исследований представляет собой лексика и фразеология. Именно на этих языковых уровнях наблюдается минимальное давление системы, которое довольно значительно в морфологии и сильно в фонологии (фонетике). Некоторая мозаичность лексики повышает степень неравномерности ее развития и способствует консервации отдельных ячеек лексической мозаики и в формальном, и в содержательном плане. Автономность лексики (проявляющаяся ярче всего в сфере имени собственного) позволяет отдельному слову сохранять утраченные на других языковых уровнях черты (явления, формы, нередко смысл-значение) и черты, архаические для лексического уровня. Отсюда проистекает уже сделанный нами вывод, который может считаться одним из основных постулатов исторической (диахронической) этнолингвистики. Сохранение архаических элементов языка, в первую очередь элементов лексического его уровня, происходит в разных диалектах по-разному, и притом в различных звеньях языковой (уже — лексической) системы. Консервация отдельных форм (и значений) наблюдается на разных этапах развития языка (разных и в хронологическом, и в струк-

<sup>5</sup> Tesnière L. 1) Les formes du duel en slovène. Paris, 1925; 2) Atlas linguistique pour servir à l'étude du duel en slovène. Paris, 1925.

<sup>6</sup> Белић А. О двоини у словенским језицима. Београд, 1932; Dosťat A. Vývoj duálů v slovanských jazycích zvláště v polštině. Praha, 1954.

турном отношении). Это дает возможность для целого ряда явлений, для блоков языковой системы и даже для системы в целом устанавливать определенную динамику развития, определенную историческую последовательность или даже эволюционный процесс в пределах того или иного ареала. Другим не менее важным постулатом будет следующий. Чем большее число рефлексов одной прасистемы, одной праформы или одного проявления зафиксировано в диалектах, тем более достоверной или полной может быть реконструкция процесса изменения системы, формы, категории или явления, равно как и исторически исходной формы, категории, системы. И в первом и во втором случае крайне существенна ареальная характеристика явления, формы и т. п., представленная на лингвистической (resp. этнолингвистической) карте или данная иным путем, учет соотношения показателей в плане корреляции центра и периферии, сплошных и разорванных ареалов и микроареалов, интерференции ареалов, их дисперсии и т. п. «Историческое прочтение» лингвистических и этнолингвистических карт и данных иного порядка — дело весьма сложное и важное, требующее выработки специальной методики или, лучше сказать, методологии. Как уже отмечалось, этому должна быть подчинена и методика сбора и первичной обработки материала (составление программы-вопросника и т. п.).

Отметим снова, что ряд приведенных положений не должен претендовать на новизну. Однако их изложение оказалось необходимым хотя бы потому, что все они применимы не только к языковому материалу, но и к материалу народной духовной культуры, который издавна принято считать этнографическим или фольклорным. Более того, для определения генезиса и истории народной культуры предложенная выше методика необходима в еще большей мере, чем для решения историко-лингвистических задач. Это прежде всего относится к такой базисной сфере древних народных культур, как мифология.

В самом деле, большинство индоевропейских языков имеет относительно давнюю историческую фиксацию, т. е. развивалось в двух формах — устной и письменной. Что касается письменной фиксации мифологии, то эта «привилегия» свойственна лишь отдельным индоевропейским этносам. Такие этносы, как балтийский и славянский, ее почти лишены. Совершенно очевидно, однако, что ранняя письменная фиксация мифологических текстов (религиозных представлений), как и в случае с языком, не является единственным историческим источником для живых этносов и языков. Более того, этот источник, как и в случае с языком, может во многих случаях отражать лишь одну «книжную» форму мифологии, давая мало сведений о народных мифологических представлениях. Вот почему нам кажется чрезвычайно актуальным неоднократно ставившийся нами вопрос о разработке диалектологии и мифологии, конкретно славянской мифологии, и о необходимости к древнеславянской (prasлавянской) мифологии подходить с учетом возможного ее диалектного дробления. Учи-

тывая в общем пантеистический характер многих славянских (и индоевропейских) мифологических представлений и современный славянский «мифологический ландшафт», такое древнее праславянское дробление нам кажется весьма вероятным, тем более что оно, по-видимому, соответствовало и языковому (диалектному) дроблению. Во всяком случае, трудно предположить, что праславянская мифология сводилась к единой, узко ограниченной схеме, тем более к одному сюжету или «основному мифу», к «семье громовержца» или к подобным построениям. Разнообразие славянской народной изустной традиции в сфере обрядов, поверий и обычаяев, т. е. диалектность духовной культуры, делает ее незаменимым и почти единственным источником для истории мифологических воззрений и форм, для диахронических мифологических штудий, для определения динамики развития отдельных мифологических систем, для их этнического, территориального и хронологического приурочения в прошлом.

При этом довольно четко выявляется изоморфизм языка и отдельных блоков народной культуры или всей ее системы в отношении книжности/некнижности (письменной фиксации/отсутствия ее), нормированности/непримитивности, недиалектности/диалектности и т. п. Народная духовная культура может описываться теми же наборами признаков, какими описывается язык, с применением тех же понятий, какими пользуется языкознание и которые относятся по сути дела к одному или общему логическому аппарату, поскольку на языке и на народную культуру можно смотреть, как на различные семиотические (знаковые) феномены, связанные с определенным социумом и, что еще важнее, определенным этносом (ср. выше высказывание Ф. де Соссюра). Последний момент позволяет усматривать в народной духовной культуре наличие территориальных и социальных «диалектов», наличие культурных семей, культурных союзов (по модели языковых семей и союзов) и применять к народной духовной культуре понятия и термины «субстрат», «адстрат» и т. д. Для народной культуры также существенно оперирование понятиями «двоекультурье», «гомогенное» или «гетерогенное двоекультурье (поликультура)» и т. п.

Что касается структуры народной культуры или отдельных ее «жанров», то к ней также применимы многие положения, понятия и термины, устоявшиеся в лингвистике. Их изложение должно быть предметом отдельной статьи или ряда статей. Нам уже приходилось писать о применении понятия «грамматика» к народной духовной культуре, к обрядам,<sup>7</sup> о возможности морфологического и синтаксического описания ее структуры, о наличии в отдельных сферах или блоках народной культуры парадигматического и синтагматического плана, т. е. о необходимости различения в автономных сферах («жанрах») народной культуры системы

<sup>7</sup> Толстой Н. И. Из «грамматики» славянских обрядов. — Труды по знаковым системам. 15. Тарту, 1980.

и текста. Сама структура текста в некоторых разделах («жанрах») народной духовной культуры, скажем, в таком существенном разделе, как обряды, — сложнее языкового текста, так как представляет собой единство вербального (словесного), реального (предметного) и акционального (действенного) планов. Это единство укрепляется обычно синонимичностью знаков, представленных в ритуале в разной форме — в виде ритуального слова, ритуальной вещи или ритуального акта. Такая синонимичность увеличивает во много раз комбинаторную возможность знаков разных регистров (вербального, реального, акционального), а тем самым и степень неравномерности наличия и функций обрядовых элементов и структур в разных диалектных зонах. Во всех этих случаях, особенно когда дело касается проблем семантики, проблем значения обрядовых единиц (знаков), в *рабалная* (языковая) сторона занимает доминирующее положение. Изучение этой стороны вопроса является одной из важных задач этнолингвистики. Так, этнолингвистика способствует разрешению ряда этнографических проблем, организуя исследования духовной культуры в сравнительно-историческом, генетическом аспекте в первую очередь. Этим современная этнолингвистика, как отмечалось выше, существенно отличается от предшествующей.

Этнолингвистическое изучение самой терминологии конкретной духовной культуры позволяет проследить историю и эволюцию этой культуры в главных ее чертах и получить о ее древней, часто первичной структуре определенное представление, так как термин в обряде, ритуале, мифологии отражает ключевые моменты обряда и мифологических взглядов или указывает на мифологические персонажи, предметы и действия исключительной важности. Такое положение, на наш взгляд, не требует доказательств. Достаточно привести в качестве примера работы Э. Бенвениста о социально-экономической структуре индоевропейцев,<sup>8</sup> чтобы уяснить себе роль терминологии в реконструкции породившей ее системы.

Еще больший вес этнолингвистики обнаруживается в исследовании различных древних, часто сохранившихся до наших дней, словесных формул, заклинаний типа сербск. *Бор те убио!* — нечто вроде «Убей тебя бог!» (где, однако, *бор* не просто эвфемизм вместо *бог*, но и выражение культа деревьев, сосны — *ббр* — ‘сосна’), либо *Пусти врбово, узми дреново!* — дословно «Брось вербовое, возьми кизиловое!», обычно в обращении к младенцу, нечто вроде «Перестань быстро расти, становись крепче!» (где снова отражается культ деревьев вербы и кизила и представления о них, распространенные у сербов) и т. п., фразеологизмы типа русск. *куда Макар телят не гонял; черта с два! родиться в сорочке; не все дома и т. д.*,<sup>9</sup> народных поэтических клише, т. е. во всех тех

<sup>8</sup> Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. Économie, parenté, société. Paris, 1969.

<sup>9</sup> На вопрос В. М. Мокиенко, относится ли историческая фразеология к этнографии или лингвистике, можно ответить без особых сомнений: отно-

сферах, которые могут быть еще обозначены как «историческая (или доисторическая) лингвистика текста».

Наконец, неоспорима и весьма значительна роль этнолингвистики в исследовании архаичной лексики и в лексической реконструкции. Если в сфере, скажем, все тех же славянских языков, реконструируя их общий источник — праславянский язык, для фонетического и частично морфологического уровня слависты могут предложить относительную, а для позднего периода и абсолютную хронологию, то для уровня лексического пока существует только одно определение — «prasлавянское», без какой бы то ни было дополнительной временной стратификации. Связь слова с обрядом, мифом, тем или иным звеном древней славянской и индоевропейской духовной культуры может снабдить слово дополнительной информацией, необходимой для его лингвистической стратиграфии. Это в полной мере применимо и к лингвоэтнографии. Изоморфность пучков изоглосс с пучками изопрагм (линий, выделяющих ареалы одинаковых предметов материальной культуры) и пучками изодокс (линий, выделяющих ареалы одинаковых явлений духовной культуры) повышает ценность и значение и первых, и вторых, и третьих, как в аспекте исследования современного лингвистического и этнографического членения этнических территорий, так и в аспекте их исторического и «доисторического» (prasлавянского, прагерманского, индоевропейского и т. д.) состояния. В последнем случае часто обнаруживается тесная смычка с еще одной исторической дисциплиной — археологией.

Задачи и методы исторической этнолингвистики излагались нами то с позиции языкоznания, то с позиции этнологии, как некие параллельные или двуединые задачи и приемы исследования. В этом, безусловно, сказалась довольно прочная традиция размежевания языкоznания и этнологии, традиция, установившаяся к XX в. и имеющая под собой реальную основу. Но такая позиция и такой взгляд на суть вещей оправдан скорее психологически, чем фактически, ибо существование единого, нерасчлененного этнолингвистического подхода вполне реально и обосновано самим предметом исследования — словом, возникшим и функционирующем в этнической среде, в сфере народной культуры. Основанием для работ этнолингвистического направления является и то, что язык сам — составная часть и орудие культуры и может быть описан и часто описывается через признаки, общие для всех явлений культуры. Как бы ни членились языковедческие, этнографические, культурологические и другие родственные дисциплины, в них будет всегда ярко проступать общая семиологическая основа.

---

сится к этнолингвистике (см.: Мокиенко В. М. Историческая фразеология: этнография или лингвистика? — ВЯ, 1973, № 2, с. 21—34).

**АРЕАЛЬНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ  
В ИССЛЕДОВАНИИ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ  
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
(МАРТОВСКИЕ ОБРЯДЫ)**

Календарные обряды современных народов Европы прошли многовековой путь развития, в котором немалую роль играли межэтнические контакты в обрядовой сфере. В результате этих контактов на территории Европы сложились обрядовые зоны, часто не совпадающие с лингвистическими границами, но отражающие сложность исторического развития отдельных территорий. Выделение этих зон для целых обрядовых комплексов, отдельных обрядов или их элементов едва ли можно осуществлять, не ставя вопрос о времени и механизме их образования. В настоящей работе мы хотим поделиться некоторыми наблюдениями о происхождении европейских обрядовых ареалов на конкретном примере мартовского обрядового комплекса, до сих пор мало привлекавшего внимание исследователей.

Используя выражение «мартовский обрядовый комплекс», мы считаем нужным сделать некоторые уточнения. Мы будем говорить об обрядах календарных, т. е. имеющих точную привязку в пределах определенной календарной системы. Как известно, в христианском календаре существуют праздники переходные и непереводные. Мы будем говорить о последних, т. е. о праздниках, время празднования которых регулируется только порядком месяцев и дней юлианского календаря.<sup>1</sup> При этом необходимо помнить, что даты юлианского календаря не мотивированы явлениями природного или хозяйственного года, и поэтому общность календарной привязки обрядов неизбежно связана с общностью происхождения. Географическое ограничение нашей работы Восточной Европой связано с тем фактом, что религиозно-календарные традиции двух частей христианского мира (римско-католической и греко-православной) с давнего времени значительно расходятся. Мартовский обрядовый комплекс получил развитие главным образом в греко-православной сфере, и его западные связи, сколь ни важны они для истории этого комплекса, требуют специального исследования. Для того чтобы представить себе нагляднее резкость географической границы между обрядами этих двух конфессиональных зон, приведем в качестве примера пробную карту «Этнологического атласа Югославии», по которой можно определить время, когда жгут обрядовые костры в разных районах Югославии.<sup>2</sup> Если проследить распространение значков,

<sup>1</sup> Соответственно все даты в работе, кроме особо оговоренных, приводятся по юлианскому календарю.

<sup>2</sup> Novak V. Etnološki atlasi v Evropi. — In: Traditiones, 3. Ljubljana, 1974, karta med str. 176—177.

обозначающих костры, которые жгут в течение великого поста,<sup>3</sup> то окажется, что эти значки совсем не заходят в области, заселенные словенцами и хорватами, встречаются в областях со смешанным сербским и хорватским населением, но в основной своей массе распределяются между сербами, черногорцами и македонцами, т. е. среди народов, входивших в греко-православную культурную общность. Совпадение народного обрядового ареала с ареалом конфессиональным (при несовпадении с лингвистической картой) позволяет предполагать, что время формирования того и другого ареала существенно близко.

В марте народы Восточной Европы знают три основные обрядовые даты: 1, 9 и 25 марта. В современности эти три праздника в значительной мере усреднены, нивелированы вследствие перехода отдельных верований и обрядов с одной обрядовой даты на другую.<sup>4</sup> Тем не менее их происхождение весьма различно.

Праздник 25 марта — благовещение, стоящий в иерархии праздников почти наравне (для народного сознания) с пасхой и рождеством, распространен по всему христианскому миру. На этот день приходилось весеннее равноденствие во времена Юлия Цезаря; в этот день римского календаряправлялся важнейший праздник в честь Матери богов,<sup>5</sup> и не случайно к этому же дню был приурочен христианский праздник, посвященный матери богочеловека. Первоначальная связь праздника с астрonomической датой ослабилась уже ко времени Никейского собора, когда весеннее равноденствие приходилось на 21 марта юлианского календаря. Позднее эта связь была едва ли не вовсе утеряна; во всяком случае в народной традиции ее следы незаметны. Западная и Восточная Европа сохранили немало общих черт в этом празднике, в частности поверье о том, что календарное совпадение благовещения и пасхи грозит величайшими бедами.<sup>6</sup> Таким образом, хотя представители разных вероисповеданий празднуют благовещение в разные даты (по юлианскому или григорианскому календарю), они празднуют один и тот же праздник с точки зрения его происхождения.

<sup>3</sup> Картографируемый элемент выбран не совсем удачно. В период великого поста костры жгут как на передвижные даты (*Bela nedelja*, *Čisti ponедељак*, *Todorova subota*), так и на стабильные (1, 9, 25 марта), которые нас будут интересовать в дальнейшем. Связь между этими двумя рядами дат очень слаба.

<sup>4</sup> Хороший материал для нахождения общих элементов дает, например, описание всех трех праздников, в статье: Василева М. Календарни празници и обичаи. — В кн.: Добруджа. София, 1974, с. 324 сл.

<sup>5</sup> См., например: Whittaker C. R. (ed.). *Herodian in two volumes*. Vol. 1. London, 1969, p. 65 (комментарий к: Herod. I, 10, 5; там же указана литература).

<sup>6</sup> См.: Новоселова Л. В. Весенний период народного календаря в Западной Сибири (пасхальный цикл). — В кн.: Сибирский фольклор. Вып. 4. Новосибирск, 1977, с. 28; Гроzdова И. Н. Народы Британских островов. — В кн.: Календарные обычай и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977 (далее: ВП), с. 95.

Совсем иная история у первомартовского праздника. По-видимому, этот праздник также был широко распространен в Римской империи еще до принятия христианства. В его складывании существенную роль сыграли римские первомартовские церемонии, но, как мы полагаем, еще большее значение имели греческие традиции празднования первых дней того весеннего месяца, который по афинскому календарю именовали анфестерионом. Обычаи некоторых романских народов донесли до наших дней лишь скучные остатки этого праздника;<sup>7</sup> зато в пределах греко-православного мира он сохранил важное значение. Как мы указывали в другой работе, есть все основания отнести формирование первомартовской обрядности к раннему средневековью, т. е. к периоду окончательного сложения юлианского календаря в его современной форме.<sup>8</sup> Однако средневековые свидетельства очень скучны, и мы остановимся в настоящей работе лишь на той информации, которую нам предоставляют обряды современных народов.<sup>9</sup>

Большинство первомартовских обрядов греко-православного мира принадлежит к обрядам, регулярно повторяющимся в разные даты праздничного календаря. Сюда следует отнести разнообразные магические процедуры, апотропейские и катартические обряды, призванные обеспечить благополучие в течение лета. В число последних входят обряды изгнания из дома всякой нечисти: природной (змеи, вредные насекомые и т. п.) и сверхъестественной (в первую очередь — болезней, которые представляются в виде демонов женского пола). Обряды продуцирующей магии представлены в первомартовском празднике, в частности символическим приурочиванием к этому дню некоторых видов сельскохозяйственных работ или открытия промыслового сезона.

<sup>7</sup> См.: Красновская Н. А. Итальянцы. — ВП, с. 14; Листова Н. М. Народы Швейцарии. — ВП, с. 182.

<sup>8</sup> Аинфертев А. Н. К истории мартовских обрядов в Греции. — СЭ, 1979, № 1, с. 135, 137 сл. В этой работе указаны основные свидетельства преемственности первомартовских песен (хелидонисм: от слова «хелидоп» 'ласточка') на территории Греции от античной древности до наших дней.

<sup>9</sup> Укажем некоторые описания, дающие хороший материал по отдельным народам, которым мы пользуемся в дальнейшем изложении без специальных ссылок: Abbott G. F. Macedonian folklore, 2 ed. Chicago, 1969, p. 16—24 (греки); Sako Z. Le jour de l'été en Albanie, ses cérémonies rituelles et ses chansons. — МФ, 1973, г. 6, бр. 12, с. 15—20; Трајкоски Н. Пролетни обичаи и песни кај Македонците и Власите во Струга. — Там же, с. 223—237; Поповски А. Пролетни обичаи и песни кај Македонците-муслумани во Река (Дебарско). — Там же, с. 203—221; Салих А. Прилог за проучуването на обичаите околу Први март кај Турците во Охрид. — Там же, с. 229—232 (о турках, живущих в македонском окружении); Вакарелски Х. Бит. — В кн.: Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. 1. София, 1935, с. 424; Салманович М. Я. Румыны. — ВП, с. 300 сл.; Попович Ю. В. Календарная обрядность. — В кн.: Молдаване. Кипинев, 1977, с. 290 сл.; Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963, с. 31—33.

Специфичны для первомартовских праздников некоторые детали. К ним относится в первую очередь использование в качестве апотронея красно-белых шнурков (мы будем их в дальнейшем называть болгарским словом *мартеница*).<sup>10</sup> Их привязывают детям на запястье (но также и скоту, плодовым деревьям), а по прошествии определенного срока выбрасывают с определенным приговором<sup>11</sup> или используют для магических процедур. Обычно срок ношения мартеницы заканчивается при первом появлении перелетных птиц (ласточек и т. д.), и их кидают иногда вслед птице. В то же время другие первомартовские обряды уже сами по себе посвящены встрече перелетных птиц. В первую очередь речь идет об обходах домов с изображением перелетной птицы, при которых поются подходящие к слуха песни.<sup>12</sup> Бытование этого обряда в Греции является хорошо известным фактом. Между тем их можно найти и у соседних народов.

Песни, совершенно аналогичные греческим, есть и у албанцев.<sup>13</sup> Правда, в некоторых случаях такие песни упоминаются в качестве присловий при избавлении от мартеницы, но этот переход вполне закономерен. Интересно, что вариант такой песни бытует у албанцев Италии, что позволяет возводить албанский обычай ко времени, предшествовавшему созданию поселений в Италии (XV в.).<sup>14</sup> В этой песне ласточку просят унести мартеницу в море, а взамен принести здоровье. Значение этой детали хорошо прослеживается при сравнении с новогреческими хелидонисмами; там, как и в действительности, ласточка летит из-за моря или с острова посреди моря, от белого моря,<sup>15</sup> от великого моря,<sup>16</sup> от черного моря.<sup>17</sup> Из-за черного моря летит ласточка и в македонской песне.<sup>18</sup> Эту песню поют во время первомартовского обхода домов дети, носящие с собой деревянное изображение ласточки, что полностью совпадает с новогреческим обрядом. В то же время у македонцев можно найти и текст, связывающий ласточку с мартеницей, как у албанцев. Мартеницу бросают на розовый куст, приговаривая: «Ластојде, грамотнице, на ти сино и зелено, дај ми бело и црвено!».<sup>19</sup>

<sup>10</sup> В пределах указанной территории мартеницы не знакомы, как будто, восточным славянам, хотя полной уверенности в этом у нас нет.

<sup>11</sup> Исходный магический смысл этой операции, как мы полагаем, состоит в том, чтобы выбросить вместе с мартеницей то зло, которое она на себя переняла.

<sup>12</sup> См.: Аифертьев А. Н. К истории мартовских обрядов...

<sup>13</sup> Зойзи Р. Албанцы. Верования. — В кн.: Народы зарубежной Европы. Т. 1. М., 1964, с. 551.

<sup>14</sup> Sako Z. Le jour de l'été..., р. 16.

<sup>15</sup> Passow A. (ed.). Popularia carmina Graeciae recentioris. Lipsiae, 1860, N 305, 306, 307.

<sup>16</sup> Αἰκατερίνιδος Γ. Ν. Ἐαρινὰ ἔθιμα λαϊκῆς λατρείας τὴν περιοχὴν Σερρῶν. — Α' Συμπόσιου λαογραφίας τοῦ Βορειοελλαδικοῦ χώρου. Πρακτικά. Θεσσαλονίκη, 1975, σ. 11.

<sup>17</sup> Abbott G. F. Macedonian folklore, p. 18.

<sup>18</sup> Миладинов Д., Миладинов К. Зборник. Скопје, 1962, с. 474.

<sup>19</sup> Каваев Д. Пролетни обичаи од Струга. — МФ, 1973, г. 6, бр. 12, с. 219; Sako Z. Le jour de l'été..., р. 18.

Почему ласточка названа грамотницей? Ответ на этот вопрос следует искать в новогреческих хелидонисмах, где о ласточек часто говорят, что она знает грамоту (*γράμματα*). Текст средневековой хелидонисмы как-то странно сопряжен с текстом алфавитария — акrostиха, в котором строчки последовательно начинают буквами алфавита. Уже в этом тексте дети сообщают, что они посланы учителем (как и в современных песнях). Видимо, первомартовский обряд издавна использовался школой в своих целях. Недаром и в средневековый Рим он проник через школьную среду.<sup>20</sup> Во всяком случае македонские и албанские мартовские песни нерасторжимо связаны с греческими, и притом объясняются только через греческие. Этот факт, так же как совпадение не только самого обряда, но и его даты, заставляет предполагать греческое происхождение этих песен.

Уже в самой Греции первомартовские песни иногда исполняют при других весенних праздниках (особенно часто на благовещение). Доказать вторичность этих приурочений, как мы полагаем, нетрудно, в то время как приурочение к 1 марта является достаточно древним и мотивированным. В то же время, выйдя за пределы греко-албано-македонского ареала, мы сталкиваемся — в отношении мотива встречи птиц (как и в отношении других элементов мартовской обрядности) — с тройным приурочением: 1, 9, 25 марта. Так обстоит дело у русских и восточных романцев. В пределах этой культурной общности начиная с 1 марта (иногда вплоть до Троицы)<sup>21</sup> дети пели «веснянки» — песни, среди которых есть и прямо относящиеся к встрече перелетных птиц. Пение последних связано с изготовлением фигурок птиц из дерева или из глины;<sup>22</sup> эти фигурки развешивали на деревьях, плетнях, специальных шестах в поле или съедали. Самое главное совпадение между этими обрядами и греко-албано-македонскими заключается в совпадении даты — 1 марта. В текстах песен также можно найти общие черты. В русской веснянке встречается типичный для первомартовских песен мотив «возьмите плохое, дайте хорошее»:

Жаворонки, жаворонки,  
Дайте нам лето,  
А мы вам зиму,  
У нас корму нету.<sup>23</sup>

Здесь тот же мотив обмена, что и в цитированном македонском присловье. В другой очень распространенной веснянке кулик летит «из-за моря»:

<sup>20</sup> См.: Аинферьев А. Н. К истории мартовских обрядов..., с. 138 сл.

<sup>21</sup> Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1862, с. 974.

<sup>22</sup> У восточных романцев этот обряд тесно связан с днем Сорока мучеников — 9 марта; см.: Попович Ю. В. Календарная обрядность, с. 291; Салманович М. Я. Румыны, с. 301.

<sup>23</sup> Шереметьев А. М. Е. Земледельческий обряд «Заклинание весны» в Калужском крае. — Сб. Калужского государственного музея. Вып. 1. Калуга, 1930, с. 40.

Прилетел кулик  
из заморья,  
принес весну (воду)  
из неволья.<sup>24</sup>

Мы полагаем, что и в этом мотиве есть параллель с греко-албано-македонскими хелидонисмами. Остается, однако, необъясненным приурочение обряда к 9 марта.

Между тем тесная связь между датами 1 и 9 марта определяется по целому ряду признаков. У болгар и восточных романцев мартеницы носят 9 или 12 дней. Эти же дни называются «бабиними днями» (*бабини дни, zilele babei*). Непогода в течение этих дней объясняется тем, что некая *баба Марта* или *baba Dochia*,<sup>25</sup> сбрасывает свои 9 или 12 кожухов. В конечном счете она замерзает. В других вариантах этих рассказов речь идет о старухе, которая в конце февраля смеялась над этим месяцем и выгнала свой скот на пастбище. Но февраль занял несколько дней у своего брата марта и в конечном счете заморозил старуху и ее скот. Этот сюжет широко распространен в Европе, но «занятых дней», оказывается, как правило, три.<sup>26</sup> «Занятыми» могут считаться как первые дни марта, так и последние дни февраля.<sup>27</sup>

Важно, что особое сакральное значение придается рубежу февраля и марта. Наличие идентичных поверий у народов, пользующихся иранским солнечным календарем, где эти поверья приурочены к новогоднему рубежу (весеннее равноденствие),<sup>28</sup> вызывает дополнительные вопросы о связи между самими календарями. Во всяком случае в Греции, как и в Европе, опасными для человека считаются первые три дня марта. Очевидно, при распространении мартовского комплекса обрядов и поверий за пределы Греции магическое число 3 заменяется в некоторых случаях на другие магические числа: 9, 12, 40. Числа 3, 9, 12, 40 варьируются и в отношении зловредных существ женского пола: дримий, зын, трясавиц,<sup>29</sup> болестей и т. п. Особое значение приобретает число 9. Первые 9 дней марта оказываются временем господства сверхъесте-

<sup>24</sup> Да ль В. И. Пословицы . . . , с. 976, см. также с. 1023; ср.: "Ше'й и П. В. Великорусс в своих верованиях, сказках, легендах . . . Т. 1, вып. 1. СПб., 1898, № 1175 (в последнем случае встречается мотив «отмыкания весны», который свойствен обрядам Юрьева дня и, вероятно, проник оттуда в текст этой веснянки).

<sup>25</sup> Из Eudochia: 1 марта — день Евдокии-великомученицы.

<sup>26</sup> См.: Покровская Л. В. Народы Франции. — ВП, с. 31: Jours de la Vieille или Jours d'Empreint.

<sup>27</sup> Отнесение сходных поверий к рубежу марта и апреля надо считать, по всей видимости, вторичным.

<sup>28</sup> Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969, с. 183 сл.; Ахмедов Р. Весенний календарно-обрядовый фольклор таджиков. Автореф. дис. Душанбе, 1972, с. 9 сл.; Аидрианов Б. В. Земледелие наших предков. М., 1978, с. 71.

<sup>29</sup> Этот образ и связанная с ним численная символика идет из апокрифов византийского круга.

ственных сил, причем заключительный день этого периода естественным образом приобретает характер важного праздника и на него переносятся многие первомартовские обряды. Отсутствие такого праздника в Греции (и в остальной Европе) позволяет предположить, что сформировался он относительно недавно. Важную роль в его формировании мог сыграть тот факт, что, согласно византийским апокрифическим легендам о трясавицах их изгоняет св. Сисинний — один из 40 мучеников, чья память отмечается 9 марта. В таком случае этот праздник возник на ранее времени проникновения легенды о трясавицах к народам Восточной Европы.

В пределах греко-православного ареала обнаруживаются две зоны мартовской обрядности, выделяемые исходя из времени приурочения. У народов, имевших тесный контакт с материальными греками (албанцы, македонцы), празднуется преимущественно день 1 марта. У болгар, сербов, восточных славян и восточных романцев 1 марта несколько теряет свое значение, при этом важную роль начинает играть дата 9 марта, в праздновании которой нет, по сути дела, ничего такого, что не было бы перенесено с 1 марта. Наконец, в обеих зонах греко-православного мира те же самые обряды и поверья приурочиваются к благовещению, празднику совсем другого происхождения, но имеющему исключительно важное значение во всем христианском мире. Произошло ли это последнее перенесение самостоятельно в разных районах, или здесь сыграла роль византийская обрядовая традиция — сказать трудно. В отличие от благовещения, первомартовские празднества нередко воспринимались как языческие, греховные, что, впрочем, не мешало им распространяться по Восточной Европе вместе с христианством. Не следует, однако, преувеличивать враждебность церкви к этому празднику: в Византийской империи он был довольно рано узурпирован школой и таким образом вошел по крайней мере в сферу церковного контроля. Во всяком случае мы можем наблюдать постепенную эрозию и деформацию византийского обряда (который реконструируется главным образом на основании обрядов современных греков) при переносе его вначале в албано-болгаро-македонскую, а затем в восточнославянскую и восточнороманскую среду. Когда мог совершиться этот переход? Безусловно, не раньше распространения юлианского календаря, вне которого дата 1 марта теряет свой смысл. А юлианский календарь в свою очередь распространялся в Европе по мере ее христианизации. Наконец, дата 9 марта является специфичной для Восточной Европы. Но и в греко-православном мире эта дата не характерна для самой Греции. Мы вправе поэтому предполагать, что представления и обряды, связанные с этим днем, сложились за пределами Греции, на христианизированных Балканах. Это предположение едва ли не бесспорно в отношении самих обрядов, приуроченных к 9 марта, но нуждается в известных модификациях в применении к представлениям, породившим эти обряды. Реконструируя эти представления, мы попадаем в область весьма

сложного комплекса верований, часть которого, отраженная в письменных памятниках, пришла на Балканы опять-таки из Византии.

Несмотря на разное происхождение, все три обрядовые даты нередко демонстрируют одинаковые обряды и поверья. Иногда можно без особого труда обнаружить исконную дату того или иного элемента, но в некоторых случаях это сделать совсем не просто. Переход отдельных элементов обряда из одного праздника в другой совершенно закономерен, особенно в условиях утраты исконного смысла праздника, и ведет к постепенному сглаживанию различий между ними. Разумеется, такие переходы совершаются не только в пределах месяца марта. Элементы мартовской обрядности обнаруживаются в близких по времени праздниках, как устойчивых (23 апреля — день св. Георгия), так и переходных (праздники великопостного цикла и пасхальной недели).

Ареал культурного явления — это понятие не столько географическое, сколько историческое. Наличие ареала подразумевает некоторую общность культурной истории входящего в него населения. Вряд ли можно совсем оторвать выявление ареала от определения хронологических границ его формирования. Сами способы определения географических границ ареала тесно связаны с нашим представлениями о его хронологических границах и о процессах его формирования. При картографировании элементов культуры нужно знать, что именно мы картографируем. Определение тождества или различия элементов культуры становится весьма затруднительным, если не учитывать, что они могут со временем деформироваться до неузнаваемости. Так задача отождествления новогреческих хелидонисм и русских первомартовских песен, связанных с жаворонками, может быть решена только через ряд посредствующих звеньев. Пример обратного рода, когда явления разного происхождения слиты в один картографируемый элемент, мы приводили в связи с пробной картой «Этнолого-географического атласа Югославии», на которой мартовские непереходные праздники включены в число великопостных, не имеющих столь ярко выраженных дохристианских связей. Возможно более точное определение географических и хронологических пределов каждого изучаемого явления — основное условие подлинно научного исследования календарных обрядов.

А. В. ГУРА

**ГЕОГРАФИЯ ГРУППЫ  
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЗВАНИЙ  
СВАДЕБНОГО ДЕРЕВЦА**

Одним из главных атрибутов славянской свадьбы является обрядовое деревце (*елка*, *гильце*, *вильце* и т. п.). В большинстве случаев оно представляет собой украшенную елочку или еловую ветку, иногда другое хвойное дерево (сосну, пихту, вереск), а для украшения часто используются различные вечнозеленые, как и

хвоя, растения (барвинок, можжевельник, лавр, мирт, полевые бессмертники). Такая елочка называется у русских *красота, краса, воля, ёлочка*, у западных украинцев *деревце*, у поляков *jabłonka*, у словаков *drustka, družka, lipka, venec*, у болгар *ела, бор, бахча, каниска, кумово дърво* и т. д. Там, где хвойных деревьев нет, еловая или сосновая ветка заменяется веткой другого дерева, нередко фруктового.

Свадебное деревце выступает в обряде или самостоятельно, или же (даже чаще) представлено в сочетании со свадебным хлебом. Так, например, небольшое дерево или ветки втыкают в испеченный каравай. В этом случае хлеб может играть лишь роль подставки для деревца, но может и само свадебное деревце служить дополнением к хлебу, его украшением. Иногда свадебное деревце встречается в виде изображения дерева или фигурки из теста на хлебе, а иногда хлебному изделию целиком придается форма дерева. Реже свадебное деревце (или вообще растительность) выступает в сочетании с каким-либо сосудом: например, помешено в бутылку, графин, самовар, находится в горшке или в кадке, украшает флягу с вином и т. п. В таком виде оно также отмечено у всех славян.

Среди названий свадебного деревца особо выделяется группа следующих восточнославянских терминов: 1) *ёлка* (*ёлочка*) — в Вологодской, Калужской, Московской обл., восточном белорусском Полесье, украинском Полесье, *ёлочка, ёлочки* (pl. t.) — в Гомельском у., 2) *іўка* — в восточной части Мозырского у., *і́лко, і́лки* (pl. t.) — в украинском Полесье; 3) *ёлец* (*ёлечек*) — в Гомельском у., *йолчик* — в украинском Полесье; 4) *ёлца* (ср. р.) — в Брагинском р-не Гомельской обл., [елце], -á (*елячко*) — в Гомельском у. Кроме того, имеются формы *pluralia tantum*: *ёльцы* (*ёлечки*) — в Гомельском у. (р-не), *і́льци* — на Украине (без точного указания места), *ельцы* — «западное» (Даль, I, 519; СРНГ, 8, 353); 5) *ільце* — в Киевском и Мозырском у., *ілцé* — в окрестностях Немирова в Подольской губ., *ілцé* — в Овручском у. Волынской губ., *ілце* — в украинском Полесье; 6) *гільце* и *гільцé* (*гілечко, гілячко*) — у украинцев в Винницкой обл., в Подольской, Киевской, Полтавской и Екатеринославской губ. и на Кубани, *гілцe* — в украинском Полесье; 7) *гольни* — в белорусском Полесье; 8) *гілцé, гильце* (*гилечко*) — в Липовецком у. Киевской губ.; 9) *вільце* и *вільцé, вілце* — в Киевской губ., *вілечко* — в Киевской губ. (обл.), Черниговской губ. и в Башкирии у переселенцев из Полтавской и Черниговской губ.; 10) *вильце* — в Киевской обл. и Черниговской губ., *вільця* (pl. t.) — на Украине (без точного указания места; Гринченко I, 285); 11) *вельцы* (pl. t.) — в Дмитровском у. Курской обл.

Этот набор отражает контаминацию трех рядов терминов: а) с корнем *ел* (ь)-, связанных с названием хвойного дерева; б) с корнем *гіль-* (*голь-*), связанных с названием ветвей (укр. *гілка, гілляка* 'ветвь', *гілочка* 'веточка', собир. *гілля* 'ветви' и бел. *галіна* 'ветка', собир. *галлё* 'ветви', 'хворост'; ср. аналогичные названия

свадебного деревца с другими корнями: *галузка* на Волыни, *вітка* в украинском Полесье, *ветка* в Орловской губ.); в) с корнем *ви-*, поскольку процесс изготовления и украшения обрядового деревца обозначается, как правило, глаголом *вить*: *вити, вильця* или *вілечко, гільце, іл(ъ)це, віть елец, ельцы, елечки, елочки, віць єлку, завивать вельцы*, ср. также: *вить венки*.<sup>1</sup> К последней группе относится термин *вильце*, который, как считает Я. Б. Рудницкий, послужил основой и для образования термина *гильце*.<sup>2</sup>

Свадебное деревце, обозначаемое перечисленными терминами, изготавливается преимущественно из ели. На великорусской территории это всегда елочка. В западной зоне отмечено украшение (видимо, узор) из теста в виде елочки (*ельцы*) на свадебном каравае (Даль, I, 519; СРНГ, 8, 353). В Белоруссии, помимо ели или сосны, изредка встречается береза и вишня. В Гомельской обл. зафиксированы также особые разновидности свадебного деревца: *ельцы* — пучок конохи или букет цветов (в Гомельском р-не),<sup>3</sup> *ёлца* — цветок, которым украшалась хата невесты в день свадьбы (в Брагинском р-не).<sup>4</sup> На Украине, особенно в более южных районах, вместо хвойных деревьев часто используются фруктовые: яблоня, груша, черешня и вишня. Вишня встречается также на Волыни, в западном Полесье и Подлясье, но терминология свадебного деревца там иная. В Винницком у. *гільце* делают из сосны или калины, в Бершадском р-не Винницкой обл. — из вербры. Украинское *гільце* представляет собой украшенную ветку, с чем связано само название свадебного дерева. Лишь на северо-западной окраине ареала распространения этого термина *гільце* (*гильце*) — не ветка, а маленькое деревце или верхушка дерева.

На Украине *гільце* (*гильце*) или *вильце* (*вільце*) представлено в основном в сочетании со свадебным караваем, так как и в центральном и западном Полесье свадебное деревце объединяется с хлебом. В восточном же Полесье, наоборот, свадебное деревце чаще всего выступает в обряде независимо от каравая, что характерно и для великорусской *ёлочки*.

На территории, где распространены рассматриваемые термины, деревце на свадьбе украшают лентами (иногда бумажными), цветами и различными вечнозелеными растениями, на Украине, кроме того, часто калиной, в Подольской губ. — перьями, в Винницкой обл., Екатеринославской, Полтавской, Киевской (в Радомыслском у.) и Волынской губ. (в Овручском у.) — ржаными колосьями, иногда также пшеничными или овсяными. В восточном белорусском и украинском Полесье на свадебном деревце при-

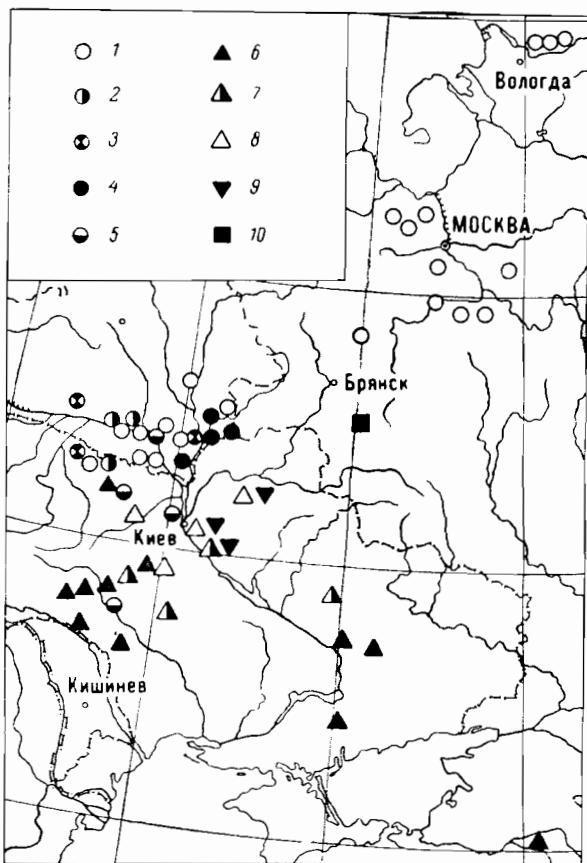
<sup>1</sup> Венок на свадьбе выступает функциональным заместителем деревца в западном Полесье, что имеет соответствие в западнославянских названиях свадебного деревца:польск. *wianek, wieniec*; чеш. *věnec*; словац. *veneč*.

<sup>2</sup> R u d n y c' k y j J. B. An etymological dictionary of the ukrainian language. P. 7. Winnipeg, 1968, p. 628.

<sup>3</sup> Матэрыялы для дыялекцнага слоўніка Гомельшчыны. — В кн.: Беларуская мова. Мовазнаўства. Вып. IV. Мінск, 1976, с. 134.

<sup>4</sup> Там же, с. 136.

крепляют свечки. В этом случае наблюдается совмещение двух разных обрядовых атрибутов (ср., например, свечи как основной отличительный атрибут особого свадебного чина — *светильки*. Не случайно поэтому в Калинковичском р-не Гомельской обл. ёлку со свечками на ней везет старшая светильница).



Названия свадебного деревца.

1 — ёлка (ёлочка), ёлочка, ёлочки; 2 — ёлко, ёлки, ёлка; 3 — ёлец (ёлечек), ёлочик; 4 — [елце] (елячко), ёлце, ёльчи, ёльчи (ёлечки); 5 — ёлце, ёльче, илце, ильче; 6 — гільце (гілечко, гілячко), гілце; 7 — гільце (гілечко); 8 — вільце (вілечко), вілце; 9 — вильце; 10 — вельчи.

При рассмотрении указанных терминов в лингвогеографическом плане видно их взаимодействие, проявляющееся как в фонетическом, так и в грамматическом облике этих слов (см. рисунок). Важно учитывать род данных названий, а также такие фонетические особенности, как начальный согласный (*j*, *g*, *v*) или его отсутствие или корневой гласный (*e* или *'o*, *i*, *u*). Так, термины среднего рода (на *-це*) с Украины распространяются на территорию

нынешней Гомельской обл., *ільце* в Мозырском у., [е<sup>л</sup>це], -а в Гомельском у., *ёлца* (ср. р.) в Брагинском р-не. Белорусскому корневому гласному *e'(o)* (напр., *ёлка*, *глочка*, *ельцы*) в говорах украинского типа (т. е. на Украине и в некоторых районах восточного белорусского Полесья) соответствует в закрытом (и неприкрытом) слоге *i*: *ільце*, *ілце*, *ілко*, *ілки* (северные районы Ровенской и Житомирской обл.),<sup>5</sup> *ільце* (м. Гостомль Киевского у. и с. Михалково Мозырского у.),<sup>6</sup> *ілце* (с. Лугины Овручского у. Волынской губ.,<sup>7</sup> окрестности Немирова в Подольской губ.),<sup>8</sup> *іїка* (села Дерешевичи и Голубица Мозырского у.).<sup>9</sup> Правда, на Украине встречаются и термины *йолчик* (в украинском Полесье)<sup>10</sup> и *йельци*.<sup>11</sup> Точное место бытования последнего нам неизвестно, но, судя по всему, он происходит из зоны белорусско-украинского пограничья. Южнее гласный *i* отражен и в других украинских терминах: *гільце*, *гілце*, *вільце* и *вілце*.

Слова с начальным *j*, связанные с называнием ели, встречаются в северной части распространения всей группы терминов: *ёлка* (украинское и белорусское Полесье, Ельский, Мозырский, Калинковичский районы Гомельской обл., Гомельский, Рогачевский у. Могилевской губ. и далее на великорусской территории), *елец*, [е<sup>л</sup>це], -а, *ельцы* (Гомельский р-н), *ёлца* (Брагинский р-н Гомельской обл.), *йолчик*, *ілко*, *ілки*, *ілце*, *ільце* (северные районы Ровенской и Житомирской обл.), а также без точной локализации укр. *йельци* и зап.-укр. *ельцы*. Там же, но в целом несколько южнее начальный *j* может утрачиваться (в словах *јука*, *ілце*, *ільце*). Большинство из этих терминов отражает контаминацию или сближение названий *ёлка* и *гільце* (напр., *ёлца*, *йельци*). Зона наибольшего смешения таких терминов находится, по-видимому, в Киевской губ., и прилегающих районах, где существуют различные термины для обозначения свадебного дерева: *гільце*, *вільце*, *ільце* или *ільце* — т. е. (*j)іл'це*. Можно полагать, что здесь начальные *g*, *v* и *j* воспринимаются как протезы, так как в одном обряде сосуществуют варианты названий дерева с разными согласными в начале: *гільце* и *вільце* (с. Шпичинцы Сквицкого у. Киевской губ.), *гильце* и *вильце* (м. Борисполь Переяславского у. Полтавской губ.).<sup>12</sup> В Бориспольском р-не Киевской обл. (с. Ду-

<sup>5</sup> Пашкова Г. Т. Етнокультурні зв'язки українців та білорусів Полісся. На матеріалах весільної обрядовості. Київ, 1978, с. 46.

<sup>6</sup> Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Т. IV. СПб., 1877.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Stadnicka Z. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego z okolic Niemirowa na Podoly rosyjskiem. — Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Krakow, 1888, t. XII.

<sup>9</sup> Moszyński K. Polesie Wschodnie. Warszawa, 1928, s. 185, 196.

<sup>10</sup> Пашкова Г. Т. Етнокультурні зв'язки... с. 46.

<sup>11</sup> Zelenin D. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927, S. 311.

<sup>12</sup> Ср., например, такие случаи, как наличие различных протез в одном слове (*вулиця*, *гулиця* и *юлиця*) в Коропском р-не Черниговской обл.

дарков) и в Борзенском у. Черниговской губ. (с. Прохоры) в соответствующих словах варьируется корневой гласный: *вильце* и *вілчко*.<sup>13</sup> На соседней с Украиной южновеликорусской территории представлен термин *вельцы* (Дмитровский у. Курской губ.; СРНГ, 4, 111), также контаминированного образования (ср.: *ельцы* и *вильце*).

При внешнем разнообразии, присущем данной группе терминов, все они взаимосвязаны друг с другом. Поэтому можно предположить, что сходство рассмотренных названий свадебного деревца объясняется не только сближением разных по образованию и фонетическому оформлению терминов (хотя и оно имеет место как явление вторичное), но, возможно, и общим источником, лежащим в их основе, — названием хвойного дерева \*jedl-, тем более, что именно ель как вечнозеленое дерево чаще всего используется для изготовления свадебного деревца, и не только в этой, но и в других славянских зонах. То же свойство (вечнозеленость) характерно и для тех растений, которыми часто украшается свадебное деревце — даже в том случае, когда для изготовления этого обрядового атрибута выбирается не хвойное дерево.

#### A. B. С Т Р А Х О В

### ИЗ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ РУССКОГО ОБРЯДОВОГО ПЕЧЕНЬЯ (ПОМИНАЛЬНЫЕ И ВОЗНЕСЕНСКИЕ «ЛЕСТНИЦЫ»)

Лестницы из теста, выпекаемые в России, в основном на сорокадневное поминовение и на Вознесенье, привлекали внимание ряда видных филологов и этнографов — А. Н. Афанасьева, Е. А. Аничкова, В. Мансикки и др. Однако в ареальном и историческом аспекте это ритуальное печенье и связанные с ним обряды не изучались. В качестве поминального печенья лестницы известны только в южнорусских губерниях: Калужской (Жиздринский, Лихвинский, Козельский, Малоярославский, Мещовский, Перемышльский уезды), Воронежской (Бирючинский, Задонский, Нижнедевицкий, Павловский уезды), Курской (Обоянский и Фатежский уезды).<sup>1</sup>

(Шило Г. Ф. Явище протези в слов'янських мовах. — Питання слов'янського мовознавства. Кн. 2. Львів, 1949, с. 236) или замена начального согласного, происшедшая в результате осмысления его как протезы, в укр. *городець* 'воробей'. Примеры см.: Чубинский П. П. Труды...

<sup>13</sup> Правдюк О. А., Кияница М. Г. Весілля в селі Дударків Бориспільського району Київської області. — В кн.: Весілля. Кн. 2. Київ, 1970, с. 353—375; Коломийчеко П. Весілля в селі Прохори Борзнянського повіту Чернігівської губернії. — В кн.: Весілля. Кн. 1. Київ, 1970, с. 355—392.

<sup>1</sup> Данковская Р. С. Кулик и лестничка — обрядовое печенье Фатежского уезда. — ЭО, 1909, № 2—3, с. 173—174; Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива РГО. Т. I. Гр., 1914, с. 68, 352, 358,

Как дружно указывают собиратели, лестница должна помочь душе умершего взобраться на небо. Поэтому в Воронежской губ. при совершении молебна приглашенным в дом покойного причтом лестницы не лежали (на столе, стуле или скамейке за воротами, часто раскрытыми настежь), что весьма распространено в других местах, а стояли. В Нижнедевицком у. их ставили на божницу,<sup>2</sup> а в Бирючинском у. лестницу величиной в аршин пекли не на поминки, а на похороны и ставили при выносе гроба. Воронежские обряды с лестницей совершались в доме, а в других губерниях могли происходить в церкви, причем лестницу разламывали, часть оставляли причту, а часть съедали родственники покойного. В Малоярославском у. Калужской губ. лестницу клали во время панихиды на могилу.

Число ступеней лестницы фиксировано и, видимо, сакрально: их, как правило, три. Увеличение количества ступеней связано с попытками варьирования в объяснении функции лестницы и действий с нею. В Мценском у. Калужской губ. пекли лестницу о 24 ступенях (по числу мытарств). После совершения панихиды в воротах дома причт съедал эту лестницу, «разделяя другим». Считалось, что таким образом «мытарства сии для души умершего уничтожаются».<sup>3</sup>

Связь поминальных лестниц с христианской мистической символикой основана более на типологической общности представлений,<sup>4</sup> а в генетическом отношении затрагивает только внешнюю форму печенья, но не функцию его как обрядовой реалии. Еще И. Калпинский в этом вопросе привлекал для сравнения известное место из «Жития Константина Муромского» о погребении вместе с мертвыми «ременных плетений древолазных», а В. Мансикка сравнивалечение поминальных лестниц с элементами языческих погребальных обрядов, извлекаемых из обличий средневековых

---

377; т. II, 1916, с. 572, 597, 602—603; М а лы х и н П. 1) Город Нижнедевицк и его уезд. — В кн.: Воронеж. лит. сб., Воронеж, 1861, вып. 1, с. 317; 2) Быт крестьян Воронежской губ., Нижнедевицкого у. — Этногр. сб., СПб., 1854, вып. I, с. 226; М а ш к и н А. С. Быт крестьян Курской губ., Обоянского у. — Там же, 1862, вып. V, с. 82; Очерки поверьй, обрядов, примет и гаданий в Воронежской губ. — В кн.: Воронеж. лит. сб., с. 389; Терентьев А. Некоторые черты из вседневной жизни поменчиков Бирючинского у. прошлого и настоящего времени. — В кн.: Воронежская беседа на 1861 год. СПб., 1861, с. 210; Ш е р е м е т е в а М. Е. Хлеб и обрядовое лечение в б. Перемышльском у. Калужской губ. — Изв. РГО, 1929, т. XI, вып. 2, с. 229, 241.

<sup>2</sup> Ср. полесское леска іконна (божница) при леса (лестница) в том же говоре (Лысенко А. С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — В кн.: Славянская лексикография и лексикология. М., 1966, с. 11).

<sup>3</sup> Зеленин Д. К. Описание рукописей..., т. II, с. 602—603.

<sup>4</sup> Ср. образы лестницы в культе Митры, у гностиков и Оригена (Н и к о лаев Ю. В поисках за божеством. СПб., 1913, с. 51), в Текстах Пирамид и культурах Древнего Востока (см.: Яфетический сборник, Л., 1930, вып. VI, с. 221, 223, 224), у палеозиатов (К сенофонтов Г. В. Легенды и рассказы о шаманах. М., 1930, с. 105 (Сб. МАЭ, Л., 1977, т. XXXIII, с. 67, 99)).

«христолюбцев»: «навъмъ мъвъ творять и въ тѣстѣ мосты дѣлаютъ и колодязъ».<sup>5</sup>

Обычай печь лестницы на Вознесение известен на более обширной территории: Вологодская губ. (Кадниковский у.), Костромская губ. (Буйский, Костромской, Нерехтинский и Чухломской уезды), Ярославская, Московская губ. и обл. (Каширский у., Дмитровский, Зарайский и Талдомский р-ны), Рязанская губ. (Даниловский, Зарайский, Касимовский, Пронский, Раненбургский, Рязанский, Сапожниковский, Спасский уезды), Саратовская губ. (Аткарский и Саратовский уезды), Курская (Новооскольский у.), Харьковская губ. (Купянский и Старобельский уезды), Ростовская обл. (Семикаракорский р-н).<sup>6</sup>

Центром ареала распространения вознесенских «лестниц» следует, по-видимому, считать территорию б. Рязанской губ. Впрочем, преобладание рязанских свидетельств можно отчасти объяснить неравномерностью в этнографическом описании областей центральной России.

Вознесенские ритуалы с лесенками могли происходить в доме, в церкви, в поле, в лесу. Обряды, совершаемые в доме, более всего напоминают обращение с поминальными лесенками, особенно принятыми в Воронежской губ. В сопредельных с ней Старобельском и Кулянском уездах Харьковской губ. их клали на стол, ставили под «святой угол», вешали к иконам. В Саратовском у. около лестницы, лежащей на столе, всю ночь горела свеча. Функция домашних обрядов в этих местах описывалась формулами типа курской: «По цей дробыни господь на небо взлазе». Если домашние вознесенские обряды с лесенкой, подобно поминальным, сосредоточены на южной границе ареала печения лесенок, то немногочисленные

<sup>5</sup> Калинский И. Церковно-народный месяцеслов на Руси. — Зап. РГО по отд-нию этногр., СПб., 1877, т. VII, с. 468—469; Mansikkä V. Die Religion der Ostslaven. Helsinki, 1922, S. 179—180.

<sup>6</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I. М., 1865, с. 125; Даль В. И. Толковый словарь..., т. I, с. 278—279; Даниловская Р. С. Малороссийские обрядовые печенья Курской губернии. — ЭО, 1909, № 1, с. 31—32; ЖМНП, 1851, ч. 72, № 10, с. 9 (Обзор); Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969, с. 254; Китицына Л. Хлеб. Из материалов по народному питанию Костромского края. — Тр. Костр. науч. о-ва по изучению местного края, 1927, вып. XLI, с. 98; Максимов С. В. Нечистая, певедомая и крестная сила. СПб., 1903, с. 458—459; Манусуров А. А. Описание рукописей этнологического архива Общества исследователей Рязанского края. Вып. I. Рязань, 1928, с. 14, 28, 37, 43; вып. III, 1930, с. 14—15, 35; вып. IV, 1930, с. 26, 32; Мих А. Н. Народные обычай, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890, с. 103; Мат. для ист.-статист. описания Рязанской епархии. — Рязанские епархиальные ведомости, 1889, № 11, с. 479; Семенова О. П. Праздники. — ЖС, 1891, вып. 4, с. 200; Словарь русских донских говоров. Вып. 2. Ростов/Д., 1975, с. 113; Сумароков П. Хозяйственный и этнографический очерк Каширского уезда. — Сельское хозяйство, 1860, № 7, с. 18—19; Мат. для изучения Харьковской губ. — Харьк. сб., 1893, вып. 7, с. 447; 1895, вып. 9, с. 218, 390, 425; ЭО, 1889, № 2, с. 218 (Обзор); Зернова А. В. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае. — СЭ, 1932, № 3, с. 26.

свидетельства о совершении обрядов с лесенками в (или около) церкви имеют островной характер, и разбросаны по всему ареалу.

Особый интерес представляют гадания с лестницами в Ярославской губ. и Пронском у. Рязанской губ. После литургии каждый бросал свою лестницу о семи ступенях с колокольни; по числу разбитых ступеней заключалось, на какое из семи небес ему суждено попасть. В пронской записи яснее видна преемственность этих гаданий по отношению к поминальной обрядности: крупики уцевлевших лестниц выпрашивались друзьями и родственниками для поминования всех усопших праведников. В Саратовской губ. после молебна с водоосвящением часть лесенок доставалась причту, а остальное нищим. В Спасском у. Рязанской губ. после освящения в церкви каждый зарывал лестницу на своем загоне.

Хождение с лестницами в поле на вознесенье локализовано в пределах Рязанского края и Подмосковья. Так, в Пронском у. их съедают на поле вместе с принесенным яйцом или ставят в рожь и молятся. В Спасском у., помолясь, говорят: «Христос воскресе, лезь по моей лестнице» — и съедают лестницу. В Рязанском у. моление, трапеза и пение песен на поле называлось «на ржи ходить, Христа провожать». В Каширском у. лестницы бросают на пашню, для того чтобы рожь росла выше, дотянулась до неба, хотя самое печение лестницы производится в честь той, по которой Христос взошел на небо. В Данковском у. лестницы ставились одна на другую, а когда руки отпускали и пирамида разваливалась, комментировали: «Христос свалился с неба!». В Зарайском р-не лестницу бросали вверх, «так штоп рош мая высокая была». Аналогично мотивируется это действие с пометой «ряз.» В. Далем. Между тем в Талдомском р-не подбрасывание лестницы объяснялось: «Христос палес па небъ», а в Дмитровском р-не текстами «Рожка, рожка, вырасти вот такая!» или «Рожка, рожка, хватись за христовы ножки!» сопровождалось подбрасывание яиц или ложек, катание по ржи.

Е. В. Аничков на весьма ограниченном материале пытался интерпретировать роль лестницы в обряде только как символ и магический стимулятор роста соломы, «которая должна, так сказать, подняться по лестнице, вырасти, и чем выше, тем лучше».<sup>7</sup> Между тем в саратовском свидетельстве А. Н. Минхса, которое он цитировал, умалчивается о роли лестницы в ритуале, зато говорится о подбрасывании кверху яиц. Действительно, подбрасывание предметов, подскакивание широко распространены у славян и других народов, особенно при севе.

Подбрасыванье вверх лестниц — это лишь частный, локальный факт в вознесенской обрядности, которая подобно весенней земледельческой обрядности в целом генетически связана с похоронными и поминальными ритуалами.<sup>8</sup> Отсюда проистекает известное

<sup>7</sup> Аничков А. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Ч. I. СПб., 1903, с. 348.

<sup>8</sup> Поминальные мотивы можно усмотреть, например, в пчениии изображений птиц (обычная ипостась души) на мартовский праздник 40 муче-

притяжение вознесенских ритуалов к семицким и троицким.<sup>9</sup> Так, в Рязанском у. молодежь прячет лестницы во ржи, нашедший становится кумом или кумой спрятавшего; лестницу бросают в рожь, говоря: «Русалка, русалка, на тебе яичко» или: «Русалка, русалка, не кусай меня» (Данков у.).

Функция вознесенской лестницы та же, что и поминальной, с той лишь разницей, что речь идет о подъеме бога, а не души умершего человека. Связь акта божьего Вознесения с ростом злаков, выраженная в тексте: «Христос, полетиши на небеси, потяни нашу рожку за колоски», а также в поверье, что рожь начинает по-настоящему расти только с этого дня (Дмитровский р-н), находит параллель в Полесье: «Бог Ушэсця ходзиць, уражай родзіць. <После «Ушэсця»> лезя бог на небеса, цяни уражай за валаса»,<sup>10</sup> что указывает на архаику этой связи.

В Кадниковском у. Вологодской губ. в этот день, кроме лесенок, пекли еще овсяные сочни — *христовы окутки* или *онучки* — полуциркульные лепешки, а в Саратовском у. к лесенкам «для взлезания на небо» прибавляли блины — *христовы онучки*, «чтобы не потерять ног». Рязанские крестьяне, попирывав в леске, оставляют там драчену на снедь Христу, блины *Христу на онучи*; лесенки, чтобы самому взойти на небо. Ср. *христовы онучки* 'блинички' (Рязанский у.).<sup>11</sup> Печение вознесенских блинов встречается и в тех районах, где о печении лестниц нам ничего неизвестно. Ср. белорусское, непаспортизованное наблюдение Е. Р. Романова: «Трэба Хрысту напекти ануч, ёб було у ўзо абуватца! Абуитца и пойдя ужэ ат нас на небу!». Под именем *боговы онучи* и *божи онучи* эти блины известны на Смоленщине и в Южной России (?).<sup>12</sup> Печение блинов на Вознесение, видимо, связано с обычаем поминовения блинами, а их названия — с важной, хотя и неясной ролью обуви (лапти) в погребальной обрядности.<sup>13</sup>

---

ников. В Лихвинском у. дети отламывали голову жаворонку и кидали в речку, «чтобы никто не памер» (Ш е р е м е т е в а М. Е. Земледельческий обряд — «заклинание весны» в Калужском крае. — Сб. Калужск. гос. музея, 1930, вып. 1, с. 44).

<sup>9</sup> См.: Этногр. сб., СПб., 1854, вып. I, с. 162; 1854, вып. II, с. 52.

<sup>10</sup> Дер. Луки Калинковичского р-на Гомельской обл. Запись автора 1975 г.

<sup>11</sup> М а к с и м о в С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила, с. 459; З е р н о в а А. В. Материалы..., с. 26; М и н х А. Н. Народные обычаи..., с. 103; Да ль В. И. Толковый словарь..., т. IV, с. 565; М а н с у р о в А. А. Описание..., т. II, с. 28. Ср. небылицу, объединяющую в себе оба мотива печения: «И потом уцюл я, што на небе у богоў нет сапогоў и надо им пошить... И сделал я лисицию и залез на нёбо... Всем богам спил по салогам» (С о к о л о в Б. и С о к о л о в Ю. Сказки и песни Белозерского края. М., 1915, с. 185).

<sup>12</sup> Р о м а н о в Е. Р. Белорусский сборник. Вып. VIII. Витебск, 1912, с. 190; СРНГ, т. 3, с. 286; Л о в ч е н к о М. М. Несколько данных о жилищах и пище южнорусов. Киев, 1875, с. 15.

<sup>13</sup> См.: А ф а н а сьев А. Н. Поэтические воззрения..., т. III, с. 286; М и н х А. Н. Народные обычаи..., с. 131; З е л е н и н Д. К. Русские народные обряды со старой обувью. — ЖС, 1913, с. 22, № 1—2, с. 9.

Выпечка лестниц 30 марта в день Иоанна Лествичника более всего связана с православной мистической символикой и, видимо, распространялась довольно широко, но точно зафиксирована лишь в Костромской и Саратовской губ. и у бессарабских румын, которые чаще пекли просто 30 (по числу ступеней «Лествицы») небольших хлебов или калачей. Характерно, что их раздавали для «поманы» и для прощения собственных грехов, чтобы легче можно было взобраться на небо.<sup>14</sup> Функция и семантика лестницы в самом общем виде сохранялись в обыкновении печь лестницы в вербную субботу в Воскресенском и Дмитровском р-нах Московской обл., Галичском, Костромском и Нерехтинском уездах (ср.: «Лазарь, Лазарь, на вербушку лазал...»; или: «Лазарь за вербой лазал»).<sup>15</sup>

На юго-востоке и северо-западе Подмосковья «лесники» пекли к Миколи, в май... ходить ф поле, кидают ф пашню, уш ржы вот таки, на четверть, и если лесница схарониццъ, то гот будит хороший, уражайный, а патом ели эти лестницы» (Каширский р-н). На Брестщине схожим образом гадали на Юрьев день: «На Юрья хлэбину спечэм и у полэ ходили. На Юрья жыто большое, — палынка сховаецца...»; «На Юрья ложыли булку хлэба в рош, штоп хлэп сховаўся в жыте».<sup>16</sup>

Таким образом, на северной и северо-восточной периферии ареала печения лесенок с потерей функциональной связи реалии с поминальной обрядностью размывается в значительной степени и календарная приуроченность акта печения. Так, в Костромской губ., кроме Вознесенских, лестницы пекли в середокрестье, в великую пятницу; великий четверг, в день Алексея божья человека и даже в сочельник. Функция лесенок тяготеет к орнаментальной, и они служат украшением кулича, свадебного пирога (Галичский у.), входят в состав «невестиных конфект» (Вологодский у.).<sup>17</sup>

Хотелось бы подчеркнуть архаичность южнорусского материала, важного для определения первичной функции печения лестниц, которая при всех возможных книжных влияниях отражает глубокую древность воззрений. Ср.: южнорусские обряды засевания борозды песком при очистительных опахиваниях,<sup>18</sup> кликанье авсения, представление о русалке как житном демоне и проч. С реликтовыми явлениями духовной культуры в зоне южнорус-

<sup>14</sup> Китицина Д. Хлеб, с. 98; Терещенко А. В. Быт русского народа. Ч. VI. СПб., 1848, с. 20; Сырку П. Из быта бессарабских румын. I. — ЖС, 1913, т. 22, № 1—2, с. 161; Зернова А. В. Материалы..., с. 22.

<sup>15</sup> Радченко Е. С. Село Бужарово Воскресенского р-на Московского округа. — Труды О-ва изучения Московской области, 1929, вып. 3, с. 126; Китицина Л. Хлеб, с. 98; Зернова А. В. Материалы..., с. 22.

<sup>16</sup> Деревни Мокраны и Заозерная Малоритского р-на Брестской обл. Запись автора 1977 г.

<sup>17</sup> Китицина Л. Хлеб, с. 98.

<sup>18</sup> Журавлев А. Ф. Кареальной характеристике восточнославянской скотоводческой охранительной магии (обряды при эпизоотиях). — В кн.: Ареальные исследования в языкоизнании и этнографии. Л., 1977, с. 230.

ских говоров корреспондируют явления языковой архаики: начальное *e*- в словах типа *есень*, *есенясь*, частое употребление в словообразовании суфф.-ика.<sup>19</sup>

A. Ф. ЖУРАВЛЕВ

ЭТНОДИАЛЕКТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ  
КОСТРОМСКОГО РЕГИОНА  
ПО ДАННЫМ СКОТОВОДЧЕСКОЙ МАГИИ  
И ОБРЯДОВОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ АНКЕТЫ  
«КУЛЬТ И НАРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»)

В начале 1920-х годов Антрополого-этнографическая станция Костромского научного общества по изучению местного края опубликовала и распространила по территории тогдашней Костромской губ. вопросник «Культ и народное сельское хозяйство». Ответы на вопросник, полученные от крестьян, школьников, сельской интеллигенции Костромского края, хранятся сейчас в Отделе рукописных и книжных фондов Костромского историко-архитектурного музея-заповедника (б. Ипатьевский монастырь), ед. хр. 339.<sup>1</sup>

Анкета включает в себя следующие вопросы, касающиеся скотоводства и связанных с ним календарной и внекалендарной обрядности, магических приемов, примет, заговоров и т. п.: 23) «Когда первый раз выпускают скотину. служат ли водосвятный молебен и кропят ли скотину водой? Когда это бывает? Употребляют ли при этом вербу и богоявленскую воду?»; 25) «Когда подстригают лошадям гривы и хвосты? Верят ли в домового и что делают, чтобы он не портил скотину? Нет ли заговоров на домового? Запишите их»; 26) «Какие обычай существуют при покупке лошади и коровы? Что делается, чтобы велась скотина?»; 27) «Отчего, по народному верованию, бывает падеж скота? Какие об этом есть рассказы? Не бывает ли опахивания селения во время падежа (п в холеру) и вытирания „живого огня“? Как это делается или делалось? Нет ли заговоров от различных болезней скотины? Запишите их»; 29) «Какие приметы связаны с домашними животными?»; 30) «Какие святые считаются покровителями различных домашних животных?».

Кроме того, скотоводческая проблематика затронута и в пунктах 12 (приметы, в том числе о приходе скота) и 14 (святые — покровители сельского хозяйства, в частности св. Георгий как покровитель домашнего скота и хозяин волков).

<sup>19</sup> Толстой Н. И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии. — Там же, с. 43, 47—48.

<sup>1</sup> Подробнее об этой анкете см.: Журавлев А. Ф. Из русской обрядовой лексики: «живой огонь». — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1976. М., 1978, с. 212—213.

Анализ этнографических фактов и лингвистических данных (диалектная лексика и фразеология), содержащихся в ответах на перечисленные пункты вопросника, позволяет представить территорию Костромского края расчлененной на две неравные зоны: южную (точнее, юго-западную), по правую сторону от Волги, представленную материалами преимущественно из Нерехотского у., и северную, занимающую большую часть Костромской губ., по левую сторону от Волги (лучше всего в ответах на анкету отражены Буйский, Галичский и Солигаличский уезды). Восток губернии представлен в имеющихся в архиве ответах гораздо менее полно.

К выводу о расчлененности Костромского региона на правобережную и левобережную зоны приводят следующие наблюдения над географическим распределением элементов скотоводческой обрядности и магии и связанный с ними фразеологии.

А. Через территорию Костромской губ. проходит южная граница ареала северорусского обрядового термина *деревянный огонь* 'ритуальный огонь, добываемый при помощи трения дерева о дерево во время падежа скота для его прекращения или предотвращения' (огонь применяется также для борьбы с эпидемиями). Этот обрядовый термин концентрируется на севере обследованной анкетой костромской территории.<sup>2</sup> Название *живой огонь* (в том же значении) встречается на всей территории губернии.

Б. В южной зоне Костромского региона в материалах анкеты не отмечается употребление для вытирания ритуального огня сухих колосников, снятых с овина, которое известно в левобережной зоне. Север региона связывается наличием этой особенности с территорией Вологодской губ.<sup>3</sup>

В. По данным анкеты, содержание в хлеву или в конюшне козла, являющееся, согласно представлениям крестьян, эффективным средством против бесчинств домового (дворового) по отношению к домашнему скоту, гораздо более известно на юге обследованной территории (15 свидетельств из одного Нерехотского у.), в то время как в северной зоне свидетельства такого рода единичны и пространственно разрознены.

Г. На юге губернии материалы анкеты отмечается и апотропейическое использование козлиного черепа, вешаемого в хлеву, неизвестное, поскольку можно судить, в Костромском Заволжье. Модификацией козлиного черепа, может быть, является «олений» (лосинный) рог, укрепляемый на скотном дворе, чтобы домовой не портил скотину (Рождественская вол. Нерехотского у., с. Рождество — анкета № 1172 по архивной нумерации).

<sup>2</sup> Кроме Костромской губ., термин *деревянный огонь* фиксируется на территориях бывших Новгородской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Вятской и Пермской губ., а также в Сибири и у камчадалов. См.: Журавлев А. Ф. Из русской обрядовой лексики, с. 215 (карта № 1), 219 (карта № 2).

<sup>3</sup> Журавлев А. Ф. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распространение. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции. М., 1978, с. 83.

Д, Е. Специфически правобережными (южными) для Костромского региона чертами можно считать употребление в целях усмирения домового (Д) ритуальной нецензурной браны и (Е) магических манипуляций с мужскими кальсонами («штанами синего цвета», анкета № 1196): «... если домовой портит скотину, то ездят по двору на сковороднике и мужскими кальсонами стегают по заборам, приговаривая: „Дедушко дворной, кормилец домовой, корми мою скотину, а чужого со двора гони домой“ и три раза говорит: „Поди домовой домой“ — и стегает в это время кальсонами по стенам» (Арменская вол. Нерехотского у., дер. Артюково — анкета № 1049). В некоторых местностях оба эти средства могут совмещаться в одном ритуальном акте: «В 12 час. ночи хозяин дому выходит на двор без кальсон и бьет кальсонами по стенам, ругая при этом домового матерными словами — после чего домовой будет любить скотину» (Рождественская вол., дер. Попадейкино — анкета № 1175). Непристойная брань для отпугивания нечистой силы — средство, очень популярное у восточных славян, и особенно у русских.

Единственным отголоском апотропеических манипуляций с мужскими штанами в северной зоне Костромской губ. является свидетельство из Шушкодомской вол. Буйского у.: «... если чужой домовой портит скотину, то из кальсон вытаскивают гасник (шнурок, — А. Ж.) и кладут на подворотню, тогда не будет ходить» (дер. М. Барашково — анкета № 230).

Ж. В левобережной зоне, большей частью в Галичском у., с целью усмирения домового и удержания прислода или ново-приобретенного скота известно вбивание посреди двора осинового кола. В правобережье этот магический прием не отмечается.

З. Повсеместно в Костромской губ. новокупленную скотину вводят в новый двор через расстеленный в воротах пояс хозяина, но использование для того же железного замка фиксируется только в заволжской части губернии; в богатых и полных материалах из Нерехотского у. эта деталь не засвидетельствована. Поясом или замком как бы завязывается или запирается дорога новокупленной скотине назад, к прежнему хозяину. Этот прием имитативной магии имеет многочисленные формальные и функциональные соответствия в календарной обрядности, в частности в магических действиях, свершаемых на вепнного Егория, в день первого выгона скота на летнюю пастьбу. Здесь перегон скота через замок часто мотивируется как способ «запирания» зубов волкам.

И. Не встречается на территории правобережной зоны и обрядовое рукобитье между партнерами в купле-продаже скота, тогда как в северной зоне оно составляет весьма заметную черту ритуала сделки. Рукобитье является одним из немалочисленных элементов, связывающих ритуал купли-продажи (не только скота) с некоторыми фрагментами свадебной обрядности (ср. распространенную в этнографической литературе концепцию «браха-покупки»). Основания для такого параллелизма — отнесенность и свадьбы, и купли-продажи к ритуалам пограничного типа, связанным с пе-

реходом из одного состояния в другое (сюда же относятся погребальные, родильные ритуалы, обряды совершеннолетия и др.).

К. При купле-продаже скота продавец обычно возвращает покупателю небольшую часть уплаченных денег. Это действие повсюду в Костромском крае мотивируется фразеологизмом *на поводок* 'чтобы велся скот' (предполагается, что если скотина будет куплена без возврата части обусловленной платы, то у нового хозяина она может не прижиться — *не повестись*; продавец обычно также старается не сбывать скотину «с концами», например, оставляя себе, часто тайком, клочок выстриженной шерсти проданного животного, чтобы с ним не исчезла удача, прибыль в скоте — *вод*). Фразеологизм с тем же значением «на повод» (не деминутивная, а нормальная форма имени существительного) встречается, по данным анкеты, исключительно в южной зоне.

Л. Южным по распространению нужно считать и синонимичное указанным фразеологизмам выражение *на свечку*, очень часто фиксируемое в правобережной зоне, но лишь однократно отмеченное на севере — в Буйском у. (Троицкая вол., дер. Починок — анкета № 206).

М. Наконец, специфически южным для Костромской губ. является фразеологизм *из полки в полку* (с деминутивными формами компонентов), служащий для обозначения способа ритуальной передачи узды или оброти покупателю (оброть нельзя передавать голой рукой: непокрытость руки символизирует здесь отсутствие «воды», неплодовитость скота), в то время как фразеологизм *из полы в полу* известен в обследованной области повсеместно.

Помимо перечисленных этнографических и лингвистических данных, носящих массовый характер, т. е. упоминаемых в материалах анкеты «Культ и народное сельское хозяйство» неоднократно, имеется и целый ряд единичных фактов, связанных со скотоводческой обрядностью и относящихся либо к юго-западной, либо к северной (заволжской) зоне Костромского региона. Однако в силу своей единичности они не могут считаться достаточно показательными и поэтому здесь не учитываются.

В целом синхронное этнодиалектное членение территории Костромского региона может быть связано, по-видимому, с колонизационной историей края и даже с историей формирования собственно диалектных границ. Известную ценность может представить сочетание показаний этнографии (в данном случае географии элементов скотоводческой обрядности) и данных лингвистической географии. Представляется, в частности, интересным то обстоятельство, что линия, разграничитывающая выделенные в северную и юго-западную зоны, приблизительно совпадает с проходящей здесь вдоль Волги границей аканья и оканья, служащей одновременно границей севернорусского наречия и среднерусских говоров.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> См. в кн.: Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии). М., 1970.

**«ЗОНА НЕДОСТУПНОСТИ» ДЛЯ АРЕАЛА  
ТОПОНИМОВ НА -иха  
В КОСТРОМСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ**

Вопросы формирования населения той или иной территории и происхождения его культуры разрешаются в исторической науке путем привлечения и анализа разнообразных источников. Не последнее место в их ряду занимает топонимический материал. Одним из методов подобного рассмотрения оказывается выявление ареалов тех или иных топонимов и сопоставление их с ареалами этнографическими, антропологическими, диалектологическими.

В топонимике известны ареалы названий, характеризующихся определенными словообразовательными формами, в частности суффиксами. География топонимических суффиксов в сопоставлении с ареалами, выявленными по антропологическим, этнографическим, диалектологическим данным, может явиться важным свидетельством происхождения народа и его культуры.

Так, известен ареал топонимов с формантами -иха, распространенных преимущественно в Ивановской, Владимирской, Костромской, Горьковской обл.<sup>1</sup> и встречающихся в соседних Кировской и Вологодской областях. Но в северо-западном углу этого массива — в Костромском Заволжье топонимы на -иха отсутствуют, несмотря на широкое распространение во всех соседних местах. Границы этого ареала показаны на карте, составленной нами по данным X ревизии населения 1856—1857 гг. бывших губерний в Поволжье и междуречье Волги и Северной Двины.<sup>2</sup> На карте видно, что в районах Бuya, Галича, Солигалича, Чухломы названия на -иха представлены единичными случаями.

Отсутствие топонимов на -иха в рассматриваемом районе свидетельствует о его своеобразии, что находит аналогии и в показаниях некоторых других источников. Рассмотрение Костромского Заволжья с точки зрения истории, антропологии, этнографии и лингвистики показывает, что этот район является частью переходной зоны между северорусскими и южнорусскими областями, здесь сочетаются элементы культуры населения тех и других областей.

Заселение Костромского Заволжья, как и соседних волжских территорий и некоторых районов Европейского Севера, началось с проникновения новгородцев и распространения дани Ростово-Сузdalского княжества. Исторические источники сохранили све-

<sup>1</sup> Никонов В. А. 1). История освоения Среднего Поволжья по материалам топонимии. — Вопросы географии, 1960, сб. 50, с. 179; 2) География русских суффиксов. — Onomastica, 1959, № 9, с. 345.

<sup>2</sup> Власова И. В. Ареалы топонимов с формантами -иха и -ата, -ята в Заволжье и междуречье Северной Двины и Волги. — В кн.: Этнография имен. М., 1971, с. 186—187.

дения о заселении этих мест начиная с XI в. По данным летописей, до прихода сюда славян здесь жило племя меря, а соседние с ним земли по Северной Двине и ее притокам населяла чудь заволоцкая.<sup>3</sup> Во второй половине XI—XII в. с меря и чудью встретились славянские племена (словены и кривичи), расселявшиеся в верхневолжских и двинских землях. В XIII в. на земли по р. Костроме, по Галицкому озеру и Сухоне распространяет дань Ростово-Сузdalское княжество, оспаривавшее притязания новгородцев на эти места.<sup>4</sup> Дальнейшее и основное заселение верхневолжских и верхнедвинских земель относится к XIV—XVI вв., когда они вошли в состав Московского государства. Значительные миграции населения сюда из центральных уездов государства отмечались в XVI—XVII вв.<sup>5</sup> Общие исторические судьбы и одинаковые условия, в которых формировалось население верхневолжских и верхнедвинских уездов, привели к единству в целом культуры населения этих районов.

С точки зрения антропологии население Костромского За-волжья является носителем так называемого верхневолжского типа, свойственного славянскому населению средней полосы и соседних северных областей в Подвилье. Районы Буя, Галича, Солигалича не являются исключением в этом регионе. Ареал верхневолжского антропологического типа занимает территорию от Чудского озера на западе до Вятского края на востоке. На севере он вытянут клином по Средней Двине.<sup>6</sup> Но основной очаг образования этого типа, как выявляют антропологические исследования, скорее всего, находился к югу или юго-западу от этой зоны.<sup>7</sup> По крайней мере в западных областях распространение верхневолжского типа несколько совпадает с территорией расселения летописных кривичей. Главными же районами распространения этого типа стали верхняя Волга и ее левые притоки, а проникновение его севернее — в Подвилье — могло быть связано с заселением этой территории ростовцами с XII в.<sup>8</sup> Общие исторические судьбы населения верхнего Поволжья и Подвилья в дальнейшем способствовали распро-

<sup>3</sup> Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950, с. 209.

<sup>4</sup> Полное собрание русских летописей. Т. I, с. 353; т. XXV, с. 110, 111, 116; Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951, с. 190—195.

<sup>5</sup> Зеленин Д. К. Великорусские говоры с неорганическим и непереводным смягчением задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации. СПб., 1913, с. 441.

<sup>6</sup> Витов М. В. Антропологические данные как источник по истории колонизации Русского Севера. — История СССР, 1964, № 6, с. 104.

<sup>7</sup> Чепурковский Е. М. Географическое распространение формы головы и цветности крестьянского населения преимущественно Великороссии в связи с колонизацией ее славянами. (Материалы для антропологии России). — Изв. О-ва любителей естествознания, антропологии, этнографии, 1913, т. CXIV, вып. 2; Золотарев Д. А. Антропологические данные о великорусских побережьях рек Сухоны и Северной Двины. — Ежег. Русского антропол. о-ва, 1916, т. VI; Витов М. В. Антропологические данные..., с. 104.

<sup>8</sup> Насонов А. Н. «Русская земля»..., с. 188, 189. 

странению там одного физического облика. Лишь по отдельным антропологическим признакам, а не по типу в целом район Галича несколько отличается от окружающей территории: по сумме диаметров головы (347.0—347.9%; севернее 340.0—340.9; южнее 343.0—343.9), по поперечному диаметру головы (157.0; севернее 153.0—153.9, южнее 154.0—154.9), по наклону лба (2.54; в окружении 2.59—2.63), по длине тела и процентному распространению светлых глаз (рукописные материалы М. В. Витова).

Посмотрим, как данные этнографии характеризуют рассматриваемый район. Изучение народного жилища и поселений приводит к выводам, что Костромское Заволжье, как и соседние северные районы, входит в зону севернорусской культуры. Обнаруживаемые общие черты в жилище и поселениях связаны своим происхождением частично с новгородским заселением этих территорий, а главным образом — с преимущественной ростовской колонизацией.

Пример изучения сельских поселений<sup>9</sup> показывает, что распространенным типом селений здесь являлись деревни с небольшим числом дворов, с крестьянскими усадьбами севернорусского типа. Черты, роднящие этот район со среднерусской полосой, также прослеживаются при рассмотрении сельского расселения в крае. Так, здесь в отличие от северных русских районов большое место, кроме приречного заселения, занимает заселение притрактовое и водораздельное.<sup>10</sup> Так называемое гнездовое расположение деревень относительно друг друга,<sup>11</sup> что составляет отличительную особенность Европейского Севера, особенно новгородского Севера, отсутствует в Заволжье, как и вообще в средней полосе. Наконец, преимущественное распространение уличного плана деревень и всевозможных сложных планировок<sup>12</sup> также отличает рассматриваемый район от новгородского Севера, где ранее преобладали деревни рядового плана по берегам рек и озер. Кроме того, верхневолжские селения сохранили древние круговые планировки,<sup>13</sup> в районах Галича, Солигалича, Чухломы в том числе, что также роднит их с селениями давнего происхождения в среднерусской полосе.

<sup>9</sup> Чижиков А. И. Русское народное жилище Верхнего Поволжья. М., 1952; Власова И. В. Сельские поселения в Верхневолжском и Верхнедвинском бассейнах. — В кн.: Новое в этнографических и антропологических исследованиях. Итоги полевых работ Института этнографии в 1972 г. Ч. 1. М., 1974.

<sup>10</sup> Власова И. В. Сельские поселения..., с. 36.

<sup>11</sup> Витов М. В. Гнездовой тип расселения на Русском Севере и его происхождение. — СЭ, 1955, № 1.

<sup>12</sup> Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. (Поселения, жилища и хозяйственные постройки). — В кн.: Восточнослав. этногр. сб. М., 1956 (ТИЭ, т. 31), с. 47.

<sup>13</sup> Иконников А. В. О планировочных традициях русского народного зодчества. (Планировки русских селений Волго-Окского района). — Л., 1954, с. 56; АИЭ АН СССР (Москва), I Северновеликорусская экспедиция 1948 г., Архангельско-Вологодская экспедиция 1966 г., Архангельская экспедиция 1970 г., Вологодско-Костромская экспедиция 1972 г.

Крестьянские дома в костромских и соседних с ними вологодских деревнях принадлежат к одному типу жилища,<sup>14</sup> для которого характерны крытый двухъярусный двор, связанный с домом в один ряд, строение типа изба—сени—двор, срубные избы средней высоты, пятистенные или избы-двойни (летняя и зимняя), хозяйственными постройками на усадьбе — верховой овин, иногда двухэтажный амбар, баня. Рублены избы *в угол*, иногда обшиты тесом, крыты преимущественно дранкой. Во дворах в нижнем ярусе — хлевы для скота, в верхнем ярусе — *повить* для сена и *клеть* (или горница для сна), иногда и клеть (*мучница*) и горница (*святелка*) вместе. На верхний ярус двора ведет *въезд*. В общих чертах жилище изучаемых районов относится к севернорусскому типу. Такие его элементы, как однорядная связь двора с домом, двухъярусный с въездом двор, считаются принесенными на Европейский Север и верхневолжские районы еще новгородской колонизацией. Но имеются в местном жилище и черты среднерусского типа. Их происхождение связывают с ростово-суздальской колонизацией верхнедвинских и верхневолжских мест. Это — одногородский двор, подклет средней высоты, почти отсутствие двухэтажных изб, двухрядная связь двора с домом, четырехскатные крыши.<sup>15</sup> Этими чертами жилище в волжском и верхнедвинском бассейнах отличается от жилища в бассейнах Онеги и Двины, в районах, заселенных новгородцами. Во внутренней планировке изб в рассматриваемом районе не всегда выдержан севернорусский план: расположение печи *у входа в избу*, устьем направленной к фасадной стене дома. Часто встречается расположение печи так называемого западнорусского плана, когда ее устье направлено на боковую стену дома.

Таким образом, жилище данного района, в том числе жилище в местах Галича, Солигалича, Чухломы, сочетает в себе признаки севернорусского типа с отдельными чертами, характерными для жилища среднерусской полосы, имеются аналогии и с западнорусским жилищем. Происхождение и сочетание рассмотренных элементов в жилище могло быть общеславянским, существовавшим в раннюю пору славянского заселения лесной полосы Восточной Европы. По археологическим данным, для X—XIII вв. уловима эта общая основа в жилище на территории Восточной Европы.<sup>16</sup> В феодальную эпоху складывались отдельные комплексы жилища, характерные для северной, средней и южной полосы, в чем отразились культурные особенности групп русской народности, и в ча-

<sup>14</sup> В и т о в М. В. Вопросы этнографической систематики восточнославянского народного жилища. (Классификация типов застройки усадьбы). — Вестн. МГУ, 1958, № 4, с. 133, 139.

<sup>15</sup> Там же, с. 133—134; Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967, с. 135, карты 36, 37.

<sup>16</sup> Ч и ж и к о в а Л. Н. Русское народное жилище..., с. 15; Г р о м о в Г. Г. История крестьянского жилища Владимирского края в IX—XIX вв. (К вопросу о формировании типов русского крестьянского жилища). М., 1954, с. 6.

стности севернорусский тип жилища — в пределах новгородского заселения, среднерусский — в пределах ростово-суздальского. Преимущественное распространение северного типа в Костромском Заволжье, по-видимому, связано как с ранним проникновением новгородцев, так и с природными условиями края, близкими к северной зоне, что и способствовало здесь закреплению общей этнической традиции. Известные миграции населения из Центра в XVI—XVII вв. могли оказать влияние на формирование черт среднерусской культуры, хотя и тут возможно «исконное» происхождение их как общеславянских.

Рассмотрение ареалов распространения народной культуры на примере одежды также показывает, что изучаемый район примыкает к зоне севернорусской культуры, где распространен так называемый сарафанный комплекс женской одежды в его северо-восточном варианте.<sup>17</sup> Этот тип одежды формировался в зоне ростово-суздальского заселения междууречья Оки и Волги и соседних верхневолжских и верхнедвинских территорий.<sup>18</sup> В сплошной зоне северо-восточного варианта сарафанного комплекса районы Галича, Солигалича, Чухломы имеют некоторое своеобразие. Здесь отсутствует распространенный повсеместно в окружении косоклинный распашной сарафан и выделяется небольшой замкнутый ареал прямого сарафана.<sup>19</sup> Некоторые элементы одежды в данном районе, несмотря на принадлежность в целом к северному типу, имеют аналогии с одеждой других русских областей. Так, женская одежда — душегрейка, общая для северной, южной и средней полосы, встречается и в нашем районе.<sup>20</sup> Плетеная из веревок обувь (чуни) распространена в Костромском Заволжье, есть она в русских губерниях юга и запада.<sup>21</sup> Женская рубаха с кокеткой, бытовавшая на западе, юге, имелась и в Костромском Заволжье, как и вообще в Поволжье, на севере же ее почти не было.<sup>22</sup> Таким образом, данные этнографии по народной одежде подтверждают, что рассматриваемый район — часть переходной зоны между северной и южной русской культурой, где сочетаются признаки, характерные для народной культуры тех и других зон. Но отсутствие некоторых элементов одежды (в частности, косоклинного сарафана) при наличии их во всех соседних местах говорит о своеобразии данного района. Аналогичные наблюдения можно получить, если рассматривать ареалы распространения сельскохозяйственных орудий в русских областях.<sup>23</sup>

Этнографический материал по обрядам и фольклорные данные также свидетельствуют о сочетании разнообразных элементов

<sup>17</sup> М а с л о в а Г. С. Одежда. — В кн.: Народы европейской части СССР. Ч. 1. М., 1964, раздел «Русские», с. 371.

<sup>18</sup> М а с л о в а Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX—начале XX в. — Восточнослав. этногр. сб. М., 1956, с. 551, 739—740.

<sup>19</sup> Там же, карта на с. 624—625.

<sup>20</sup> Русские. Историко-этнографический атлас. . . , карта № 48.

<sup>21</sup> Там же, № 70.

<sup>22</sup> Там же, № 48.

<sup>23</sup> Там же, № 5—7, 11 и др.

духовной культуры населения, связывающих районы Костромского Заволжья с различными русскими областями. Так, распространенные в Костромском Заволжье весенне-летние календарные обряды совпадают с подобными обрядами в среднерусской полосе. К ним относятся масленичные обряды, обряды Егорьева дня, троицко-семицкий цикл. Особенно последний представлен здесь, как и во всей среднерусской полосе, в классическом виде.<sup>24</sup> Наряду с этим некоторые обряды весенне-летнего периода сохраняют на этой территории архаические элементы, возможно, относящиеся к общеславянскому периоду развития. Такими элементами являются своеобразное гадание на крестах во время святок, представления о магическом круге, которого боится нечистая сила при праздновании Ивана Купалы.<sup>25</sup> Архаические элементы прослеживаются и в обрядах осеннего цикла, когда после жатвы совершились жертвоприношения полям в виде куклы, хотя в целом эти обряды совпадают с осенними обрядами Европейского Севера.<sup>26</sup>

Некоторые семейные обряды, в частности свадебные, сохраняющиеся на территории Костромского Заволжья, являются вариантами северной свадьбы, но один из ее элементов — наличие свадебного деревца, символа девичьей красоты — характерен для южнорусской свадьбы.<sup>27</sup> Свадебный обряд данного района является вариантом северной русской свадьбы, характерной для зоны ростово-суздальского заселения, о чем, вероятно, можно судить на основе свадебной терминологии. Изучение последней на территории северных областей,<sup>28</sup> в частности распространение терминов *красота* и *воля* и названий составных частей свадебного обряда (*смотр*, *проводы* и т. п.), позволили выявить четкие ареалы, совпадающие с зонами различных этновлияний. Костромское Заволжье и по этим данным примыкает к северной зоне.

Формирование всех этих черт в духовной культуре населения рассматриваемого района и их сочетание, как и элементов материальной культуры, по-видимому, происходило в этой переходной зоне в пору освоения ее русским населением. Оно исконно для этой зоны. Все эти черты культуры имеют как общеславянскую основу, так и некоторые отклонения, которые связаны с более поздними этновлияниями.

По данным диалектологии, рассматриваемый район также имеет свою специфику. Исследователи XIX—начала XX в. отмечали

<sup>24</sup> Дмитриев а. С. И. 5 Фольклорно-этнографические исследования в Костромской области. — В кн.: Новое в антропологических и этнографических исследованиях. . . с. 38—40.

<sup>25</sup> Там же, с. 38, 41.

<sup>26</sup> Там же, с. 41, 42.

<sup>27</sup> Там же, с. 42.

<sup>28</sup> Гура А. В. 1) Поэтическая терминология севернорусского свадебного обряда. — В кн.: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974, с. 175, 179, 180; 2) Лингвэтнографические различия и общность в маргинальной зоне Русского Севера (на материалах свадебного обряда). — В кн.: Ареальные исследования в языкоznании и этнографии. Тез. докл. III конф. Л., 1975, с. 38.

несколько народных говоров в северо-западной части Костромской губ.<sup>29</sup> Во-первых, окающие говоры, сходные с говорами соседней Вологодской губ. и части Архангельской. На территории Костромского Заволжья окающие говоры находятся в северной части бывшего Костромского у. по тракту Кострома—Галич, в Буйском у., кроме северной его части, на западе Галичского и северо-западе Солигаличского уездов. Во-вторых, говоры окающие на остальной территории Солигаличского у. на северо-востоке Буйского и в Чухломском у. Этот «акающий остров» средневеликорусских говоров среди массива окающих севернорусских говоров и составляет специфику района. Существует несколько точек зрения на происхождение «аканье» в Костромском Заволжье.<sup>30</sup> Мнение части исследователей сводится к тому, что «аканье» в этой зоне — явление позднее, занесенное в зону севернорусских говоров «акающими» отходниками («питерцами»). В противовес ему выдвигается мнение об исконности окающих говоров в этом месте, генетически связанных с соседними севернорусскими говорами, ибо в соседних «окающих» районах также существовало отходничество в несевернорусскую среду, а «аканье» там не распространено. К тому же в «акающих» местностях наиболее резкое «аканье» замечено у женщин пожилых и не отлучавшихся из селений. Костромское «аканье» в зоне севернорусских окающих говоров могло быть чертой исконной общеславянской, связанной своим происхождением с древним расселением славян в Восточной Европе,<sup>31</sup> чертой, законсервированной в каких-то определенных местных условиях.

Другие данные диалектологии также свидетельствуют как об отличительных особенностях рассматриваемого района, так и о его связях с соседними территориями. Так, по данным Д. К. Зеленина, проследившего распространение мягкого *κ* в окающих говорах северной и средней полосы,<sup>32</sup> в районе Бuya, Галича, Солигалича, Чухломы наблюдается следующее. Мягкое *κ* распространено довольно широко в соседних северных вологодских местах, в бывших Кадниковском, Тотемском уездах по Северной Двине, Сухоне, Югу и заходит в район Ярославля—Ростова—Костромы. У Галича проходит восточная граница мягкого *κ*, а далее в Солигаличе, Буе, Чухломе, Кологриве его нет. В районах более восточных — в Котельниче, на Вятке оно снова появляется. Наличие мягкого *κ* в Костромской губ. Д. К. Зеленин объясняет поздними

<sup>29</sup> Даль В. И. О наречиях русского языка. СПб., 1852, с. 26; Покровский Ф. О народных говорах северо-западной части Костромской губернии. — ЖС, 1897, вып. 3—4, с. 446—449; Дурново Н. Н. и др. Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. М., 1915, с. 22—36.

<sup>30</sup> Покровский Ф. О народном говоре Чухломского уезда Костромской губернии. — ЖС, 1899, вып. 3, с. 330; Шатанова Т. В. Расширение территории окающих говоров в Костромской области. — В кн.: Мат. и исслед. по русской диалектологии. Т. 3. М., 1962, с. 133—147.

<sup>31</sup> Филипп Ф. П. Очерк истории русского языка до XIV столетия. Л., 1940, с. 41, 43, 48, 49, 54, 56, 85—86.

<sup>32</sup> Зеленин Д. К. Великорусские говоры..., с. 390, 515, 516, 517, 518.

передвижениями населения в пределах губернии, хотя в соседних северных территориях оно обычное и давнее.

Этот лингвистический материал вполне сопоставим с приводимыми выше данными других наук о формировании культуры населения этого района. Современными лингвистическими исследованиями по истории диалектов отмечается согласование данных диалектологии и данных смежных дисциплин, занимающихся этногенезом.<sup>33</sup> Совпадение диалектных границ с ареалами антропологическими и этнографическими в северорусской и среднерусской полосе признается неоспоримым.

Выше указывалось на своеобразие Костромского Заволжья в топонимическом смысле, хотя в целом существует топонимическая общность этого района со всем Волго-Окским бассейном и соседними северными районами Подвилья.<sup>34</sup> Исследуемый район, по данным топонимики, входит в зону господства названий с суффиксами *-ов*, *-ин*, существовавших уже в период Киевской Руси в Среднем Поднепровье и распространявшихся оттуда в Волго-Окское междуречье, в земли Пскова и Новгорода,<sup>35</sup> что уходит своими корнями в древнюю этническую общность.

В этом сплошном массиве топонимов на *-ов*, *-ин* существуют ареалы отдельных названий, как например указанный выше ареал *-иха*. С былой языковой общностью населения и освоения им территории связано распространение и других топонимических ареалов. Так, существуют названия селений, которые содержат слова, означающие водный источник. Известны ареалы таких названий со словами *ручей* — *ключ* в европейской части страны,<sup>36</sup> причем четко различаются зоны распространения названий *ручей* на северо-западе, частично на Вятке и Каме, и *ключ* на северо-востоке и средней полосе и далее на юго-востоке.<sup>37</sup> Первая связана с новгородским заселением территории, вторая — с московским. По мнению В. А. Никонова, ареал *ключ*, судя по данным письменных памятников, более позднего происхождения, чем новгородский *ручей*, и связан с южнославянским влиянием, начавшимся во второй половине XIX в.<sup>38</sup> Районы Костромского Заволжья попадают в зону *ключ*, соседние же с ними районы Вологодчины являются местом борьбы названий *ключ* — *ручей*. Акающие говоры на исследуемой территории и ареал *ключ* — черты южного происхождения, но возможно различие по времени. Первые, скорее всего, связаны с древним расселением славян, второе известно лишь с XIV в.

В почти сплошном массиве ареала *ключ* в Костромском Заволжье встречаются еще названия со словами *родник* и *колодезь*,

<sup>33</sup> Дерягин В. Я., Комягина Л. П. Из истории диалектных границ в Северной России. — ВЯ, 1968, № 6, с. 109—111.

<sup>34</sup> Подольская Н. В. Топонимика Новгородской земли по данным новгородских письменных памятников XI—XV вв. М., 1956, с. 7.

<sup>35</sup> Никонов В. А. География русских суффиксов..., с. 326—330.

<sup>36</sup> Никонов В. А. Ручей—ключ—колодезь—криница—родник. — В кн.: Мат. и исслед. по русской диалектологии. Вып. II. М., 1961.

<sup>37</sup> Там же, с. 182—185.

<sup>38</sup> Там же, с. 188.

характерные для более южных территорий. Появление последнего в Волго-Окском бассейне, возможно, связано с проникновением населения из-за Днепра, причем первоначально эти названия распространялись по русской равнине, оттуда попали на другие территории, и тогда *колодези* на Волге, в том числе костромские, не позднего происхождения.<sup>39</sup> Названия со словом *родник* появились здесь позднее, с XVI в., при московском заселении, хотя *родник* и имеет общерусский древний корень.<sup>40</sup>

Таким образом, топонимические ареалы, показывая этнические границы, свидетельствуют как о былой языковой общности, так и о языковых изменениях, связанных с расселением народа.

Проведенное сопоставление данных различных источников показывает, что Костромское Заволжье является частью так называемой переходной зоны между северорусскими и южнорусскими областями. В этой среднерусской зоне сочетаются признаки культуры населения тех и других областей. Границы ареалов этнографических, диалектологических, антропологических не всегда совпадают. Даже на примере ограниченной территории Костромского Заволжья видно, что иногда этот район не вышадает из общих рамок, иногда отличается своеобразием. Но очень многое в культуре населения Костромского Заволжья роднит этот район с северорусской культурой. Наличие же других признаков характерно только для среднерусской полосы либо аналогично некоторым элементам южнорусской культуры. Во всем многообразии культуры проступают следы общеславянской основы, несмотря на специфику изучаемого района в некоторых отношениях. Таким своеобразием оказалась, вероятно, консервация «аканья», в результате — отсутствие «оканья», нераспространенность топонимов на -иха и нераспространенность мягкого *к* в народном говоре при наличии их на соседних территориях, а также отсутствие косоклинного распашного сарафана и замкнутость небольшого ареала прямого сарафана.

#### М. Я. ЖОРНИЦКАЯ

### К ВОПРОСУ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ

В последние годы все большее внимание исследователей привлекают далеко еще не использованные возможности этнографического картографирования элементов материальной и духовной культуры. Перспективным представляется нам постановка вопроса о картографировании народного танца как своеобразного историко-этнографического источника.

<sup>39</sup> Там же, с. 192.

<sup>40</sup> Там же, с. 195.

Начиная с 1950 г. нами проведено изучение народного хореографического искусства всех основных групп коренных обитателей тайги и тундры Северо-Востока Сибири (Якутская АССР, Магаданская и Камчатская области).

Собранные нами данные по хореографическому искусству коренных народов Якутии позволили выявить наличие нескольких ареалов бытования основного для этой обширной историко-культурной области хороводного танца: 1) центральный ареал Якутского осуояхая в составе пяти вариантов; 2) юго-западный ареал с вариациями названия *ехорье* — *дъяхурья* — *ехор*, включающий эвенков, бурят (по крайней мере западных) и юго-западные группы эвенов; 3) северо-восточный ареал эвенского *нэдъэ*; 4) юго-восточный ареал восточноэвенкийского *дэрэдэ*; 5) северо-западный ареал долганского *нейро* (Таймыр и прилегающие районы Якутской АССР).<sup>1</sup>

В свою очередь для замкнутого хороводного танца — осуояхая — нами выделено внутри центрального ареала пять вариантов: 1) *кириэстин хаамыы* (шаг накрест, или собственно якутский, с наиболее широким ареалом); 2) *көтүү үннкүү* (танец на прыжках), или олекминский; 3) *дэгэрэн үннкүү* (шаг с переступанием), или алегинский; 4) *тинилэхтин* (удар пяткой), или усть-алданский; 5) *хатый хаамыы* (перекрещающийся шаг), или вилюйский.<sup>2</sup>

Картографирование выделенных ареалов показало, что народные танцы хорошо увязываются с определенными этническими группами и довольно устойчивы в каждой группе.

Однако возникшие разного рода проблемы, связанные с показательностью картографического анализа и интерпретацией закономерностей пространственного распределения хореографических явлений, потребовали усиленного внимания к методологическим вопросам.

Для нас стало совершенно ясно, что только при наличии точных записей народного танца может быть со всей строгостью решена задача классификации хореографического материала и выявления ареалов распространения территориальных разновидностей традиционного танцевального фольклора каждого народа.

Как известно, надежность и достоверность источника информации — непременное условие любого научного исследования. Только в таком случае картографирование позволяет подойти к более глубокому историко-сравнительному изучению народного хореографического искусства.

Такое строго корректное решение вопросов, связанных с географическим аспектом исследования, как это в свое время убедительно было доказано на музыкальном материале,<sup>3</sup> необходимо

<sup>1</sup> Жорницкая М. Я. Народные танцы Якутии. М., 1966, с. 153.

<sup>2</sup> Там же, с. 151.

<sup>3</sup> См., напр.: Квитка К. Избранные труды. Т. 1. М., 1971, с. 89—98; Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. М., 1971, с. 20.

для определения путей миграции отдельных групп населения и следов их, собственно, для историко-культурных и этногенетических выводов.

Применение к описанию танцев кинетической записи, созданной известным советским этнохореографом С. С. Лисициан, во время экспедиционного обследования районов расселения коренных народов Северо-Востока Сибири за пределами Якутской АССР позволило выявить новые ареалы и уточнить ранее выявленные ареалы бытования в этом регионе замкнутого хороводного танца.<sup>4</sup> В частности, было установлено, что для обособленной группы эвенов, издавна осевшей на территории современной Магаданской области по побережью Охотского моря, характерен традиционный танец *норгели, нэдъэ*. Анализ пластики движения и манеры исполнения показал, что эти танцы обнаруживают несомненную близость с ранее выделенными нами на территории Якутской АССР северо-восточным ареалом эвенского *нэдъэ*.<sup>5</sup> Что касается другой группы эвенов, откочевавшей еще в 40-е годы XIX столетия с Охотского побережья в поисках пастбищных угодий и занявшей обширные и безлюдные тогда в основном районы на Камчатке, пройдя через Пенжинский хребет и земли, населенные коряками,<sup>6</sup> то традиционный эвенский танец, в прошлом обычно исполнявшийся замкнутым кругом под гортанный запев, теперь они исполняют в основном стоя на месте или двигаясь по незамкнутому кругу. Наши наблюдения над пластикой движения и манерой исполнения танцев эвенами Камчатки показывают, что многое у них в этом плане заимствовано у коряков. Здесь между эвенами, коряками и ительменами быстро установились добрососедские отношения и культурные контакты, которые своеобразно отразились в области хореографии этих народов. Удалось также установить не менее характерный факт: распространенное сейчас название известного корякского и ительменского танца *норгели* по своему происхождению является эвенским.

Изучение обрядовых танцев береговых коряков, чукчей и эскимосов, исполнение которых в прошлом было обусловлено определенным хозяйственным циклом (открытие сезона добычи нерпы; встреча китов, лахтаков, моржей; добыча первого медведя, волка, росомахи; проводы душ убитых морских зверей), позволило очертить ареал распространения незамкнутых круговых танцев. Участники таких обрядовых танцев обычно продвигались по ходу солнца, по кругу с неопределенным количеством

<sup>4</sup> Лисициан С. С. Запись движения (Кинетография). М., 1940; Жорницкая М. Я. Применение метода записи движений (кинетографии) при изучении традиционных танцев коренного населения Северо-Востока Сибири. — В кн.: Полевые исследования Ин-та этнографии. 1976. М., 1978.

<sup>5</sup> Жорницкая М. Я. Изучение танцевальной культуры амгуэзских чукчей. — В кн.: Итоги полевых работ Ин-та этнографии в 1971 г. М., 1972, с. 157—163.

<sup>6</sup> Гурич И. С., Яилеткан А. И. Ачайваемская группа коряков-оленеводов. — В кн.: Краеведческие записки. Вып. 3. Петропавловск-Камчатский, 1971, с. 32—50.

участников. При этом анализ движений обрядовых танцев коряков свидетельствует об их существенном отличии по пластике движений от соответствующих танцев эскимосов и чукчей. При единой танцевальной позиции — на слегка согнутых ногах — у коряков более заметна тенденция к композиционному перестроению: прибавляются круговые повороты и проявляется особая мягкость и разработанность движений рук. Для коряков отмечаются также определенные различия композиционного перестроения в зависимости от районов бытования танца. В одних случаях круговой танец, посвященный добыче первого медведя, исполняется вокруг шкуры, лежащей на земле; в других случаях исполнитель набрасывал шкуру медведя на себя и ходил вокруг очага; в третьем случае танец исполнялся вокруг натянутой на раму шкуры медведя.

Наиболее широко распространенными, дошедшими до наших дней как у оседлого, берегового населения, так и у кочевого населения на Камчатке и Чукотке являются игровые танцы, исполняющиеся по любому случаю. Наблюдения над исполнением традиционного танца коряков в разных районах их расселения привело нас к выводу, что, несмотря на единую танцевальную позицию, единую ритмическую структуру, импровизационный, подражательный характер исполнения, танцы береговых коряков по пластике движения и манере исполнения варьируются. Выделенные варианты совпадают с территориальными подразделениями диалектных групп коряков (карагинцы, алюторцы, таловская группа, пенжинская группа, паланская группа). Для всех танцев характерна ориентировка исполнителей всегда лицом к востоку, что несомненно свидетельствует о былой обрядовой функции танца. Местом для игровых танцев в основном служат закрытые помещения. Приведенное нами сравнение показывает, что исполняемые на традиционных праздниках танцы береговых коряков восточного и западного побережья Камчатки обнаруживают несомненную близость.<sup>7</sup>

Имеющийся в нашем распоряжении материал по народному танцу ительменов свидетельствует о том, что их традиционные танцы, как обрядовые, так и современные, не имеют строго зафиксированной композиции: танцы ительменов относятся к импровизационным и носят подражательный характер. Собственно оригинальные ительменские танцы в настоящее время не сохранились; ительмены исполняют народные танцы, сочетающие движения русского танца с движениями, свойственными корякскому танцу. Ительмены также охотно исполняют эвенкийский танец норгели.

Что касается зафиксированных нами традиционных танцев оленных коряков, то они близки по пластике движения, по сюже-

<sup>7</sup> Жорницкая М. Я. Обрядовые танцы коряков и эскимосов. — В кн.: Новое в этнографических и антропологических исследованиях. Итоги полевых работ Ин-та этнографии в 1972 г. Ч. 2. М., 1974, с. 20—23.

там, по запевам к танцу оленных тундровых чукчей. Выявленный материал по танцам амгуэйских чукчей Чукотского автономного округа и чукчей Верхне-Колымского р-на Якутской АССР свидетельствует о том, что танцевальная культура этих двух групп оленных чукчей едина по своей природе; самим нам удалось расширить намеченный ранее ареал чукотских подражательных танцев, а также танцев *виврильэт* и танца с гримасами.

В отличие от коряков и чукчей у эскимосов, кроме импровизированных танцев, бытуют и строго зафиксированные танцы как по форме, так и по содержанию, которые исполняются под определенную мелодию и часто имеют у эскимосов своего автора. Это свидетельствует об особой специфике эскимосской культуры, которая, видимо, иного происхождения, чем корякская и чукотская. Однако традиционная хозяйственная деятельность — морской зверобойный промысел, быт, культурные контакты способствовали тому, что у эскимосов, с одной стороны, и у береговых чукчей и коряков — с другой, выработались аналогичные подражательные танцевальные сюжеты.

Обследование трех диалектных групп азиатских эскимосов показывает, что каждая группа не только создала свои локальные танцы, но танцевальная культура каждой из них обогащалась за счет соседей. Сиреникские эскимосы, живя бок о бок с тундровыми чукчами, заимствовали от них гортанное пение; впоследствии эти запевы послужили своеобразным аккомпанементом к эскимосским трудовым танцам.<sup>8</sup> Только науканым эскимосам были известны так называемые «сидячие» танцы, которые исполнялись женщинами. Чаплинская группа в только ей свойственной манере и с характерным запевом исполняет подражательные танцы. В чаплинской группе четко прослеживается разделение танцев на мужские и женские. Вместе с тем в основе танцев всех трех групп заложена единая танцевальная позиция. Все танцы состоят из краткого вступления и двух частей: одна часть исполняется в медленном темпе, а во второй те же движения повторяются в более быстром темпе, с большим темпераментом и с более низкой посадкой корпуса. Как правило, мужчины исполняют танцы резко, четко; женщины — более сдержанно, мягко. Танцы эскимосов отличаются своей графичностью, скульптурностью. Отдельные движения рук, позы в эскимосских танцах имеют свою символику, составляющую определенную знаковую систему, понятную своему народу.

Таким образом, выявленные нами ареалы бытования хороводного танца (якуты, буряты, эвенки, эвены, юкагиры, ительмены) и импровизационного подражательного танца линейного построения (чукчи, коряки, эскимосы) совпадают с определенными этнокультурными ареалами Северо-Востока Сибири, и древняя граница между подражательными линейного построения и хоровод-

<sup>8</sup> Жорницкая М. Я. Традиционные танцы эскимосов. — В кн.: Полевые исследования Ин-та этнографии в 1974 г. М., 1975, с. 149—157.

ными танцами далеко не случайна. Примерно такую же границу, очевидно, можно провести при картографировании особенностей фольклора и мифологических сюжетов. Правомерно поставить вопрос: является ли эта граница результатом древних этнических перемещений, или она возникла по мере распространения на территорию Якутии и прилегающих районов другого, нового, более позднего этнического компонента. В отношении народного хореографического искусства этого обширного региона Северо-Востока Сибири пока трудно определенно сказать, насложились ли здесь хороводные танцы на какие-то более ранние подражательные, или хоровод для этого региона является исконным.

Автор вполне сознает, что неизбежные трудности впервые предпринимаемого картографирования по всему региону Северо-Востока Сибири первичной хореографической информации, собранной во время изучения танцевальной культуры на местах в полевых условиях, не дали возможности разрешить все возникающие при этом вопросы. Интересы дела требуют неотложного обсуждения принципов определения критериев оценки содержания этой информации (ее достоверность и современность, состав и необходимое количество информации, обработанность и соответствие отбираемой из полевых материалов информации о танцах для картографирования). Не менее важной представляется, в частности, выработка единых критериев оценки картографической формы передачи хореографической информации (имеются в виду читаемость составленной карты, наглядность картографического изображения особенностей танца, закономерности зрительного восприятия принятых знаковых изображений с учетом графической нагрузки и т. п.). Надо полагать, что опыт, накопленный специалистами различных отраслей этнографической науки, и опыт ареальных исследований и картографирования изучаемых ими явлений поможет этнохореографам решить эти важные вопросы.

H. B. L U K I N A

### ФОРМЫ ПОЧИТАНИЯ СОБАКИ У НАРОДОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ

Почтание или особое отношение к собаке отмечено исследователями у многих народов мира. В Северной Азии оно было известно почти повсеместно. Многочисленные сведения по этому вопросу содержатся в литературе, а Е. А. Крейнович и Ю. А. Васильев посвятили ему специальные статьи, построенные на материалах исследуемого региона. Собака занимала довольно большое место в культовой жизни некоторых северных народов, с ней связаны самые разнообразные космогонические и религиозные представления. Среди них наиболее характерными признаками представляются следующие.

Небесное происхождение или связь с верховным божеством, демиургом, является лейтмотивом мифов о происхождении собаки у манси,<sup>1</sup> хантов,<sup>2</sup> эвенков,<sup>3</sup> якутов,<sup>4</sup> нивхов,<sup>5</sup> орочей.<sup>6</sup> Сюжет их сводится обычно к тому, что прежде собака была человеком или очень близка к нему, но за провинности получила от демиурга свой позднейший облик. Нередко собака совершаet плохой поступок под влиянием злого духа, он же уговаривает ее сменить прежнее покрытие в виде ногтей или золота на мех.

Большая близость или отождествление собаки и человека проявляется во многих моментах. Так, мифы алеутов,<sup>7</sup> эвенков,<sup>8</sup> кумандинцев<sup>9</sup> связывают с собакой происхождение людей. Не только в мифах, но и в бытовых рассказах многих сибирских народов говорится о половых сношениях собаки и человека. Собака являлась вместелищем души умершего человека и рассматривалась как его заместитель, что особенно хорошо прослеживается у амурских народов.<sup>10</sup> У тувинцев-ламаистов считалось благоприятным, когда душа возрождалась в виде собаки; такие души жили на небе рядом с душами, возрождавшимися в виде человека.<sup>11</sup> Эта же идея воплощена в представлениях частичной замены: удэгейцы при мирном разрешении конфликта кровной мести убивали несколько собак, чтобы была пролита кровь;<sup>12</sup> эвенки не давали собакам отвар медвежьего мяса, чтобы у человека во время охоты не мерзли ноги;<sup>13</sup> в фольклоре хантов богатырь

<sup>1</sup> Гондатти Н. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М., 1888, с. 55; Чернечев В. Н. Богульские сказки. Л., 1935, с. 31; Materialien zur Mythologie der Wogulen. Gesammelt von Arturi Kan-nisto. Helsinki, 1958, S. 81.

<sup>2</sup> Легенды и сказки хантов. Записи, введение и примечание В. М. Кулемзина и Н. В. Лукиной. Томск, 1973, с. 25—26.

<sup>3</sup> Васильевич Г. М. Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII—начало XX в.). Л., 1969, с. 215.

<sup>4</sup> Ядринцев Н. М. Культ собаки и почетное ее погребение. — ЭО, 1884, № 4, с. 156.

<sup>5</sup> Крайнович Е. А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М., 1973, с. 158.

<sup>6</sup> Ороческие сказки и мифы. Сост. В. А. Аврорин и Е. П. Лебедева. Новосибирск, 1966, с. 195—196.

<sup>7</sup> Сарычев Г. А. Путешествие по Северо-Восточной части Сибири, Ледовитому океану и Восточному океану. М., 1952, с. 215.

<sup>8</sup> Васильевич Г. М. Эвенки, с. 216.

<sup>9</sup> Диренкова Н. П. Охотничьи легенды кумандинцев. — Сб. МАЭ, 1948, т. XI, с. 131.

<sup>10</sup> Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1933, с. 106—107; Крайнович Е. А. Собаководство гиляков и его отражение в религиозной идеологии. — Этнография, 1930, № 4, с. 50; Таксами Ч. М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов. Л., 1975, с. 77, и др.

<sup>11</sup> Дьяконова В. П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., 1975, с. 93.

<sup>12</sup> Арсеньев В. К. Лесные люди — удэхэйцы. Владивосток, 1948, с. 169.

<sup>13</sup> Васильевич Г. М. Древние охотничьи и оленеводческие обряды эвенков. — Сб. МАЭ, 1957, т. XVII, с. 167.

натягивает вместо скальпа собачью шкуру, а вместо недостающих человеческих голов использует собачьи, кровь собаки могла заменить кровь человека.<sup>14</sup> К медведю, задравшему собаку, они относились так же, как к задравшему человека, а жертвоприношения, совершаемые втайне от людей, не должны были видеть собаки.

Собака могла выступать в качестве заместителя медведя. Наиболее отчетливо связь собаки и медведя прослеживается в обрядах культа медведя у народов Дальнего Востока. Нивхи и ульчи убивали собаку как искупительную жертву за убитого медведя;<sup>15</sup> у нивхов было запрещено продавать медведя, но если это произошло, то покупатель был обязан дать взамен хорошую собаку, которая помещалась в клетку для медведя.<sup>16</sup> Собака могла воплощаться в некоторых диких животных. Лопари считали медведя божьей собакой,<sup>17</sup> а манси лося — собакой сверхъестественного существа.<sup>18</sup> По мнению хантов, собака могла превратиться в мамонта,<sup>19</sup> энцы и нганасаны сближали собак и песцов, собак и волков, полагая, что у них «одна мать».<sup>20</sup>

Связь с миром духов выступает в разных формах. Во-первых, духи принимают облик собак. Такие представления широко распространены у народов Дальнего Востока и Северо-Востока Сибири относительно хозяйки воды или ее мужа.<sup>21</sup> Манси приписывают облик собаки духам нижнего мира.<sup>22</sup> Во-вторых, духи разного рода имеют своих собак, оказывающих воздействие на судьбы людей. Иногда они полезны людям; например, манси полагают, что собаки лесных духов дают охотничье и рыбакское счастье.<sup>23</sup> Но у тех же манси<sup>24</sup> и у чукчей<sup>25</sup> злые духи используют своих собак для похищения душ людей, насылая болезнь или смерть. У якутов эту функцию исполняет один из духов-помощников шамана в образе собаки.<sup>26</sup> Связанными с миром духов считаются и реальные собаки, принадлежащие людям. Они якобы могут видеть духов, отгонять их или предупреждать о них человека, собаки служат посредниками в переговорах между людьми и духами.

<sup>14</sup> Материалы по фольклору хантов. Записи, введение и примечание В. М. Кулемзина и Н. В. Лукиной. Томск, 1978, с. 34—35, 43.

<sup>15</sup> Золотарев А. М. Родовой строй..., с. 133.

<sup>16</sup> Крейнович Е. А. Собаководство гиляков..., с. 45.

<sup>17</sup> Харузин Н. Этнография. Вып. IV. Верования. СПб., 1905, с. 146.

<sup>18</sup> Materialien zur Mythologie der Wogulen, S. 218.

<sup>19</sup> Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX—начале XX в. Этнографические очерки. Томск, 1977, с. 130.

<sup>20</sup> Долгих Б. О. Принесение в жертву оленей у нганасан и энцев. — КСИЭ, М., 1960, вып. 33, с. 74.

<sup>21</sup> Золотарев А. М. Родовой строй..., с. 99.

<sup>22</sup> Munkácsi B. Seelenglaube und Totenkult der Wogulen. — In.: Keleti Scemle. T. VI. Budapest, 1905, S. 120—121.

<sup>23</sup> Materialien zur Mythologie der Wogulen, S. 223.

<sup>24</sup> Носилов К. Д. У вогулов. Очерки и наброски. СПб., 1904, с. 15.

<sup>25</sup> Богораз В. Г. Чукчи. Ч. II. Религия. Л., 1939, с. 16.

<sup>26</sup> Васильев В. Н. Шаманский костюм и бубен у якутов. — Сб. МАЭ, СПб., 1910, т. VIII, с. 29.

По воззрениям нганасан, собаки имеют своего «бога», «хозяйку»,<sup>27</sup> у хантов хороших охотничьих собак «получали» от духа.

Пожалуй, связью собаки с миром духов лучше всего объясняется ее роль в качестве жертвенного животного. Особенно велика она у народов Дальнего Востока и Северо-Востока Азии. Например, у нивхов собак жертвовали морскому духу перед началом лова или при неудаче в охоте, изображению нерпы перед началом лова этого зверя, горному духу после убийства медведя, для укрощения бури, при кормлении огня; собака являлась у них искупительной жертвой при нарушении табу в отношениях между родственниками, ее приносили в жертву и птице мести — душе убитого сородича.<sup>28</sup> У коряков, азиатских эскимосов и приморских чукчей можно насчитать не меньше ситуаций с жертвоприношениями собак, иногда весьма значительными.<sup>29</sup> Другой очаг частых жертвоприношений этого животного выявляется у энцев, нганасан и обских угров.<sup>30</sup> Любопытно, что и здесь собака нередко связывается с водной стихией. Жертвоприношения собак отмечены также у кетов, юкагиров, ненцев.<sup>31</sup>

Одним из наиболее существенных мотивов этого акта было стремление избавиться от болезни или смерти. Чукчи даже считали, что собака лаем и укусами может вернуть к жизни умершего человека.<sup>32</sup> В разных формах бытовали представления об очищающей и охранительной силе собаки или ее частей. Так, буряты верили, что если собака съест послед, то он будет скрыт от злых духов и жизнь ребенка будет сохранена.<sup>33</sup> Энцы и кеты окуривали нечистоты собачьей шерстью;<sup>34</sup> нганасаны заставляли

<sup>27</sup> Долгих Б. О. Матриархальные черты в верованиях нганасан. — В кн.: Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М., 1968, с. 215.

<sup>28</sup> Золотарев А. М. Родовой строй. . . , с. 95; Крейнович Е. А. Собаководство гиляков. . . , с. 41—47; Шеник Л. Об инородцах Амурского края. Т. II. СПб., 1899, с. 124, и др.

<sup>29</sup> Богораз В. Г. Чукчи, с. 84; Довин И. С. Очерки этнической истории коряков. Л., 1973, с. 167—168; Волов И. К. Эскимосские праздники. М., 1952 (ТИЭ, нов. сер., т. XVIII), с. 322—323; Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.; Л., 1949, с. 455.

<sup>30</sup> Долгих Б. О. 1) Принесение в жертву оленей. . . , с. 77; 2) Матриархальные черты. . . , с. 217; Лукьянченко Т. В., Симченко Ю. Б. Комментарии. — В кн.: Чарнолусский В. В. В крае летучего камня. М., 1972, с. 267; Materialien zur Mythologie der Wogulen, S. 257.

<sup>31</sup> Алексеенко Е. А. Представления кетов о мире. — В кн.: Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976, с. 78; Гуревич И. С. Юкагирская проблема в свете этнографических данных. — В кн.: Юкагиры (историко-этнографический очерк). Новосибирск, 1975, с. 52; Керцели Н. Г. Несколько слов о мезенских самоедах. — Тр. Этногр. отдела ОЛЕАЭ, М., 1874, кн. 3, вып. 1, с. 71.

<sup>32</sup> Богораз В. Г. Чукчи, с. 151.

<sup>33</sup> Басаева К. Д. Традиционные обычаи и обряды западных бурят, связанные с рождением и первыми годами жизни ребенка. — Этногр. сб., Улан-Удэ, 1974, вып. 6 с. 33.

<sup>34</sup> Алексеенко Е. А. Старинные обычай кетов, связанные с рождением ребенка. — КСИЭ, М., 1963, вып. 38, с. 71; Прокофьев Е. Д. Материалы по религиозным представлениям энцев. — Сб. МАЭ, 1953, т. XIV, с. 213.

больных дышать на собак, чтобы на них перешло дыхание злого духа,<sup>35</sup> у чукчей отец входил к новорожденному ребенку только после очищения, потерев о себя щенка.<sup>36</sup> Эскимосы убивали собаку, чтобы не было несчастий в доме,<sup>37</sup> у монголов невеста кормила собаку для приобщения к домашнему очагу.<sup>38</sup> У многих народов молочные зубы отдавали собаке, чтобы их сменили крепкие зубы. Ханты верили, что собака принесет удачу охотнику, если перешагнет через его ружье. Вера в способность собаки охранять от злых духов и болезней объясняется, по мнению Ю. А. Васильева, ее сторожевой функцией.<sup>39</sup>

Очистительная способность собак использовалась и в погребальном обряде. Манси при возвращении с похорон по очереди бросали собаку через плечо, чтобы умерший не возвратился, у них же средством прогнать умершего считались собачьи следы.<sup>40</sup> Погребальный поезд иганасан переезжал через собаку, его очищение производилось дымом от собачьей шерсти.<sup>41</sup> Но этим не ограничивалась роль собаки в погребальном обряде и связанных с ним представлениях. У нивхов, ульчей и береговых чукчей существовала традиция отвозить умерших на собаках.<sup>42</sup> Более широко в Северной Азии отмечен обычай убийства собак на месте погребения хозяина. Было известно и специальное оставление покойников на съедение собакам. Это был один из четырех способов захоронения у якутов.<sup>43</sup>

Урянхайцы-буддисты обливали умершего конопляным маслом, чтобы его быстрее съели собаки;<sup>44</sup> на Камчатке поедание собаками обеспечивало якобы езду на хороших собаках в потустороннем мире.<sup>45</sup> У манси собакоподобные идолы нижнего мира ликвидируют трупы;<sup>46</sup> у чукчей и коряков умерший проходит через особый собачий мир, где собаки нападают на того, кто плохо обращался с ними при жизни.<sup>47</sup>

У некоторых народов предметом забот была собака, умершая естественной смертью. Ханты привязывали ей на лапы черную

<sup>35</sup> Попов А. А. Душа и смерть по воззрениям иганасанов. — В кн.: Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976, с. 34.

<sup>36</sup> Богораз В. Г. Чукчи, с. 176.

<sup>37</sup> Волов И. К. Эскимосские праздники, с. 323.

<sup>38</sup> Викторова Л. Л. Ранние формы религии киданей. — В кн.: Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974, с. 264.

<sup>39</sup> Васильев Ю. А. Собаки в фольклоре и культе северных народов. — Сов. Арктика, 1935, № 5, с. 72.

<sup>40</sup> Materialien zur Mythologie der Wogulen, S. 50.

<sup>41</sup> Попов А. А. Душа и смерть..., с. 39.

<sup>42</sup> Богораз В. Г. Чукчи, с. 193; Золотарев А. М. Родовой строй..., с. 152; Шренк Л. Об инородцах..., с. 134—136.

<sup>43</sup> Харузин Н. Этнография, с. 214.

<sup>44</sup> Катанов Н. Ф. О погребальных обрядах тюрksких племен Центральной и Восточной Азии. Казань, 1894, с. 20—21.

<sup>45</sup> Крашениников С. П. Описание..., с. 443.

<sup>46</sup> Munkácsy B. Seelenglaube und Totenkult der Wogulen, S. 121—122.

<sup>47</sup> Богораз В. Г. Чукчи, с. 45.

и красную ленточки, заворачивали в тряпку и закидывали в лесу ветками; манси строили для умерших собак домики, а позднее зарывали в землю.<sup>48</sup> Юкагиры подвешивали умершую собаку в лесу, повязав ей на шею красную тряпочку,<sup>49</sup> буряты клали в рот умершему животному кусок мяса или сала, чтобы оно было сыто в загробном мире.<sup>50</sup> По воззрениям нивхов, у собак был особый загробный мир, впрочем, мнения авторов на этот счет расходятся.<sup>51</sup>

Благоприятное воздействие на судьбу человека оказывали не только сами собаки, но и их изображения. Среди амулетов чукчей очень часто встречались изображения собак, а функцию жертвенной собаки мог исполнять ее заместитель, изготовленный из травы;<sup>52</sup> у эвенков в них стреляли для удачной охоты;<sup>53</sup> у хантов деревянные фигурки собак заменяли жертвенных животных и способствовали получению хороших охотничьих собак от определенных духов.<sup>54</sup> Но о широком распространении изображений собак с культовыми целями среди народов Северной Азии, пожалуй, говорить не приходится. Так, исследователи отмечают, что на шаманских кафтанах этого региона редко встречаются собаки и медведь.<sup>55</sup> Невелика и роль собаки в шаманстве сибирских народов, хотя определенные данные об этом имеются. Например, манси полагали, что дар провидца можно получить, если смотреть ночью лающей черной собаке между ушей.<sup>56</sup> У шорцев, хантов и манси шаманский бубен обтягивали шкурой этого животного,<sup>57</sup> у эвенков изображение собаки считалось охранителем шаманов, тогда как другие животные служили только в качестве транспортных.<sup>58</sup>

Наконец, собака исполняла еще одну функцию — клятвенного животного. Это отмечено у киргизов в районе Томска и предков киданей.<sup>59</sup>

<sup>48</sup> И д е с И., Б р а н д А. Записки о русском посольстве в Китай (1692—1695). М., 1967, с. 72—73.

<sup>49</sup> Г у р у в и ч И. С. Юкагирская проблема, с. 52.

<sup>50</sup> Х а р у з и н Н. Этнография, с. 76.

<sup>51</sup> К р е й н о в и ч Е. А. Собаководство гиляков..., с. 52; Т а к с а м и Ч. М. Основные проблемы..., с. 78.

<sup>52</sup> Б о г о р а з В. Г. Чукчи, с. 51.

<sup>53</sup> В а с и л е в и ч Г. М. Эвенки, с. 238.

<sup>54</sup> К а г ю л а и н е п К. Ф. Die Religion der Jugra-Völker. T. I—II, Helsinki, 1921—1922, S. 152; t. III, 1927, S. 6.

<sup>55</sup> П р о к о фьев а Е. Д. Шаманские костюмы народов Сибири. — Сб. МАЭ, 1971, т. XXVII, с. 788.

<sup>56</sup> Materialien zur Mythologie der Wogulen, S. 407.

<sup>57</sup> Г о н д а т т и Н. Л. Следы язычества..., с. 12; К у л е м з и н В. М. Шаманство васюганско-ваховских хантов (конец XIX—начало XX в.). — В кн.: Из истории шаманства. Томск, 1976, с. 136; П о т а п о в Л. П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая. М., 1947, с. 162.

<sup>58</sup> И в а л о в С. В. Скульптура народов Севера Сибири XIX—первой половины XX в. Л., 1970, с. 221.

<sup>59</sup> В и к т о р о в а Л. Л. Ранние формы религии..., с. 264; Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского по-ланника Николая Слафария в 1675 году. СПб., 1882, с. 9.

Не удивительно, что такое многообразное «влияние» собаки на судьбы человека и общества привело к появлению целого ряда охранительных мер и запретов. У нивхов это проявлялось главным образом в отношении собаки, посвященной или пожертвованной духам.<sup>60</sup> Юкагиры считали за грех обрабатывать собачьи шкуры,<sup>61</sup> у кетов «нечистая» женщина не смела кормить собак,<sup>62</sup> буряты запрещали бить животное «нечистым» предметом (например, веником) или прижимать его дверью, а убийство расценивали как преступление, позор.<sup>63</sup> Запрет на убийство собак был ярко выражен у хантов, нарушитель вызывал презрение, и его дети и племянники лишились права снимать шкуры с других собак.<sup>64</sup> В легендах этого народа богатырь, убивший двух собак, был казан смертью.

Существовал и диаметрально противоположный взгляд на это животное — как на вредоносное, опасное существо. Резко отрицательное отношение к собаке было у тюркоязычных народов. По воззрениям тувинцев, нежелательным было заскакивание на юрту мелких домашних животных, но особенно плохо, если это делала собака. Немедленно производилась перекочевка с выполнением нескольких обрядов. У них же плохим предзнаменованием было съедение покойника собаками.<sup>65</sup> У алтайцев и телеутов они не должны были подходить к очагу и даже их шкуры нельзя класть на печь.<sup>66</sup> Колары при похоронах не пускали собак на кладбище.<sup>67</sup> Якуты считали, что собака и кошка в отличие от других домашних животных не имеют души, а шаманы, имеющие облик собаки, — самые несчастные.<sup>68</sup> В легендах тюрков пес — это олицетворение чужеродного.<sup>69</sup>

В приглушенном виде подобный взгляд на собаку зафиксирован и у других народов, даже у тех, которые ее почитали. Так, у ненцев нельзя было очищаться ее шерстью, так как это поганое существо;<sup>70</sup> у кетов собака не должна была подходить к последу, иначе у роженицы будет болеть живот.<sup>71</sup> По примете эвенов-оленеводов, нельзя держать в хозяйстве собак — лишишься оленей.<sup>72</sup> Ханты считали опасной собаку во время грозы, так как Торум

<sup>60</sup> Крейнович Е. А. Собаководство гиляков...

<sup>61</sup> Гурвич И. С. Юкагирская проблема, с. 52.

<sup>62</sup> Алексеенко Е. А. Старинные обычай кетов..., с. 74.

<sup>63</sup> Харузин Н. Этнография, с. 76.

<sup>64</sup> Старцев Г. Остяки. Л., 1928, с. 98—99.

<sup>65</sup> Дьяконова В. П. Погребальный обряд..., с. 62; Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. М., 1969, с. 162—163.

<sup>66</sup> Дыренкова Н. П. Культ огня у алтайцев и телеутов. — Сб. МАЭ, 1927, т. VI.

<sup>67</sup> Катаев Н. Ф. О погребальных обрядах..., с. 18.

<sup>68</sup> Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. СПб., 1896, с. 626; Харузин Н. Этнография, с. 403.

<sup>69</sup> Викторова Л. Л. Ранние формы религии..., с. 264.

<sup>70</sup> Прокофьева Е. Д. Материалы..., с. 213.

<sup>71</sup> Алексеенко Е. А. Старинные обряды кетов..., с. 73.

<sup>72</sup> Гурвич И. С. Юкагирская проблема, с. 59.

посыпает на нее молнии, как и на злых духов; лай собак мог помешать во время обряда оживления умершего или привести к смерти человека, незаслуженно претендующего на роль исполнителя религиозных функций.<sup>73</sup>

Некоторые запреты не были специфически «собачьими». У эвенков во время охотничьего обряда очищения привязывали по дальше собак, чтобы они не лаяли. Но одновременно не должна была звенеть посуда, шуметь дети и т. д., т. е. нежелателен любой шум, в том числе и лай собак.<sup>74</sup> У многих народов Северной Азии запретными были для собак кости, череп, внутренности, мясо и навар от мяса добываемых диких животных. Что кроется за этим табу? Очевидно, это только часть универсального предписания о бережном отношении к добываемым животным, которое должны были соблюдать и люди. Такому объяснению соответствуют и данные о запретах давать добычу птицам.

Итак, обряды и представления народов Северной Азии, связанные с почитанием собаки, были весьма разнообразными, но среди них выделяется ряд общих признаков. Наиболее четко отражены следующие: небесное происхождение или связь с верховным божеством, демиургом; отождествление собаки с человеком, а среди диких животных — с медведем; связь с миром духов; жертвоприношения собак; очищающая и излечивающая сила этого животного; участие собаки в погребальном обряде и связанных с ним представлениях; охранительные меры по отношению к ней. Обращает на себя внимание связь собаки с водной стихией.

Картографирование показало, что в Северной Азии выявляются три ареала, наиболее насыщенных перечисленными признаками. Это Дальний Восток, Северо-Восточная Сибирь и Северо-Западная Сибирь. Наиболее яркие формы почитания собаки существовали у народов, нередко объединяемых общим названием палеазиатских: нивхов, ительменов, приморских коряков и чукчей, а в Северо-Западной Сибири — у обских угров. Можно отметить очаги, тяготеющие к названным ареалам — юкагиры, кеты, энцы и ноганасаны. Южная Сибирь, заселенная в основном тюркоязычным населением, является зоной отрицательного отношения к собаке, но оно не характерно для монголоязычных бурят — буддистов по вероисповеданию.

Как уже было сказано, обнаруживается противоречивое отношение к собаке у одного и того же народа. Заметим, что некоторые противоречия — только кажущиеся и легко могут быть объяснены из мировоззрения народа, другие же, вероятно, есть следствие сложного этнического состава.

<sup>73</sup> Кулемзин В. М. Шаманство..., с. 59.

<sup>74</sup> Василевич Г. М. Некоторые данные по охотничьим обрядам и представлениям у тунгусов. — Этнография, 1930, № 3, с. 60.

**РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ  
В ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ  
(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ)**

История судоходства в Западной Грузии насчитывает тысячелетия. В этой местности историческими и этнографическими данными подтверждается существование лодок, различающихся по конструкции и функции. Например, распространенные в бассейне р. Риони плоскодонки (*одишури нави*) и лодки с разведенными бортами (*чаладидури ниши*) намного отличаются от морских, круглодонных (с килем), так называемых «лазских» лодок, употребляемых на реках Чорохи (*чорохули нави*), Хоби (*чаладидури нави*), на оз. Палиастоми (*гадамбули нави* — типа ката-марана) и т. п. (см. рисунок). Кроме того, для ловли рыбы и охоты на морского зверя, для перевозки пассажиров в Западной Грузии до последнего времени использовались лодки соответствующего типа. Поэтому в Западной Грузии с древнейших времен возникла особая специальность мастера по дереву — судостроителя (*нависмокмеди*), в которой выдвинулись главным образом лазы и мегрэлы.

Одними из древних средств речного транспорта были бревно и плот, управляемые шестом. Но как бревно, так и плот неудобны для перевозки людей и грузов. Поэтому наиболее вероятно, что в период неолита—энеолита на Черноморском побережье была распространена лодка-однодеревка, называемая *цалфа нави* или *варцхли*. Типологически к такой лодке приближается лодка *мора*, до последнего времени употребляемая в хозяйственных целях. Лазы называют такую же по форме, но сколоченную рыболовную лодку *фаталия*, а в Гурии — *хечепа*.

Таким образом, в богатой реками и лесом древней Колхиде судостроению дала начало однодеревка (лодка, выдолбленная из цельного ствола дерева),<sup>1</sup> в отличие от районов, где леса нет (в Египте использовался для строения камыш, а в Месопотамии — бурдюки из кожи животных и т. д.).

Конструкция однодеревок везде почти одинаковая и сохранилась вплоть до нашего времени. Самая древняя модель ее обнаружена в 1927 г. на раскопках Ура (Месопотамия) Л. Вулом. Изготовленная из серебра, эта модель (65 см длины) относится к V тысячелетию до н. э. и представляет собой четырехвесельную речную лодку. На территории нашей страны подобная по типу лодка, относящаяся приблизительно к III тысячелетию до н. э., найдена в 1937 г. у берегов Южного Буга. Она изготовлена из

<sup>1</sup> См.: Г е р о д о т . История. Тбилиси, 1975, I, II, 105; С т р а б о н . География. М., 1964, XI, II, 17; А р р и а н Флавий. Путешествие по берегам Черного моря. Тбилиси, 1961, с. 38, 40, 42; Ч а ч а ш в и л и Г. А. Из истории изготовления тканей в Грузии. Г. Лен. — Вестн. Гос. музея Грузии, Тбилиси, 1956, XIX-в, и др.

360-летнего дуба (длина лодки 7 м, ширина 80 см, хранится в Ленинградском военно-морском музее). Точно такая же лодка, тоже из дуба и приблизительно того же времени, была найдена в 1954 г. у Воронежа. По этнографическим данным, в Западной Грузии для изготовления однодеревок часто использовали дуб.

Лодки-однодеревки из Западной Грузии по форме почти не отличаются друг от друга. Длина такой лодки составляла 3—7 м,



#### Распространение речного транспорта в Западной Грузии.

1 — ниши, мора (однодеревка); 2 — колхсий корабль; 3 — камара (колхская боевая лодка); 4 — олекандери (средневековый боевой корабль); 5 — катарга (средневековая боевая лодка); 6 — фелука (лазская морская лодка); 7 — чорохская лодка; 8 — одицкая лодка; 9 — чаладидская лодка; 10 — лодка типа катамаран; 11 — лазская рыболовная лодка; 12 — рыболовная лодка; 13 — малая рыболовная лодка; 14 — имеретинская лодка; 15 — плот; 16 — паром; 17 — навтики (бурдючная лодка).

ширина — 0,5—1,5 м в зависимости от размеров дерева. Передняя часть (*tavi*) была на 8—12 см шире задней (*кирчи*), чем обеспечивалось снижение сопротивления воды. Находящаяся в Ленинградском музее лодка почти аналогична описанной выше.

По наблюдению народа, когда лодка движется носом, она широко режет воду, прокладывая путь задней части. Передняя и задняя части *ниши* (тип одинарной лодки) в остальном почти одинаковы. Делали их, по словам специалистов-мастеров, наподобие чувяков, чтобы лодка хорошо разрезала воду, нос и корма лодки возвышались над водой на 0,5—1 м, издали напоминая грузинский *каламани* (лапоть). Это позволяло при хорошей погоде развивать скорость до 8—10 миль в час.

Ниши больших размеров, сколоченная из досок, называемая *чаладидури ниши*, была в употреблении до 30-х годов нашего века. На ней можно было перевезти до 8—10 т груза, длина ее была до 15 м, ширина достигала 3—4 м, управлялась 10—12 гребцами (*мехопееби*), треугольный парус играл вспомогательную роль. Нос и корма у лодок типа ниши была полуокруглой формы, управляли ею с помощью двух стационарных рулей (*хали, карл*). У ниши имелся якорь малого размера. Как рассказывают, раньше употреблялся каменный якорь. Он вытасчивался наподобие железного, на нем имелось отверстие, в которое вставлялся кусок дерева с привязанной к нему веревкой или сплетенного из водорослей «*γυλέσι*». Как говорят, каменный якорь был удобен и потому, что его «не разъедала вода» и он долго сохранялся.

Такие лодки во внутренних водах (озеро, река, канал) как наиболее дешевые и удобные были почти незаменимым транспортом. Их использовали в рыболовстве и охоте, для перевозки различных грузов и пассажиров, буксировки плотов и др. Лодка подобного типа не была особенно выносливой и в среднем держалась около 3 лет. На Палиастоми и в прилегающих к нему местностях их изготавливали из сырого дерева. Эти лодки по размеру были значительно меньше чорохских лодок (деревянный материал которых специально высушивали) и потому более удобными в здешних природно-географических условиях. Часто отремонтированные, испытанные старые лодки предпочитались новым, так как чорохские и рионские лодочники считали их счастливыми. Это подтверждает А. Ламберти.<sup>2</sup>

Население Западной Грузии до последнего времени пользовалось подобными лодками, что удостоверяется этнографическими данными. В настоящее время в быту прочно обосновались современные моторные лодки, но иногда население все же предпочитает старинные лодки, так как в мелких обрывистых местах такие лодки более удобны при маневрировании.<sup>3</sup>

Водный транспорт с древнейших времен занимал большое место в быту западногрузинских племен, на что указывает топография археологических памятников, мощность культурных слоев, продолжительность поселения и другие вещественные материалы. Из

<sup>2</sup> Арканджело Ламберти — католический миссионер и путешественник, живший в Западной Грузии в 1633—1653 годах, см. его «Описание Мингрелии» (Тифлис, 1938, с. 157).

<sup>3</sup> Совсем недавно, в связи с осушением болот Палиастоми, были высказаны соображения о восстановлении в этих местах передвижения на маленьких и средних лодках (типа *ниши, одишиури нави* и др.). Перевозку сена, дров, продовольствия и проведение других связанных с осушением колхидских болот работ ввиду особых природно-географических условий более удобно и рентабельно осуществлять этим путем, так как моторные лодки современной речной флотилии на болотистых и мелководных местах легко выходят из строя. Использование народных средств судоходства к тому же обойдется намного дешевле. Это позволит восстановить традиционное внутреннее судоходство в бассейнах рек Риони, Хоби и др., что окажет содействие дальнейшему развитию курортного строительства и туризма в республике.

письменных источников уже в «Каталоге кораблей» Гомера указывается на развитие судоходства у грузинских племен.<sup>4</sup>

Дальнейшие сведения носят более конкретный характер. Например, согласно Гиппократу, «...они (колхи, — З. К.) мало ходят пешком, только в городе или на рынке, а обыкновенно разъезжают на лодках вверх и вниз по каналам, которых там множество».<sup>5</sup> У Ксенофonta, Страбона, Ариана мы находим сведения об использовании Чорохи, Риони, Хоби и других западногрузинских рек.<sup>6</sup> Эти же авторы, а также Тацит<sup>7</sup> описывают водный транспорт и его навигационные качества у древнегрузинских племен.

Сведения о судоходстве в Колхиде содержатся и у византийских историков: Прокофия Кесарийского,<sup>8</sup> Агафия Схоластика<sup>9</sup> и др.

В быту грузинского народа в довольно разнообразном виде представлена также парусно-гребная сколоченная лодка разного типа, которая широко применялась на Риони, Хоби, Чорохи, Супса и на других реках.

В особенности известны чорохские и рионские лодочники. Река Чорохи связывала Шавшети со старыми грузинскими провинциями — Лазети, Гурия—Аджарий, Кобулети, поэтому среди причорохского населения было очень много лодочников (селения Марадиди, Хеби, Борчха, Кирнати, Катафхи и др.).

Ввиду специфики реки (Чорохи неглубока, и к тому же течение ее изменчиво) местная лодка плоскодонна, не опускается глубоко и плавает почти на поверхности. Дно лодки состоит из трех соединенных друг с другом насечками досок, из которых средняя называется *сарагана* (прямая и концы ее одинаковых размеров), две остальные доски называются *табани* (более короткие). Все три доски шириной должны составлять 5 пядей, а толщиной 2 вершка. Лодка длиной менее чем 45 пядей не строилась, так как на такой лодке по Чорохи плавать было опасно. По описанию русских путешественников, «чорохский каюк представляет собой узкую, футов в 5 ширины, до 50 футов длины, плоскодонную с острыми концами лодку. Глубина каюка доходит до 4 футов, а углубление в воде не более 2 футов. Строится каюк из толстых каштановых досок, дно обыкновенно делают ольховое. Стрянут каюк в селении Марадиди. Ежегодно продается от 25 до 30, число же всех каюков, плавающих по Чороху, достигает 150».<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Каучишили С. Г. I, 2—3 главы «Истории» Геродота и «Каталог кораблей» Гомера. — Тр. Тбил. гос. ун-та, 1948, т. XXIV, с. 365—371.

<sup>5</sup> Цит. по: Латышев В. В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Ч. 1. Греческие писатели. — ВДИ, 1947, № 2, с. 295.

<sup>6</sup> Цит. по: Микладзе Т. К. «Анабасис» Ксенофonta. Тбилиси, 1967, с. 113.

<sup>7</sup> Тацит Корнелий. История. Т. II, III, 47. М., 1969.

<sup>8</sup> Георгида. Сведения византийских писателей о Грузии. II. Тбилиси, 1965, с. 79—80.

<sup>9</sup> Георгида. III. Тифлис, 1936, с. 51.

<sup>10</sup> Масальский В. И. Очерк Батумской области. — Архив ВГО, разд. 52, оп. 1, л. 64 (1886 г.).

По другому сообщению, чорохские лодки были похожи на венецианские гондолы. Спереди судна (носовая часть) расположено сиденье лодочника, *чатали* с прикрепленными к ней таркалами для весел и хвост с раздвоенным железным колом для привязывания веревки. Сзади (корма лодки) вместо весел на таркалах помещаются два руля (ввиду быстрого течения на Чорохи необходимо два руля), которые делались из дуба или каштанового дерева, длина лодки составляла 18—26, а ширина 2—3 шага. Лодкой можно было перевезти от 6 до 8 т груза.<sup>11</sup> Эта форма судна выработана многовековым народным опытом и существовала со времени старой Колхиды.

Сколоченная речная (и морская) лодка известна в Колхиде как в античный, так и в поздний феодальный период. Вот что рассказывает известный турецкий путешественник XVII в. Э. Челеби: «Итак, триста янычаров и я, странник, с пятью моими пленными мальчиками-грузинами сели в десять лазских менексил. Эти корабли строятся из трех толстых тополей, произрастающих на берегах Чорохи. Одна доска, наподобие корыта, — снизу, еще по одной — с боков. Очень большие доски. С бортов судно обвито сплетенными толщиной в два человека тростником и ситником. Поэтому кораблям не страшны морские бури и они плавают по Черному морю как губки. Корытообразные лодки — замечательные суда, нос и корма их неразличимы (ср. «колхский барок», описываемый Тацитом и другими авторами, по которым характерная черта западногрузинских лодок — возможность плавать как по рекам, так и на море, — З. К.). В этих краях их называют менексили. Вмещает 100 человек».<sup>12</sup>

Таким образом, этот вид малых кораблей был перенят турками у лазов и получил название *менексила* (от греч. «моноксилус», т. е. «вырубленный из одного дерева»). Высказано мнение, что многие турецкие морские термины (и типы судов) заимствованы как из греческого, так и из грузинского языков.<sup>13</sup> Менексила к тому же очень похожа на описанный в античных источниках (Страбон, Тацит и др.) колхский морской военный корабль *камара*, который, со своей стороны, похож на эллинский тип кораблей (длинный с тараном корабль).<sup>14</sup>

От чорохской лодки резко отличается распространенная в бассейне Риони сколоченная лодка (одишская лодка). Мастерами-

<sup>11</sup> Архив внешней политики России, ф. «Посольство в Константинополе», д. 2606, л. 172 (1866 г.).

<sup>12</sup> Челеби Эвлия. Книга путешествий. И. Тбилиси, 1971, с. 95.

<sup>13</sup> Tietze A. The lingua Franca in the Levant. Paris, 1953, p. 545.

<sup>14</sup> К этому типу корабля близка средневековая грузинская военно-морская лодка (корабль) *олечканери*, а также *катарга*. См.: Куталейши и др. Судоходство в Западной Грузии (по этнографическим данным). Дис. (хран. в Библ. Тбилис. гос. ун-та), с. 21, 117, 124 и др.; Инал и др. О мореплавании в Абхазии в античный период и в феодальную эпоху. — Тр. Абхаз. ин-та языка, литературы и истории, Сухуми, 1959, вып. XXX; Берадзе Т. Н. Мореплавание в Западной Грузии. Тбилиси, 1981, с. 52, и др.

строительями этих лодок славились Мегрелия и Нижняя Имеретия. «Наша лодка (*лазури нави*, — З. К.) не может плавать в Кулеви, Поти и Анаклии потому, что там мелководье», — рассказывают лазские лодочники. Действительно, у лодок в Поти и в Кулеви дно более плоское, нос овальный и в воду глубоко не погружается. В отличие от лазской лодки одицкая плавает с поднятым носом. Лазская лодка, по словам информатора А. Хоравы из с. Сарии, очень похожа на чайку — передняя и задняя части приподняты над водой, средняя же — опущена; русские и другие лодки совсем не такие.

Следует отметить, что от Поти вверх по Риони до Самтредия и в обратном направлении оживленная торговля продолжалась до начала нынешнего века с помощью местных лодок, называемых *саквеморо нави*, *чаладидури ниши*, *одишури нави* и др. Водоизмещение их составляло от 8 до 12 (и более) тонн. Лодками длиной от 10 до 18 м и шириной до 4.5 м управлял экипаж из 12 и более человек. Сюда привозили строительный лес, лен, кукурузу, фасоль, шерсть, вино и др.

Наряду с различными лодками в Западной Грузии широко использовались плоты, которые вязались из сосны, липы, кара-гача. Каждый плот состоял из 15 стволов деревьев, из которых среднее называлось *дэда хе* («мать-дерево»). Длина плота составляла 12—25 м и более. В каждом стволе спереди и сзади были проделаны отверстия (ушки), которые обивались прутьями и соединялись с ярмом (ярмом называлось расстояние между ушками). Обыкновенно у плота крепко связаны головные части боковых бревен, концы же их свободны и называются *маракацеби*; в случае выбрасывания на берег с их помощью плот сдвигается с места. Нередко плоты буксируются лодками до места назначения.

Плоты широко использовались и как грузовое транспортное средство на реках Ингури, Риони, Супса, Хоби и на оз. Палиастоми.

Как было сказано, развитию навигации в древней Колхиде очень способствовало наличие дорогих пород деревьев, здесь же имелись лен, конопля, воск, которые необходимы для парусного устройства кораблей. Вместе с этим горный рельеф, болота, непроходимые леса сильно затрудняли сухопутные сношения, так что в этих местах единственным средством сношений оставались море, реки, каналы и озера.

Но имелись и условия, мешающие этому. Недостаточная изрезанность Колхидского побережья Черного моря, малое количество гаваней, отсутствие островов не позволяло уходить далеко в море, что в свою очередь мешало совершенствованию конструкции кораблей. К тому же ограниченная длина рек позволяла лишь перевозку грузов на маленькие расстояния. Поэтому не было никакого смысла наладить в Западной Грузии строительство кораблей большого размера. Маленькие и среднего размера ко-

рабли вполне удовлетворяли те потребности, которые ставились перед навигацией.

Подобного рода лодки благодаря своей плоскодонности легко приставали к берегу, и в качестве гавани использовался даже самый маленький приток реки (по-древнегрузински *tavisi*, т. е. «голова»). К тому же строительство подобных лодок не требовало особых затрат.

В прошлом веке, при развитии капитализма, массовая рубка леса привела не только к исчезновению нужных для кораблестроения дорогих пород деревьев, но и к катастрофическому понижению уровня рек. Некоторые реки исчезли, другие превратились в маленькие ручьи. В результате этого мнение о широком использовании в древности для навигации рек Западной Грузии иногда вызывает скептическое отношение. Однако древние письменные источники и гидрологические данные убеждают, что для навигации использовались почти все реки, которые впадали в Черное море.

Таким образом, археологические материалы, исторические источники и особенно этнографические данные создают интересную картину развития речного водного транспорта в Колхиде с древнейших времен до наших дней. Именно этнографические исследования дают возможность восстановить связанные с судоходством верования и представления, социальные и культурно-исторические отношения и другие вопросы, позволяют установить ареал распространения отдельных видов лодок, дать их типологию, установить богатую терминологию, связанную с судоходством, большая часть которой — грузинского происхождения.

*Н. В. БИКБУЛАТОВ*

СКОЛЬЗЯЩИЙ СЧЕТ ПОКОЛЕНИЙ  
В УРАЛО-АЛТАЙСКИХ СИСТЕМАХ РОДСТВА  
(ПО ДАННЫМ АРЕАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ)

В системах родства тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, самодийских и финно-угорских народов классификация родственников в вертикальном (поколенно-возрастном) разрезе осуществлена своеобразным способом, заметно отличающим эти системы от систем родства в других языковых семьях и группах. В них в одну и ту же категорию родства объединяются мужские (или женские) представители двух поколений — нижняя часть данного поколения с верхней частью последующего за ним нисходящего поколения, а верхняя часть того же поколения в свою очередь объединяется с нижней частью смежного восходящего поколения. В результате люди одного поколения и даже одной степени родства (например, братья или сестры эго) оказыва-

ваются отнесенными к разным категориям родства, различаемым особыми терминами. Критериями такого разграничения выступают с некоторыми вариациями относительный возраст этого, его отца и матери, деда и бабки и некоторых других родственников (или свойственников).

Такая поколенно-возрастная классификация родственников впервые была обнаружена Л. Я. Штернбергом у орочей Татарского пролива и названа им «скользящим» счетом поколений.<sup>1</sup> Он установил существование таких систем у ряда тунгусо-маньчжурских народов и высказал предположение, что отмеченная особенность должна быть присуща тюркским, а возможно вообще урало-алтайским системам.<sup>2</sup> Последующие работы подтвердили правоту Л. Я. Штернберга: «скользящий» счет поколений был открыт у нанайцев, эвенков, ульчей. Как свидетельствуют опубликованные материалы, он характерен также для систем родства монгольских и тюркских народов, финно-угров и самодийцев.<sup>3</sup>

Таким образом, оказалось, что смешение поколений, сопровождаемое разделением представителей одного поколения на старшую и младшую ветви, наблюдается в системах родства всех народов, говорящих на языках алтайской и уральской общности, и составляет особенность этих систем. Это тем более примечательно, что оно совершенно не характерно для восточных и северных соседей алтайских народов — палеоазиатов, а также для китайцев и индоевропейцев.

Л. Я. Штернберг был склонен объяснить эту особенность системы родства у тунгусов существовавшим у них браком между лицами разных поколений, а именно между дядей и племянницей. К его точке зрения присоединились Н. К. Карагер, А. Ф. Анисимов, А. М. Золотарев, хотя в деталях их концепции и различались. В частности, А. Ф. Анисимов писал, что у эвенков «скользящий» счет поколений явился результатом сознательной переорганизации системы и ввода брачных запретов во избежание кровосмесительных браков между отцом и дочерью, матерью и сыном в период дуально-экзогамной организации. Сначала «разделили каждое поколение на две половины — старших и младших, — и в соответствии с этим ввели запрет, воспрещающий женщине вступать в брак с мужьями женщин старших, чем она».<sup>4</sup> Следую-

<sup>1</sup> Шт е р н б е р г Л. Я. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии. Л., 1933, с. 16—17.

<sup>2</sup> Там же, с. 151—152.

<sup>3</sup> Литература по этому вопросу содержится в напечатанной работе «Система родства башкир» (М., 1964) и в статье А. М. Решетова «Некоторые наблюдения над системами родства» (в кн.: Охотники, собиратели, рыболовы. Проблемы социально-экономических отношений в доземледельческом обществе. Л., 1972, с. 228—235). См. также: B o d g o i T. Some problems regarding investigations into the Hungarian kinship terminology. — In: Acta ethnogr. Acad. Sci. Hung., 1962, t. XI, fasc. 3—4, p. 273—289; K r a d e g L. Social Organization of the Mongol-Turkic pastoral Nomads. — Indiana Univ. Publ., Uralic and Altaic ser., 1963, vol. 20.

<sup>4</sup> А н и с и м о в А. Ф. Родовое общество эвенков. Л., 1936, с. 43—44.

щим шагом явилось запрещение для женщины брака с мужьями ее дочерей и с мужьями дочерей своих младших сестер. В итоге, по его словам, были исключены матrimониальные отношения между родителями, с одной стороны, и их детьми — с другой, но сохранились брачные связи между дядей и племянницей, теткой и племянником.

По мнению А. М. Золотарева, брак с племянницей, дериватом которого является «тунгусская» система, возник вследствие перехода к патрилинейной филиации в дуально-родовом обществе. Дуально-родовая экзогамия с групповым браком и патрилинейной филиацией допускала браки с собственной дочерью и дочерью брата; с переходом к патрилинейности такие браки трансформируются в браки с племянницей.<sup>5</sup> В результате этого в системе родства происходит раздвоение и смешение поколений, изоляция терминов для каждого из родителей и супругов, позднее — «отделение поколения дедов от поколения отцов» и т. д.

Все авторы совершенно правы в одном: между «скользящим» счетом поколений в системах родства и браками лиц разных поколений, в том числе дяди и племянницы, существует определенная связь. Однако здесь трудно определить, что из них является причиной, а что — следствием. Кроме того, оба эти явления могли быть обусловлены каким-то другим фактором или составлять часть одной, более универсальной системы. Ведь в первобытном обществе взаимоотношения людей внутри первичных коллективов — будь это родовая или домашняя община — носили разносторонний характер и статус каждого человека среди всех остальных измерялся не только его матrimониальными правами. Большого внимания в этом плане заслуживает высказанная А. М. Решетовым мысль, что системы родства «первоначально фактически отражали не только родство, а и сложный комплекс социальных, в том числе прежде всего экономических, отношений между группами людей в первобытном обществе».<sup>6</sup>

Несколько иную точку зрения на происхождение систем родства со скользящим счетом поколений высказал Л. А. Файнберг, используя материалы нганасанской терминологии родства. Как и А. М. Золотарев, он отмечает, что классификация родственников, объединяющая в одну категорию лиц разных поколений и разделяющая одновременно людей одного поколения на старших и младших, «приводит к изоляции терминов отец, мать, жена, муж, к сохранению ими только индивидуального значения» и, следовательно, отражает выделение малой семьи. Поэтому, пишет он, нганасанская и подобные ей системы возникли позднее, чем классическая моргаиновская турано-ганованская система, отражавшая необоснованность индивидуальной семьи от остальной

<sup>5</sup> Золотарев А. М. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1939, с. 67—73.

<sup>6</sup> Решетов А. М. Некоторые наблюдения..., с. 229.

массы сородичей. Все это могло иметь место лишь в отцовско-родовом обществе, после распада материнского рода.<sup>7</sup>

Действительно, в современных системах большей части урало-алтайских народов, в том числе ногасан, башкир, татар, ульчей и т. д., термины для каждого из родителей обособлены, в ряде случаев предпринята попытка индивидуализировать наименования для дедов и бабок. В результате раздвоение и смешение поколений коснулось поколений +2, +1, 0, -1 и в какой-то мере -2, т. е. вертикальная классификация родственников по их относительному возрасту носит универсальный характер. Несомненно, такое состояние систем родства — явление позднее и, по всей вероятности, связано с выделением и укреплением малой семьи. Только в одном нельзя согласиться в этом плане с Л. А. Файнбергом: едва ли такая перестройка системы родства могла произойти в патриархально-родовом обществе — ведь ей должен был предшествовать длительный период социальной и экономической автономии индивидуальной семьи.

В системах родства народов алтайской и уральской семьи обособление терминов для отца и матери произошло довольно поздно, когда традиции родового строя были разрушены. Чуть ли не все они сохранили следы прежней классификационности, того состояния, когда для обозначения отца и матери не было индивидуальных терминов. И дело не обязательно в том, что индивидуальное отцовство (а о материнстве и речи не может быть) было неизвестно; для реальных отношений в коллективе выделение его особым термином не имело существенного значения. Следы необособленности понятий «отец» и «мать» видны в том, что понятия «отец», «дед», «предок» обычно выражены терминами одного корня (основы) с добавлением для обозначения деда пояснительного слова «большой», «больший», «старший», « дальний» и т. д. Нередко в этом же ряду находятся термины для братьев отца.

В частности у киргизов, если отец называется *ата*, дед и прадед именуются *чоу ата*.<sup>8</sup> У киргизов Чуйской долины термином *ата* (отец) называли и старшего брата отца, хотя для передачи этого понятия имеется параллельный термин *ава*,<sup>9</sup> который в некоторых других языках алтайской общности употребляется опять-таки в значении «отец», «предок». Более того, некоторые группы киргизов, пока был жив дед, отца именовали *аке*, т. е. так же, как младших братьев отца и старших братьев эго.<sup>10</sup>

Аналогичную картину, главное — неустойчивость терминов для отца, старшего дяди по отцу, деда, мы наблюдаем в диалект-

<sup>7</sup> Файнберг Л. А. Терминология родства ногасан как исторический источник. — Сиб. этногр. сб., М., 1962, т. IV, с. 232—233.

<sup>8</sup> Дыренкова Н. П. Брак, термины родства и психические запреты у киргизов. — Сб. этногр. мат., 1927, № 2, с. 9—10.

<sup>9</sup> Жумагулов А. Семья и брак у киргизов Чуйской долины. Фрунзе, 1960, с. 86—93.

<sup>10</sup> Дыренкова Н. П. Брак..., с. 9.

ных системах каракалпаков, туркмен, казахов.<sup>11</sup> Весьма примечательно, что туркмены для обозначения отца и его братьев пользуются термином индоиранского корня *kaka*.<sup>12</sup> Общую основу имеют также чувашские<sup>13</sup> и татарские диалектные термины для отца и деда по отцу.<sup>14</sup>

Обособление наименований для родителей, деда и бабки, судя по материалам, представленным нам И. Е. Тугутовым, явилось результатом поздних перестроек и в системах родства монгольских народов, в частности бурят. Это особенно заметно при сопоставлении терминов родства восточной и западной групп бурятского народа.

К тем же выводам мы приходим при рассмотрении тунгусо-маньчжурских терминов. По материалам Н. К. Каргера,<sup>15</sup> нанайцы зовут отца *ама*, деда и старшего брата отца — *сагд'ама*, мать — *эн'e*, а бабушку, старшую сестру отца и жену старшего брата отца — *сагд'эне*. У эвенков для обозначения отца употребляется термин *ами* и для матери *эни*, которые легли в основу сложных терминов *амака-ӯ* (*ӯ* — суффикс притяжательный) и *энэка-ӯ*, применяющихся в значении «дед», «дядя старше отца или матери» и «бабка», «тетка старше отца и матери».<sup>16</sup> В ульчском языке им соответствуют наименования *ама-дама* («отец-дед», «старший брат отца»), *энэ-даэнэ* («мать-бабка», «старшая сестра отца»).<sup>17</sup>

В ноганасанском языке индивидуальные термины для родителей применяются лишь в референтивных целях и, по словам Л. А. Файнберга, представляют собой описательные конструкции. Соответствующие термины-апеллятивы *ида/иди* и *аба* носят классификационный характер и одинаково приложимы как к каждому из родителей, так и к кровным родственникам соответствующего пола старше их и младше деда и бабки.<sup>18</sup>

Не составляют исключения и финно-угорские народы. Одного корня термины для отца и деда, а также для матери и бабки наблюдаются у венгров, финнов-суюми, удмуртов, восточных мариев, эстонцев.<sup>19</sup>

Приведенные примеры свидетельствуют, что индивидуализация терминов для отца и матери, деда и бабки в системах родства

<sup>11</sup> Бекмуратова А. Т. Терминология родства у каракалпаков. — В кн.: Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1978, с. 35; Аргынбаев Х. А. Семья и брак у казахов. Автореф. дис. Алма-Ата, 1975.

<sup>12</sup> Полевые материалы автора за 1969 г. (хранятся в Секторе этнографии Ин-та истории, языка и лит. Башк. фил. АН СССР).

<sup>13</sup> Чуваши. Этнографическое исследование. Ч. II. Чебоксары, 1970, с. 58—64.

<sup>14</sup> Диалектологический словарь татарского языка. Казань, 1969.

<sup>15</sup> Каргер Н. К. Классификационная система родства у гольдов. — В кн.: Сб. этногр. мат. Л., 1927, с. 27—29.

<sup>16</sup> Аносимов А. Ф. Родовое общество эвенков, с. 6—9, 27.

<sup>17</sup> Золотарев А. М. Родовой строй..., с. 73.

<sup>18</sup> Файнберг Л. А. Терминология родства..., с. 228.

<sup>19</sup> Маркелов М. Т. Системы родства у угро-финских народностей. — Этнография, 1928, вып. 1.

турских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, саадийских, финно-угорских народов произошла сравнительно поздно, во всяком случае после дифференциации перечисленных языковых групп и появления современных языков алтайской и уральской семьи. Обращает на себя внимание весьма разная степень индивидуализации терминов и релевантности принципа относительно возраста отца и матери, деда и бабки. Имеются также терминологические расхождения: даже в пределах групп близкородственных языков для передачи одного и того же понятия часто употребляются разные термины и слова одного корня в разных языках или диалектах различаются по содержанию. Все это, видимо, надо рассматривать как результат определенных семантических сдвигов в процессе перестройки систем.

Из изложенного следует и другой вывод, имеющий прямое отношение к рассматриваемой теме: смешение поколений, объединение в одну категорию родства представителей двух, а возможно, и более поколений в системах родства урало-алтайских народов имело место задолго до выделения прямой линии родства в восходящих поколениях (в нисходящих поколениях процесс этот не завершен и по сей день). В плане этнической и языковой истории народов эта особенность системы возникла до расчленения языковых групп и отдельных языков алтайского и уральского ствола. Только при этом условии находит свое объяснение общность отмеченной особенности для столь обширного круга народов, расселенных на громадной территории Азии и Европы.

Весьма примечательно, что ареал распространения систем родства со скользящим счетом поколений совпадает с этнолингвистическими границами. На этом факте едва ли правомерно пытаться решать сложную и остающуюся дискуссионной проблему урало-алтайской общности. Одно можно утверждать с определенностью: в период складывания родства со скользящим счетом поколений предки современных алтайских и уральских народов поддерживали между собой тесные языковые и этнокультурные контакты; возможно также, что они составляли один обширный этнокультурный ареал. В ином случае трудно понять отмеченную общность в их системах родства, которая совершенно чужда другим языковым ареалам и системам.

Таким образом, скользящий счет поколений в системах родства может рассматриваться в некотором смысле и как индикатор этнических взаимосвязей: он отражает один из древнейших этапов в этнической истории каждого из народов алтайской и уральской языковых семей.

Каковы же были пределы смешения поколений в древнейших урало-алтайских системах? Какова была степень реализации возрастного принципа, который впоследствии пересек поколения и пронизал у ряда народов всю структуру системы родства сверху донизу? Сопоставление известных нам систем родства у народов алтайской и уральской семьи выявляет следующие черты вертикальной классификации родственников.

1. Разграничение поколения эго на старших и младших. Релевантность этого принципа обуславливает наличие в древнейшей системе двух степеней родства (+1 и -1), каждая из которых должна была включать две категории кровных родственников. Этот принцип характерен для малайских систем, известен он и системам родства австралийцев.<sup>20</sup> Довольно рано появляется эта особенность в китайской системе родства.<sup>21</sup> Как видно, в правомерности такого предположения относительно урало-алтайской систем сомневаться нет оснований.

Однако один этот принцип сам по себе не ведет к скользящему счету поколений.

2. Наличие в системах еще одной восходящей (+2) и одной нисходящей (-2) степеней. Верхняя степень (+2) могла включать второе восходящее поколение (дедов и бабок) и часть поколения родителей (относительный возраст родителей или одного из них релевантен) или только второе восходящее поколение (релевантен относительный возраст деда и бабки). Выделение этой ступени с неизбежностью предполагает необходимость нижней (-2) ступени: если имеются «предки», должны быть и «потомки».

Таким образом, уже в древнейших урало-алтайских системах была заложена идея «поколений», но реализована она была не в соответствии с биологическими поколениями, а скорее по возрастному принципу. Отсюда — третья особенность.

3. Слияние или смешение верхней части поколения эго с первым восходящим и нижней частью второго восходящего поколения; смешение нижней части поколения эго с нисходящими поколениями.

Только при наличии этого признака еще в глубокой древности урало-алтайские системы могли сохранить, а затем и развить и усовершенствовать «скользящий» счет поколений. Фактор поздних взаимовлияний практически исключен: на границах контактов с народами алтайской и уральской семьи ни один из индоевропейских, кавказских, тибето-китайских и палеоазиатских народов не перенял у них принципов поколенно-возрастной классификации родственников, хотя терминологические взаимопроникновения наблюдаются. В маргинальных группах урало-алтайской общности, в частности у нанайцев, венгров, туркмен, под влиянием соседей была предпринята попытка устраниТЬ смешение поколений, но прежняя структура в их системах в основном сохранилась.

Вернемся к вопросу о факторах, обусловивших смешение поколений. В 20-е годы С. А. Токаревым была выдвинута идея о более древнем характере возрастного принципа в системах родства в сравнении с принципом поколений.<sup>22</sup> В прежних работах автор этих строк писал, что для архаических систем было присуще

<sup>20</sup> Токарев С. А. О системах родства у австралийцев (к вопросу о происхождении семьи). — Этнография, 1929, № 1, с. 42—43.

<sup>21</sup> Крюков М. В. Эволюция систем родства: механизм трансформации. М., 1973, с. 4.

<sup>22</sup> Токарев С. А. О системах родства..., с. 42—43, 46.

деление сородичей по вертикальной шкале только на две группы (ступени): на старших и младших по отношению к эго,<sup>23</sup> что предполагало смешение поколений. Аналогичные мысли были высказаны А. М. Решетовым,<sup>24</sup> В. А. Аврориным и Е. П. Лебедевой.<sup>25</sup> Однако отмеченное обстоятельство само по себе не ведет с неизбежностью к скользящей системе: принятие и последовательное проведение поколенного принципа устраниет смешение поколений, как это произошло в индоевропейских, тибето-китайских и других системах. Остается предположить, что у предков урало-алтайцев выделение верхних (+1, +2) и нижних (-1, -2) ступеней родства произошло до возникновения идеи биологических поколений. А это значит, что урало-алтайский этноязыковой ареал к этому времени был значительно обособлен от остальных этноязыковых систем.

Таким образом, мы можем констатировать, что разделение одного поколения на младших и старших в системах родства алтайских и уральских народов коснулось прежде всего поколения эго и с самого начала было сопряжено со смешением каждой его части с представителями смежных поколений. В пределах языковых групп (и не только) наибольшую устойчивость проявляют термины именно для этих ступеней системы. Это мы обнаруживаем при сопоставлении современных тюркских терминологий и рассмотрении текстов рунического письма. Дальнейшая эволюция систем дала немало вариаций в пределах языковых групп и даже в разрезе диалектных единиц в рамках одного языка.

---

<sup>23</sup> Бикбулатов Н. В. Терминология и система родства башкир (общая характеристика). — В кн.: Археол. и этногр. Башкирии. Т. II. Уфа, 1962, с. 172—175.

<sup>24</sup> Решетов А. М. Некоторые наблюдения..., с. 232—233.

<sup>25</sup> Аврорин В. А., Лебедева Е. П. Инвест в фольклоре орочей и классификационная система родства. — Изв. СО АН СССР, сер. обществ. наук, 1979, № 1, вып. 1, с. 131—137.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИИФЭ	— Архив Института искусствознания, фольклористики и этнографии АН УССР
АИЭ	— Архив Института этнографии АН СССР (Москва)
ВГО	— Всесоюзное географическое общество
ВДИ	— Вестник древней истории
ВЯ	— Вопросы языкоизнания
ГМЭ	— Государственный музей этнографии народов СССР
ЖС	— Живая старина
КСИЭ	— Краткие сообщения Института этнографии АН СССР
МФ	— Македонски фолклор
РГО	— Русское географическое общество
СА	— Советская археология
СбНУ	— Сборник от български народни умотворения
СО АН СССР	— Сибирское отделение АН СССР
СЭ	— Советская этнография
ТГПИ	— Томский государственный педагогический институт
ТГУ	— Томский государственный университет
ТИЭ	— Труды Института этнографии АН СССР
ТКАЭЭ	— Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспедиция
ТФ ГАТО	— Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области
ХНИИЯЛИ	— Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
ЦГА	— Центральный государственный архив РСФСР
ЦГИА	— Центральный государственный исторический архив СССР
ЭО	— Этнографическое обозрение
RFE	— Revista de filología Española
RLiR	— Revue de linguistique roumain
RRL	— Revue romane de linguistique
SCL	— Studii și certetari lingvistice

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

<i>От редактории.</i>	3
<b>1. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ И ЯЗЫКОВЫЕ СИТУАЦИИ</b>	
<i>Б. В. Андрианов. Этнос и историко-этнографические области . . . . .</i>	5
<i>А. И. Домашев. «Языковой остров» как тип ареала распространения языка и объект лингвистического исследования (на материале немецкого языка) . . . . .</i>	11
<i>В. А. Никонов. Оптимизация методов ареальной лингво-этнографии . . . . .</i>	18
<i>Н. Л. Сугачев. Что изучает структурная диалектология . . . . .</i>	24
<i>Ю. С. Кузьменко. Истоки скандинавской метафонии (о саамском влиянии на скандинавские диалекты) . . . . .</i>	44
<i>В. П. Берков. Языковое положение в Норвегии . . . . .</i>	50
<i>А. М. Решетов. Формирование и развитие дунгансского языка . . . . .</i>	67
<i>З. П. Соколова. Выявление этнических ареалов на основе анализа брачных связей населения и языковых данных (на материалах обских угр) . . . . .</i>	76
<i>Н. Г. Беспалых. К изучению региональных типов американского варианта английского языка XVII—XVIII вв. (этнические и социальные факторы языкового развития) . . . . .</i>	84
<i>М. А. Бородина. Проблема консолидации и единства швейцарского народа . . . . .</i>	90
<i>С. П. Николаева. О своеобразии этнической и языковой ситуации в Перу . . . . .</i>	102
<i>Г. А. Цыхун. О специфике балканославянского ареала . . . . .</i>	107
<i>Л. Л. Викторова. К проблеме формирования монгольского ареала в системе алтайских языков . . . . .</i>	114
<i>В. Я. Бабенко. Украинцы Башкирии как маргинальная группа украинского этноса . . . . .</i>	121
<i>М. А. Членов, И. И. Крупник. Динамика ареала азиатских эскимосов в XVIII—XIX вв. . . . .</i>	129
<i>Н. А. Томилов. Лингвистическая классификация и этническая дифференциация тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины . . . . .</i>	139
<i>Л. А. Покровская. Об историко-этнических факторах формирования диалектных различий гагаузского языка . . . . .</i>	147
<i>А. В. Смоляк. Этнические микрорайоны на Нижнем Амуре . . . . .</i>	151
<i>В. И. Васильев. Этнолингвистическая ситуация на севере европейской части СССР (к истории ненецко-коми-русских межэтнических контактов) . . . . .</i>	159
<i>Н. Н. Казанский. Формирование памфилийского диалекта древнегреческого языка . . . . .</i>	166
<i>Л. Ф. Артиух, Т. В. Космина. Опыт сравнительного ареального изучения отдельных видов материальной культуры украинцев конца XIX—начала XX в. . . . .</i>	173

## II. ИЗОГЛОССЫ И ИЗОПРАГМЫ

<i>Н. И. Толстой.</i> О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса . . . . .	181
<i>А. Н. Айфертьев.</i> Ареальное и историческое в исследовании календарной обрядности Восточной Европы (мартовские обряды)	191
<i>А. В. Гура.</i> География группы восточнославянских названий свадебного деревца	198
<i>А. Б. Страхов.</i> Из истории и географии русского обрядового печенья (поминальные и вознесенские «лестницы») . . . . .	203
<i>А. Ф. Журавлев.</i> Этнодиалектное членение Костромского региона по данным скотоводческой магии и обрядовой фразеологии (на материалах анкеты «Культ и народное сельское хозяйство») . . . . .	209
<i>И. В. Власова.</i> «Зона недоступности» для ареала топонимов на -иха в Костромском Заволжье . . . . .	213
<i>М. Я. Жорницкая.</i> К вопросу картографирования народных танцев Северо-Востока Сибири . . . . .	221
<i>Н. В. Лукина.</i> Формы почитания собаки у народов Северной Азии	226
<i>З. Г. Куталейшвили.</i> Речной транспорт в Западной Грузии (по этнографическим данным)	234
<i>Н. В. Бикбулатов.</i> Скользящий счет поколений в урало-алтайских системах родства (по данным ареальных наблюдений) . . . . .	240
<b>Список сокращений . . . . .</b>	248

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»  
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ  
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

*Для получения книг почтой  
заказы просим направлять по адресу:*

117192 **Москва**, В-192, Мичуринский пр., 12. Магазин «Книга — почтой»  
Центральной конторы «Академкнига»;

197345 **Ленинград**, П-345, Петрозаводская ул., 7. Магазин «Книга — почтой»  
Северо-Западной конторы «Академкнига»;

480091 **Алма-Ата**, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);

370005 **Баку**, ул. Джапаридзе, 13;

320093 **Днепропетровск**, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);

734001 **Душанбе**, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);

375002 **Ереван**, ул. Туманяна, 31;

664033 **Иркутск**, ул. Лермонтова, 289;

252030 **Киев**, ул. Ленина, 42;

252030 **Киев**, ул. Пирогова, 2;

252142 **Киев**, пр. Вернадского, 79;

252030 **Киев**, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);

277012 **Кишинев**, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);

343900 **Краматорск** Донецкой обл., ул. Марата, 1;

660049 **Красноярск**, пр. Мира, 84;

443002 **Куйбышев**, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);

191104 **Ленинград**, Литейный пр., 57;

199164 **Ленинград**, Таможенный пер., 2;

199034 **Ленинград**, 9 линия, 16;

220012 **Минск**, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);

103009 **Москва**, ул. Горького, 8;

117312 **Москва**, ул. Вавилова, 55/7;

630076 **Новосибирск**, Красный пр., 51;

630090 **Новосибирск**, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);

142292 **Пущино** Московской обл., МР «В», 1;

620151 **Свердловск**, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);

700029 **Ташкент**, ул. Ленина, 73;  
700100 **Ташкент**, ул. Шота Руставели, 43;  
700187 **Ташкент**, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);  
634050 **Томск**, наб. реки Ушайки, 18;  
450059 **Уфа**, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);  
450025 **Уфа**, Коммунистическая ул., 49;  
720001 **Фрунзе**, бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);  
310078 **Харьков**, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

IN INDIANIS  
VOCABULARY  
OF THE  
INDIAN  
NATION

35.204